В. КАТАЕВ

Уже написан Вертер



В. КАТАЕВ

Святой колодец
Алмазный мой венец
Уже написан Вертер

МОСКВА
«ПАНОРАМА»
1992

ББК 84
К 29

Художник *Н. К. Шпанько*

Катаев В.

К29 Уже написан Вертер.— М.: «Панорама», 1992.— 384 с.

ISBN 5-85220-127

В книгу известного русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897—1986) включены произведения «Святой колодец», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер». Эти работы, вызвавшие немало дискуссий и споров, представляют наиболее интересный период в творчестве писателя.

К $\frac{4702010201-059}{088(02)-92}$ КБ-14-20-92 ББК 84

Святой колодец

— Запейте водичкой. Вот так. А теперь спите спокойно. Я вам обещаю райские сны.

— Цветные?

— Какие угодно,— сказала она и вышла из палаты.

После этого начались сны.

Мы сидели под старым деревом на простой, некрашеной, серой от времени скамье где-то позади нашей станции, рядом со Святым колодцем, откуда по железной трубке текла слабая, перекрученная струйка родниковой воды, сбегая потом в очень маленький круглый пруд, на четверть заросший осокой, изысканной, как большинство болотных растений.

Невдалеке стояла сосна, совсем не похожая на те мачтовые сосны, которые обычно растут в наших лесах, стесняя друг друга и безмерно вытягиваясь вверх в поисках простора и света, а сосна свободная, одинокая и прекрасная в своей независимости, с толстыми лироподобными развилками, чешуйчато-розовыми, и почти черной хвоей. И во всем этом пейзаже было нечто тонко живописное: в игрушечном прудике, превращавшемся во время короткого, теплого дождика в картинку, кропотливо вышитую бисером, в четырех закрученных облачках, которые ползли по голубым линейкам неба, как белые улитки, на разной высоте и с разной скоростью, но в одном направлении, а в особенности в фигуре старика, пришедшего к Святому источнику мыть свои бутылки.

Старик вынимал бутылки одну за другой из мешка, полоскал в воде и ставил шеренгой для того, чтобы они высохли, прежде чем он пойдет их сдавать в станцион-

ный продовольственный магазин. Здесь были самые разнообразные бутылки — белые и зеленые — из-под вермута, зубровки, портвейна, «столичной» и «московской», кагора, рислинга, «абрау-каберне», «твиши», «мукузани» и многие другие — и среди них лилипутики четвертинок, как маленькие дети среди нищих,— и каждую из них старик тщательно полоскал снаружи и внутри и ставил одну возле другой, причем мы заметили, что, хотя ряд и удлинялся, количество бутылок в мешке не убавилось, как будто бы мешок был волшебный, и это нас немного беспокоило, подобно простому фокусу, который трудно разгадать.

Жена сказала, пожимая плечами, что это вовсе и не мешок, а самая обыкновенная прорва, в смысле прорва времени, попросту говоря — вечность.

Вечность оказалась совсем не страшной и гораздо более доступной пониманию, чем мы предполагали прежде.

Мы заметили над прудом крутой полукруглый мостик, который вместе со своим отражением составлял виньетку заглавного «О», и на этом мостике стоял другой старик — а быть может, и тот же самый,— но только с узкой, чрезвычайно длинной седой бородой и еще более узкими — как тесемки — усами,— старый китаец, одетый в шелковый бедный халат; его воронкообразная шапочка по форме и по ярко-оранжевому цвету напоминала перевернутую шляпку известного грибка лисички. Он низко держал в сморщенных старческих руках хрустальную мисочку, в которой плавала глазастая золотая рыбка цвета настурции. Старик предложил нам с церемонной вежливостью купить эту рыбку на обед, но так как он говорил на одном из неизвестных нам диалектов Южного Китая, то мы молча пошли дальше, а старик долго кивал нам вслед своей — в общем-то, еще совсем не старой — головой на тонкой фарфоровой шейке, в то время как появился еще один — третий! — старик, а может быть, все тот же самый — но на этот раз опять китаец — и шел по горизонту, держа на плечах коромысло с двумя мелкими плетеными корзинами, делавшими его похожим на весы.

Слишком большое количество стариков китайцев слегка нас встревожило — в особенности встревожил

человек-весы,— и мы поспешили покинуть эту прелестную местность, напоминавшую окрестности Куньмина, города вечной весны, и переселиться в другое место, быть может, куда-то в Западную Европу.

Куньмин — город вечной весны.

А старик — заметьте себе!— тем временем все полоскал и полоскал свои бутылки, и в музыкальном бульканье воды мне чудились спорящие голоса.

— Здравствуйте. Как самочувствие?

Я уже был морально подготовлен ко всему и не слишком испугался.

Мне понравилось его почти юношеское лицо, узкое, с темными ласковыми глазами гипнотизера, которые проникновенно смотрели в меня как бы из прорези полумаски. Он осторожно, почти неощутимо, потрогал мои руки на сгибах, где мутно просвечивали голубые узлы вен.

— До завтра,— сказал он.

— Завтра — это только другое имя сегодня,— произнес я, повторяя чью-то чужую мысль.

Он или не оценил, или просто не понял моей излишне тонкой шутки, потому что ничего не ответил и как-то совсем незаметно исчез.

Так наступила пора великих превращений, как некогда сказал умирающий Гёте.

«Святой колодец» — название небольшого родничка вблизи станции Переделкино Киевской железной дороги, возле которого я обдумывал эту книгу и размышлял о своей жизни.

Первое время мы совсем не скучали. Мы опять любили друг друга, но теперь эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной любви. Она была молчалива и бесстрастна. Мы занимали, сообразно своему вкусу, не большой, но и не маленький пряничный домик в два этажа с высокой черепичной крышей и прелестным садиком, полным цветов. Перед ним рос постоянно цветущий конский каштан, который был, по крайней мере, в пять раз выше дома. Для того

чтобы увидеть все дерево целиком, от земли до кроны, нужно было отойти на сто метров, да и то начинала кружиться голова, а домик тогда казался совсем маленьким, просто игрушечным. Цветы сами по себе напоминали маленькие восковые деревца — елочки,— в известном порядке рассаженные по всей кроне, которая была составлена из больших пяти-, семи- и даже девятипалых листьев, как будто бы тщательно нарисованных тонким английским графиком-прерафаэлитом вроде Обри Бердслея. Ствол дерева был почти черный, даже, можно сказать, совсем черный, что еще сильнее подчеркивало восковую розоватость соцветий и полупрозрачную зелень кроны.

Я это все описываю так подробно потому, что теперь у меня совсем исправилось зрение, я давно уже не носил очков и видел все поразительно точно и далеко, как в юности, когда я мог с наблюдательного пункта вести пристрелку без бинокля.

Возле дома, как и подобает в цветных сновидениях, росло также несколько кустов породистой сирени, цветущей поразительно щедро, крупно и красиво. Мы не уставая восхищались оттенками ее кистей: густо-фиолетовыми, почти синими, лилово-розовыми, воздушными и вместе с тем такими грубо материальными, осязаемыми, плотными, что их хотелось взять в руку и подержать, как гроздь винограда или даже, может быть, как кусок какого-то удивительного строительного материала.

Вокруг, за низким сквозным заборчиком, выложенным из чугунно-багрового кирпича — через один,— было также много цветущей жимолости, коротко остриженного боярышника, крушины и еще каких-то красивых декадентских растений вроде араукарий или филодендронов. Посреди ровного газона стояли солнечные часы, которыми, впрочем, никто не интересовался.

Нам никто не мешал. Мы жили в полное свое удовольствие, каждый в соответствии со своими склонностями. Я, например, злоупотребляя своим сверхпенсионным возрастом, старался ничего не делать, а жена с удовольствием готовила мне на электрической плитке легкие, поразительно вкусные завтраки из чудесно разделанных, свежих и разнообразных полуфабрикатов, упакованных в целлофан,— как, например, фрикадельки из райских птиц и синтетические пончики. Мы также ели много полезной зелени — вроде салата, латука, ар-

тишоков, спаржи, пили черный кофе. Нам уже не надо было придерживаться диеты, но мы избегали тяжелой пищи, которая здесь как-то не доставляла удовольствия. При одной мысли о свином студне или о суточных щах с желтым салом мы теряли сознание. Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей клубникой с сахаром и сливками, любили также перед заходом солнца выпить по чашке очень крепкого, почти черного чая с сахаром и каплей молока. От него в комнате распространялся замечательный индийский запах. Я же, кроме того, с удовольствием попивал холодное белое вино, пристрастие к которому теперь совершенно не вредило моему здоровью и нисколько не опьяняло, а просто доставляло удовольствие, за которое потом не нужно было расплачиваться. Мы также охотно ели мягкий сыр, намазывая его на хрустящую корочку хлебца, выпеченного не иначе как ангелами. Я уже не говорю о том, что рано утром мы завтракали рогаликами со сливочным маслом и джемом в маленьких стеклянных баночках, который напоминал зеленую мазь или же помаду.

Погода была всегда очень хорошая, не утомительная, чаще всего солнечная, теплая и ласковая, и от мокрой земли пахло весной.

Почти каждый день мы садились в небольшую машину и мчались по шоссе мимо странной живописи и графики дорожных знаков, которые, подобно работам абстракционистов хотя и не имели ничего общего с живописью, но тем не менее руководили нашим движением, предупреждая и давая понять условным языком своих ломаных линий, зигзагов, крючков, треугольников, разноцветных кружков и полосок обо всем, что подстерегает нас впереди, то есть в самом недалеком будущем. Курбе говорил: «То, чего мы не видим, несуществующее и абстрактное, не относится к области живописи». Это верно, но к какой-то области оно все же относится! Я думаю, к области новой — третьей — сигнальной системы, которая идет на смену устаревшей. «Только письмо и звук,— говорил Джон Бернал, отказывая цвету в этом праве,— воплощают мысль человека, а теперь счетные устройства и их коды могут материально воплотить человеческую мысль в совершенно новые формы, в какой-то мере заменить язык и даже пойти в своем развитии дальше языка».

Мы мчались мимо реклам, нарисованных светящимися красками, то и дело въезжая в зеленые тоннели вязов, смешивавших над нами свои таинственные кроны.

Сигналы из будущего неслись нам навстречу, предостерегая и предотвращая опасности, подстерегавшие нас за каждым поворотом времени.

На поворотах мелькали бело-черно-красные столбики, напоминавшие абстрактное изображение аистов, стоящих вдоль дороги.

У меня уже не болело плечо. Никогда не кружилась голова, не ломило затылок.

Жену тоже ничего не терзало. Мы почти никогда не спали, ни днем, ни ночью, а чаще всего сидели в старомодных креслах перед камином, где тлело громадное бревно, положенное косо. Она вязала. А я старался ничего не делать. Даже не думать. Я только смотрел в окно и собирал различные наблюдения, не имевшие никакой ценности: ни научной, ни художественной, ни философской. Так, например, я заметил, что из одной и той же почвы, почти из одного и того же места растут два совершенно различных растения — одно красивое и ценное, вроде конского каштана, другое некрасивое и дешевое, с плохой древесиной, вроде ольхи. Вообще я очень много наблюдал за материей, принявшей ту или другую форму. Я пришел к выводу, что не только содержание обусловливает форму, а еще что-то другое. Наблюдая за природой, я сделал вывод, что раз все, что мы видим, есть физические тела и как таковые имеют объем — тело дороги, тело кленового листа, многочисленные тельца песка (ибо каждая песчинка есть тело), даже тело тумана,— то и живописи в чистом виде не существует, она всегда лишь более или менее удачная имитация скульптуры.

Итак, пусть лучше вместо живописи будет раскрашенная скульптура, а дороги пусть лучше стоят где-нибудь на опушке леса, накрученные на громадные дощатые катушки вроде тех, на которые наматывают электрический кабель.

Я проводил время бесполезно, так как не стану утверждать, что занятие вопросами формы приносит пользу.

Даже очень красивый закат среди деревьев и колоколен имел не только цвет, но также форму, объем, вес, как будто был отлит из гипса, раскрашенного какимнибудь посредственным пейзажистом.

Когда-то мы с женой дали слово любить друг друга до гроба и даже за гробом. Это оказалось гораздо проще, чем мы тогда предполагали. Только любовь приняла другую форму.

Я носил поверх свитера потертую, удобную куртку. И прочные башмаки. Жена одевалась, как и прежде, тоже во что-то шерстяное, серенькое, и в ее ушах ярко блестели различными цветами — от фиолетового до зеленого — очень маленькие брильянтовые сережки, еще не превратившиеся в чистый уголь. Часто мы совершали прогулки пешком, и тогда она надевала короткое кожаное пальто и красные перчатки.

Однажды на пешеходной дорожке мы встретили Джульетту Мазину с коротеньким зонтиком под мышкой и поздоровались с ней. Она нас не узнала, но улыбнулась приветливо. В другой раз мы увидели старичка в соломенной шляпе, который уступил нам дорогу и долго потом смотрел нам вслед через старомодное, какое-то чеховское пенсне глазами, полными слез. Но лишь после того, как он скрылся из глаз, я понял, что это был мой отец.

Некоторое время мы смотрели на старую водяную мельницу с остановившимся колесом, по зеленой бороде которого скупо сочилась вода. Перед мельницей стояли старые головастые ветлы, похожие на богатырские палицы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами. Особенно восхищались мы цветом листвы далеких рощ — туманно-синей, волнистой, с большими купами отдельных деревьев — вероятно, буков,— мягко округлых, как раскрашенные облака. Ячменные поля колосились, и был отчетливо — как в бинокль — виден каждый отдельный колос, тяжелый, граненый, скульптурный, хорошо раскрашенный; ярко-желтые полотнища сурепки лежали на полях, давая представление о малейшей складке местности. На горизон-

те как бы прямо из-под земли росла готическая колокольня с прямым крестом, на вершине которого можно было простым глазом разглядеть железного петушка.

Но особенно скульптурным делался пейзаж, когда вдалеке появлялось ярко-алое пятно, резкое, светящееся, постепенно вырастая и превращаясь в объемное тело молодой молочницы, едущей на своем белом мотороллере с серебряными бидонами за спиной. У нее была высокая прическа соломенного цвета, так удачно сочетавшаяся с ярко-алым платьем, говорившим без слов, что девушке ровно девятнадцать лет, потому что я давно уже заметил, что восемнадцатилетние блондинки чаще всего носят синее, а двадцатилетние — черное, с золотым пояском. У нее в руке был длинный початок молодой кукурузы, который она грызла; издали можно было подумать, что она играет на флейте.

Когда мы проходили мимо ферм, откуда густо пахло навозом и парным молоком, и мимо маленьких городков с ночными бильярдными, шоссе превращалось как бы в главную улицу, по которой бегали дети, гуляли, обнявшись, влюбленные и целые благовоспитанные семьи шли в полном составе в гости к бабушке и дедушке, неся в руках нарциссы, завернутые в папиросную бумагу, в то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей мне след раскаленного утюга, пылали золотые костры восковых свечей. Мы раскланивались со всеми, и все любезными улыбками отвечали нам, хотя никто нас не узнавал. Все это было очень мило, но безмерно тоскливо.

— Ты знаешь, я ужасно соскучилась по нашей внучке,— вдруг сказала жена.

Я удивился, так как привык к мысли, что со всем этим давно уже покончено. Сам я никогда ни о чем не вспоминал. Я всем простил и все забыл. Слова жены грубо вернули меня к прошлому. В моем воображении появились маленькие детские ручки, крепенькие и по-цыгански смуглые, с грязными ноготками. Они протянулись ко мне, и тотчас же я почувствовал страстное желание увидеть внучку, втащить к себе на колени, тискать, качать, щекотать, нюхать детское тельце, целовать маленькие, пытливо-разбойничьи воробьиные глазки, только что ставшие познавать мир. Я вспомнил, что ее зовут Валентиночка. Не составляло никакого

труда ее увидеть. Я уже стал ее видеть, но были сложности. Нянька. Не могла же Валентиночка появиться здесь одна, без няньки. Должна была бы появиться и нянька.

— Понимаешь ли,— сказал я,— допустим, появится нянька. Это еще куда ни шло. Но нельзя же разлучить девочку с родной матерью.

— Тем более что это ведь как-никак наша родная дочь,— заметила жена с упреком.— Неужели ты забыл наших детей? Ведь у нас были дети.— Она заплакала.— Ты помнишь? Были прелестные дети. Девочка и мальчик.

Я улыбнулся:

— Конечно, конечно. Перестань плакать. Двое отличных ребят. Я даже помню, как я их называл в шутку. Шакал и Гиена. Это было не похоже, но забавно.

— Я их очень люблю,— сказала жена, все еще продолжая просветленно плакать.— Я их люблю больше всего на свете.

— Даже больше Валентиночки?— лукаво спросил я.

— Ну разумеется!

— А ведь существует мнение, что бабушки любят своих внучат гораздо сильнее собственных детей.

— Чепуха! Никого, никого, никого не любила я так сильно, как своих детей.

— Шакала и Гиену,— сказал я.— Но разве ты меня любила меньше?

— Тебя я никогда не любила.

Она решительно вытерла глаза душистым платочком.

— А их безумно любила. Моих дорогих Шакала и Гиену. Ты помнишь?— спросила она.

И я понял: она имела в виду один день, видение которого вечно и неподвижно стояло передо мной и не переставало тревожить мое воображение своими резкими красками, своим темным рисунком, хотя и несколько траурным, но все же ярко освещенным серебряным солнцем.

Трудно сказать, в какое время года это было. Да и было ли это на самом деле? И если было, то в каком измерении? Такие слишком резкие тени, такие слишком яркие краски могли быть и весной, и в разгар осени,

но, судя по той жажде, которая тогда мучила всех нас, судя по зною и пыли, вероятно, это было лето, самый зенит июля со всеми его городскими запахами бензина, ремонта, жидкого асфальта, известки, плохой масляной краски, сваренной на ужасной искусственной олифе, которая могла отравить человека, свести его с ума своим острым чадом. Да, теперь припоминаю: это действительно было лето, и мы блуждали в раскаленной «эмке» вокруг колхозного рынка у Киевского вокзала, то и дело попадая в какие-то ямы, в строительные тупики, подпрыгивая на выбоинах мостовой, буксуя в песке или же отпечатывая свои шины в только что положенном, еще дымящемся асфальте. Всюду висели выгоревшие кумачовые полотнища с белыми буквами, и по фасадам домов тянулись электрические лампочки слабого накала, которые, вероятно, забыли погасить, и это придавало знойному дню еще больше блеска, способного довести до отчаяния.

Каждый миг нам приходилось останавливаться, ехать задом, выскакивать на тротуар, разворачиваться, каждый миг мы попадали в новую безвыходную ситуацию, но непременно в поле нашего зрения была какая-нибудь гипсовая статуя или же бюст Сталина — даже в окне булочной, которое было задрапировано красным кумачом, добела выгоревшим на адском солнце, чью силу с трудом выдерживали гирлянды сушек и баранок, развешанные над бюстом, как странные окаменелости.

Заднее окошко было завалено авоськами с вялой зеленью, с помидорами и синими сморщенными баклажанами, так что теперь я с уверенностью мог бы сказать, что это происходило в конце лета, и мы уже побывали на Киевском колхозном рынке и теперь колесили, отыскивая заправочную станцию, а вокруг толпились старые-престарые избушки дореволюционного Дорогомилова и новые многоэтажные дома, еще не оштукатуренные, но уже изрядно обветшавшие, с захламленными балконами, с приплюснутыми крышами, с дорическими, ионическими, коринфскими колоннами, лишавшими света и без того крошечные окошки, с египетскими обелисками по сторонам крыши и ложноклассическими изваяниями — порождение какого-то противоестественного ампира, от которого можно было угореть, как от запаха искусственной олифы.

Жена, полумертвая от жары, сидела сзади, заваленная покупками, я помещался рядом с шофером, а дети — Шакал и Гиена — помещались позади, положив лапы и подбородки на спинку моего сиденья, покрытого выгоревшим чехлом. Им тогда было — девочке одиннадцать, а мальчику девять, и я их в шутку называл Шакал и Гиена. На самом же деле они бывали шакалом и гиеной в самых редких случаях, когда крупно скандалили или сводили друг с другом личные счеты. А в основном мы ничего не могли о них сказать плохого.

Превосходные дети, их так теперь нам не хватало!

Тогда девочка недавно болела тифом, и волосы на ее голове еще не вполне отросли и портили ее славненькое, в общем, личико, у мальчика же на лбу росла коротенькая челка школьника младшего возраста, и он уже заметно вырос из своей детской курточки. Девочка мрачно смотрела вперед, обуреваемая какими-то скрытыми чувствами неудовлетворенности, а мальчик еще все вокруг воспринимал с жадным, даже несколько восторженным любопытством, и в его небольших подслеповатых глазках мир отражался в идеально-улучшенном, зеркально-миниатюрном воспроизведении. Девочка еще не достигла возраста Джульетты, но уже переросла Бэкки Тэчер, была неинтересно одета, много, самозабвенно читала, размышляла о жизни и уже — по нашим сведениям — раза два или три бегала на свиданья, и ее душонка мучительно переживала какие-то не совсем ясные для меня бури. Она была дьявольски упряма и начисто отвергала действительность, что становилось вполне понятным, стоило лишь посмотреть на ее веснушчатый, поднятый вверх носик и сжатые губы, в одном месте запачканные школьными лиловыми чернилами.

Мальчик достиг возраста, когда уже перестают мучить котят и в громадном количестве истребляют писчую бумагу, покрывая ее сначала изображениями воздушных боев, горящих самолетов с неумелой свастикой на крыльях, танков, из пушек которых вылетают довольно точно воспроизведенные снаряды, затем однообразными повторениями одного и того же знакомого лица в профиль — с черными усами, с удлиненными глазами гипнотизера; и наконец чудовищными, ни на что не похожими клубками, каляками, молниями и пеплом

атомного взрыва с разноцветной надписью «керосимо». Он был от всего в восторге. Мир казался ему прекрасным и полным приятных сюрпризов. Он жадно всматривался вперед, все мотал на ус и лишь ожидал подходящего случая, чтобы чем-нибудь восхититься.

— Смотрите!— вдруг закричал он в восторге.— Продают квас! Вот здорово!

Действительно, далеко в перспективе улицы можно было разглядеть желтую цистерну с квасом, окруженную толпой.

Девочка посмотрела и презрительно пожала плечами.

— Вовсе не квас, а керосин,— сказала она.

— Квас, квас!— радостно и доброжелательно воскликнул мальчик.

— Керосин,— сказала девочка тоном, не допускающим возражений.

Это мог быть, конечно, и керосин, который развозили в подобных же цистернах, но в данном случае это был действительно квас.

— Квас. Я вижу,— сказал мальчик.

— Керосин,— ответила девочка.

— Квас.

— А вот керосин.

Они уже готовы были превратиться в гиену и шакала, но в это время машина приблизилась, и мы увидели цистерну, вокруг которой стояли граждане с большими стеклянными кружками в руках.

— Я говорил — квас,— с удовлетворением сказал мальчик.

— Не квас, а керосин,— сквозь зубы процедила девочка, ее глаза зловеще сузились и губы побелели.

Машина остановилась.

— Ты помнишь этот ужасный день?— спросила жена.— Ты помнишь эту кошмарную желтую бочку?

На ней было написано золотыми славянскими буквами слово «квас».

Красавица в относительно белом халате, в кокошнике — царевна Несмеяна,— с засученными рукавами, то и дело вытирая со лба пот специальной ветошкой, полоскала толстые литые литровые и пол-литровые кружки и подставляла их под кран, откуда била пенистая рыжая струя.

— Я же говорил, что квас,— с великодушной, примирительной улыбкой сказал мальчик.

— Керосин,— отрезала девочка и отвернулась.

Рядом с машиной стоял высокий гражданин в широких штанах, бледно-голубых сандалиях, в добротной черно-синей велюровой шляпе чехословацкого импорта, которая высоко и прочно стояла на голове, опираясь на толстые уши. Гражданин жадно пил из литровой кружки боярский напиток. Зрелище было настолько упоительное, что Шакал и Гиена засуетились, вылезли из машины, стали вынимать из карманов деньги, примкнули к очереди, выпили по полной литровой кружке, отчего их животы надулись, затем возвратились на свое место и положили липкие лапы и подбородки на спинку переднего сиденья, и мы поехали дальше, любуясь железными конструкциями строящегося университета, который виднелся с Поклонной горы, где недалеко притулилась знаменитая кутузовская избушка.

— Ну?— спросил мальчик с торжеством.— Кто был прав?

— Все равно керосин,— ответила девочка и высокомерно вздернула подбородок, на котором блестели капли кваса.

Мы тогда едва выдержали эту духоту, эту страшную, неописуемую жару, как бы прилетевшую откуда-то из Хиросимы. Даже показалось, что на нас начинает обугливаться одежда. А теперь мы вспоминали об этом просто с грустью.

— Все равно я тебя никогда не любила,— повторила она, опять заплакала и сквозь слезы первая увидела Валентиночку, появившуюся с удивленной нянькой.

А Валентиночка, не обратив на нас ни малейшего внимания, тотчас же побежала по каменной дорожке, сложенной из разноугольных плит, между которыми зеленела молодая травка, в садик, залезла в сарай, где у нас в большом порядке хранились садовые инструменты, и вытащила оттуда старые громадные деревянные башмаки садовника, которые тут же стала мерить. Потом она села на трехколесный велосипед и поехала.

Затем появился наш сын, аспирант, «шакал»: в старых, очень узких блуджинсах, в очках, в вельветовой куртке и в сильно поношенных кедах, свидетельствовавших о его принадлежности к новой генерации сердитых молодых людей.

«Боже мой,— подумал я,— неужели он и здесь раскидает все эти вещи в своей комнате по полу, а кеды просто-напросто поставит на письменный стол, заваленный окурками?» И все же у меня рванулась и задрожала душа от любви к этому долговязому и страшно худому молодому человеку, нашему сыну, которого мы когда-то вместе с женой купали в ванночке: я держал его — теплого и скользкого — на руке, а жена поливала из кувшина, и мы оба, смеясь от счастья, приговаривали:

— С гуся вода, с гуся вода, с мальчика худоба!

Он был у нас тогда действительно пухленький. Теперь, видимо, наступило время худобы.

— Здорово, родители,— сказал он, вытянув шею, и потерся о мою щеку лицом не вполне взрослого мужчины, который бреется еще не каждый день.— Как существуете?

— Удовлетворительно,— ответил я, чувствуя к нему такую любовь, что от нее кружилась голова — как раньше, когда я еще в таких случаях принимал спазмальгин.

Появилась дочь, переводчица, так называемая «гиена», в высокой прическе, каштановая, весело оживленная, хорошенькая, с наркотическим блеском узких глаз.

— Здравствуй, пулечка, и здравствуй, мулечка,— сказала она отчетливым дискантом, по очереди целуясь с нами с видом вполне послушной, добродетельной молодой женщины.

Я всегда с удовольствием целовал ее мягкие, теплые щеки и шейку и любил погружать пальцы в шапку ее густых, вьющихся каштановых волос, взбитых по моде того времени. Потом она как ни в чем не бывало легла на диван, вытянула скрещенные стройные ноги в нейлоновых чулках и легких туфельках и стала читать — время от времени заглядывая в словарь — книгу, захваченную с собой, причем я заметил, что несколько страниц с уголков обуглились. Это был какой-то новый советский роман неизвестного мне автора, который она должна была срочно перевести на английский.

Явился также Олег в штатском, но прежде, чем он

появился в комнате, я услышал его голос. Он разговаривал в саду со своей дочкой — моей внучкой. Он взял ее на руки, а она отталкивала его растопыренной пятерней, извиваясь, как угорь, и дрыгая ногами, так как он помешал ей лезть на ограду, вдоль которой стояли на коротких ножках деревца шпалерных груш, тянувших низко над землей ветки в форме семисвечников. Я натянул свитер, вышел из дома и стал отнимать у Олега девочку. Он завладел ее голыми ножками, а я ручонками, и мы оба тянули ее в разные стороны, как хлопушку с бумажным кружевцем, а потом раскачивали ее, как гамак, и весело смеялись, а она лягалась, и ее воробьиные разбойничьи глазки сверкали радостью сопротивления. Боже мой, как я любил эту капризную девчонку со смуглым, точно слегка закоптевшим тельцем и каштановыми, как у матери, волосами, мою дорогую обожаемую дочкину дочку. Ее ноги были в старых и новых ссадинах.

Прошел теплый дождик, такой легкий и непродолжительный, что мы его даже не заметили. В семь часов мы, как всегда, сели за стол. Я уже — как известно — мог есть все, что угодно, но по привычке ограничивался лишь гречневой кашей, творогом и кружкой кефира.

Сын, разумеется, уже исчез,— испарился! — и мы ужинали без него. Я пошел наверх к нему в комнату и, убедившись, что носки, трусы, подтяжки, штаны и все прочее разбросано по полу, а кеды стоят на письменном столе, понял, что все идет правильно: он успел переодеться для вечерних похождений. Когда после еды я вышел в садик, то увидел его уже за оградой. Он ехал на мотороллере, а сзади, обняв его голыми руками, грациозно, по-дамски сидела молодая молочница в красном платье, и они промчались по шоссе вдаль, где вместо предметов уже светились их неоновые контуры и плоская овальная крыша заправочной станции с горящей надписью «ESSO» светилась, как прозрачная плита искусственного льда. По шоссе проносились длинные машины, унося на своем лаке светящиеся отражения ночного неона.

Название: после смерти.

— Тебе не кажется, что в нашем доме стало довольно беспокойно? — спросил я жену вечером.

— Можно подумать, что тебе это не нравится.

— Нет, мне это нравится...

— Так что же?

— Ничего.

— Но все-таки?

— Знаешь, мне кажется, что они занесли сюда возбудителей каких-то никому не нужных воспоминаний, тягостных ассоциаций, может быть даже старых снов. Нет ничего ужаснее старых снов, которые уже когда-то снились. Я боюсь, что мне опять может присниться говорящий кот или что-нибудь еще похуже.

Предчувствие меня не обмануло. Зараза уже проникла в мою кровь, в мой мозг, и этой ночью мне долго и сладко снился Осип Мандельштам, бегущий в дожде по Тверскому бульвару при свете лампионов, мимо мокрого чугунного Пушкина со шляпой за спиной, вслед за экипажем, в котором я и Олеша увозили Надюшу. Надюша — это жена Мандельштама. Надежда Яковлевна. Мы увозили ее на Маросейку — угол Покровского бульвара, в пивную, где на первом этаже, примерно под кинематографом «Волшебные грезы», выступали цыгане. У нас это называлось: «Поедем экутэ ле богемьен» («слушать цыган»). Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила сдуру из экипажа, а она, смеясь, вырывалась, кудахтала и кричала в ночь:

— Ося, меня умыкают!

Мандельштам бежал за экипажем, детским, капризным голосом шепелявя несколько в нос:

— Надюса, Надюса... Подождите! Возьмите и меня. Я тоже хочу экутэ.

Но он нас так и не догнал, а мы, вместо того чтобы ехать на Маросейку — угол Покровского бульвара, почему-то поехали в грузинский ресторан, который тогда помещался не там, где сейчас находится «Арагви», и даже не там, где до «Арагви» помещалась «Алазань», а — вообразите себе! — в том доме на бывшей Большой Дмитровке, а теперь Пушкинской, где сейчас находится служебный ход Центрального детского театра, что может показаться совершенно невероятным, но тем не менее это исторический факт, и содержало эту шашлычную частное лицо, так как был разгар нэпа. Но это, в сущности, не важно, а важно то, что шел дождь и мы таки втащили

Надюшу за руки на второй этаж в отдельный кабинет — удивительно скучную и плохо освещенную комнату, никак не обставленную и похожую скорее на приемную в собачьей лечебнице. Сюда нам принесли бутылку «телиани», а как только его принесли, тотчас появился мокрый и возбужденный Мандельштам, прибежавший по нашему следу, и он сейчас же начал с завыванием, шепеляво и очень внушительно — «как Батюшков Дельвигу»! — читать новые стихи, нечто вроде:

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...

И так далее — можно проверить и восстановить по книжке Мандельштама, если ее удастся достать,— мне именно так приснилось: «если ее удастся достать», а Мандельштам моего старого сновидения тем временем сел пить «телиани», вспомнил гористую страну и, шепеляво завывая, стал вкрадчиво и вместе с тем высокомерно, даже сатанински гордо декламировать о некоей ковровой столице над шумящей горной речкой и о некоем духанчике, где «вино и милый плов».

И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.
Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить,—
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

Его мольбы не имели никакого практического смысла, так как мы пили вчетвером и само собой подразумевалось, что одному не надо пить. Одному надо было только платить! Затем пошли очаровательные трюизмы:

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым.

Собственно говоря, все это мне вовсе не снилось, а было на самом деле, но так мучительно давно, что теперь предстало передо мной в форме давнего, время от време-

ни повторяющегося сновидения, которое увлекло меня вместе с розоватым винным паром (и, разумеется, под месяцем поджарым) в ту самую легендарную ковровую столицу, любимую провинцию тетрарха. И то, что раньше не было вполне сном, а скорее воспоминанием, теперь уже превратилось в подлинный сон, удивительный своим сходством с действительностью: например, снег был совсем настоящий, и громадные хлопья падали величаво-медлительно, садясь на вечнозеленую листву магнолий. Весь город был облеплен теплым южным снегом. Прохожие с непривычки скользили и падали, как пингвины, автомобили с ужасающим визгом тормозов делали юзы, крутились на месте, даже ехали в обратную сторону, в городе было смятение, снегопад не прекращался, знаменитая гора тонула в мыльной воде зимнего воздуха, снег, как стая чибисов, кружился над монументом Шота Руставели, и сочные отпечатки новых резиновых галош по всем направлениям пятнали белые тротуары центрального проспекта, где в окнах воспаленно желтели пирамиды японской рябины — единственного плода этой небывалой зимы, так как все цитрусы с божьей помощью вымерзли, а местное правительство уже разрабатывало далеко идущие планы открытия для всех трудящихся нарядных катков и лыжных станций.

Симпатичные молодые милиционеры с черными усиками и бархатными глазами, стоя на перекрестках, молчаливо регулировали беспорядочное падение снежинок, громадных, как куски ваты. Они поеживались в своих шинельках с иголочки и в мягких сапожках без каблуков, не отвечая на наши вопросы.

Мы были крайне подавлены столь странной зимой сравнительно недалеко от субтропиков... Мы обращались за разъяснением этого таинственного явления к многочисленным прохожим, но все они, так же как и хорошенькие милиционерчики, молчали, бросая на нас доброжелательно-ускользающие взгляды.

Хотелось спать.

Но кто бы мог поручиться, что я уже не сплю? Не сплю давно?

Нет ничего ужаснее смертной скуки, которая медленно, неотвратимо медленно начинается во сне и безысходно длится потом целую вечность.

Что же все это значит, господи боже? Можно было сойти с ума от невозможности постичь душу этого города. Но в этот миг на площади Святого Лаврентия в метели появилась незнакомая и в то же время мучительно знакомая фигура знаменитого поэта Ромео Джероламо: заурядная среднерусская шуба, богатырская фигура, царственно мерцающая снежинками пыжиковая шапка, прекрасное скульптурное лицо пожилого римского легионера и хрипло-гортанный, с могучим придыханием голос хорошо пообедавшего человека.

— Не удивляйтесь, друзья мои,— сказал он с радушной улыбкой восточного гостеприимства,— и, пожалуйста, умоляю вас, не ищите здесь какой-нибудь мистики, а тем более сказочных мотивов тысячи и одной ночи. Все это объясняется гораздо проще: они просто не понимают по-русски.

Но вы, конечно, заметили, что я говорю во множественном числе «мы». Надо объясниться. Мы — это я и еще один, скажем,— человек. Вернее — фантом, мой странный спутник, который приехал со мной в этот край и теперь неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади: противоестественный гибрид человеко-дятла с костяным носом стерляди, клоунскими глазами, грузная скотина — в смысле животное,— шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель-хапуга.

А ведь я помнил его еще худым нищим юношей с крошечной искоркой в груди. Боже мой, как чудовищно разъелся этот деревянный мальчик Буратино на чужих объедках, в какую хитрющую, громадную, сытую, бездарную скотину он превратился. Увидел бы его Николай Васильевич Гоголь, не «Портрет» бы он написал, а нечто в миллионы раз более страшное...

Старик у Святого колодца мыл бутылки, а он — мой тягостный спутник — тем временем всюду шнырял, вынюхивая, где бы поживиться, где бы хапнуть кусок и потом с ужимками отнести его в свою вонючую нору и закопать,

как собака закапывает куриную ногу,— где-нибудь в уголке, под шведским или финским диваном или под каким-нибудь финским пуфиком, раздобытым путем унижений, по блату.

Он был моим многократно повторяющимся кошмаром, прелюдией к еще более страшному сновидению о говорящем коте.

Он непрерывно присутствовал рядом со мной, прислушиваясь к моему дыханию, он быстро считал мой пульс; он повсюду шлялся за мной по улицам и по крутым горным тропинкам моих сновидений; время от времени он наклонял ко мне свое костяное рыло с отверстиями ноздрей и тревожно заглядывал в мою душу своими тухлыми глазами, как бы спрашивая: ты не знаешь, где бы чего хапнуть на даровщинку? Или рвануть у наивного начальства подачку?

— Ага, ага,— верещал он,— ты теперь сообразил? Они не понимают по-русски. Этим надо воспользоваться, не упустить случая. Ведь верно? А? Ты со мной согласен?

Я умирал от неслыханной, смертельной тоски в этом прелестном полуденном краю, заваленном полуночным снегом.

Знаменитый поэт размашисто раскланялся с каким-то прохожим, причем с его величественной пыжиковой шапки с царственной щедростью сыпались снежинки.

— Кто этот гражданин? — тревожно спросил мой тягостный спутник.— А? Вы мне не скажете, кто это? — Он жарко дышал в лицо знаменитого поэта и просительно заглядывал ему в глаза.— Это руководящий работник, не правда ли? Или, может быть, даже член центральной комиссии? Почему же вы нас не познакомили? Познакомьте! Умоляю вас! Пока еще не поздно. Я поцелую ему ягодицы, я полижу их.

— О, не волнуйтесь,— сказал поэт.— Этот человек не заслуживает такой чести, тем более что сейчас довольно-таки холодно. Этот человек всего лишь дегустатор винтреста.

— Ты слышишь! — простонал мой тягостный спутник.— Винтреста! Вдумайся! Его ни под каким видом

нельзя выпустить из рук. Иначе мы будем последними идиотами. Верно? Ты со мной согласен?

— Если вам так угодно с ним познакомиться...— галантно сказал поэт и сделал повелительный знак, после чего дегустатор остановился как вкопанный перед солнцем поэзии, и не прошло и часа, как мы уже были самыми лучшими друзьями и сидели у дегустатора в гостиной за столом под громадным оранжевым абажуром, и мой тягостный спутник, стоя от волнения на хвосте, тыкался носом в корректные усы дегустатора, и его круглые глаза, подернутые нагло-томной пленкой, как бы непрерывно гипнотизируя, твердили: дай по блату вина, дай по блату вина, дай что-нибудь, дай, дай, дай!

— Вот увидишь, он даст! — обращался ко мне тягостный спутник и снова припадал к усам дегустатора.— Даст бесплатно, могу поручиться!— шептал он мне.— Два ящика знаменитого вина «мцване».

...Как труп в пустыне я лежал...

И его голос дрожал глиняной свистулькой, как запавший клапан испорченной шарманки.

А тем временем собирались гости, и мало-помалу разгорелся восточный пир с легким европейским оттенком, который сообщил ему молодой элегантный тамада с двумя или тремя университетскими значками. Он не слишком пытал нас традиционными тостами и не слишком настойчиво заставлял осушать окованные серебром турьи рога, так что мы помаленьку надрались без посторонней помощи. А время текло, и пир все продолжался и продолжался, не иссякая. Наши хозяева, и тамада, и все гости, страстные болельщики за местную футбольную команду «Динамо», и дамы — свежие, как только что распустившиеся бутоны ширазских роз или же крепкие влажные овощи, сорванные на заре в огороде, ни в одном глазу,— красивые, румяные, черноволосые, кудрявые, с алебастровыми бюстами, ни дать ни взять ангелы, написанные кистью Пиросманишвили.

Бутылки сменялись на столе среди зелени, фруктов и овечьего сыра каждые пятнадцать минут, как почетный караул, ночь тянулась без исхода, и я всем своим существом чувствовал приближение чего-то страшного. Можно было подумать, что всему этому — как в аду — никогда не будет конца. Однако это оказался не ад, а всего лишь чистилище.

В четыре часа сорок две минуты пополуночи пир начал иссякать, речи сделались сначала аритмичными, а потом совсем перестали прощупываться, сопротивляемость упала до нуля, еще немного — и должна была наступить клиническая смерть, но, по-видимому, распорядитель пира не считал, что веселью пришел конец, и он, как опытный тамада, всегда имел под рукой верное средство для того, чтобы вдохнуть жизнь в замирающее застолье.

— Прошу вашего внимания,— сказал он совершенно свежим, утренним голосом.— Дамы и господа! Сейчас перед вами предстанет кот. На первый взгляд обыкновенное домашнее животное. Кот Васька. Но не делайте поспешных выводов. Иди сюда, генацвале! Кис-кис-кис!

Двери бесшумно, сами собой, как в американском театре ужасов, распахнулись, и в комнату обреченной походкой вошел громадный светло-серый кот, вышколенное домашнее животное с прищуренными глазами, в глубине которых мерцала вечность, и хвостом, поднятым вверх, как мягкий столб дыма, колеблемый темным ночным воздухом этой таинственной горной страны.

Кот — младший брат тигра — обошел, как гладиатор, вокруг пиршественного стола и остановился возле хозяина, словно желая воскликнуть: «Ave, Caesar, morituri te salutant!»

— Но, товарищи! — торжественно произнес хозяин, поднимая вверх безымянный палец с бледным обручальным кольцом.— Но, товарищи! Это далеко не простой кот. Это говорящий кот. Он умеет разговаривать.

— Не может быть!

— Но тем не менее — факт! Эврипид, иди сюда! Кис-кис-кис!

Кот еще крепче зажмурился и покорно прыгнул на колени своего хозяина.

— Так. Теперь сиди.

Кот сел, как человек, положил большую детскую голову на край стола и посмотрел вокруг прелестными серо-зелеными глазами капризной девочки. Хозяин почесал его за ухом, и кот стал мурлыкать с таким видом, будто боялся щекотки.

— Внимание,— провозгласил тамада,— попрошу наполнить ваши бокалы.

— Сейчас он будет разговаривать,— сказал хозяин.— Вам это кажется невероятным? В таком случае прошу убедиться. Эврипид, друг мой, скажи им «мама».

Кот весь сжался и болезненно зажмурился. Хозяин обхватил его голову двумя руками, соединив сверху большие пальцы, а указательные сноровисто сунул коту в рот и растянул его, отчего на детском лице кота появилась напряженная, неискренняя улыбка.

— Говори! — повелительно молвил хозяин.

Кот сделал судорожное глотательное движение горлом, разинул свою небольшую розовую треугольную пасть с мелкими зубками и вдруг напряженным, механическим голосом, но совершенно отчетливо произнес, как человек, на чистейшем русском языке:

— Мама.

После чего хозяин сказал «молодец» и сбросил кота на пол.

— Неслыханно!—закричали гости.— Неслыханно! Невероятно! Какое чистое произношение! Артикуляция! Дикция! Совершенно как в Академическом Малом театре! Даже скорее как в Художественном!

Все в один миг оживились, и в затухающий пир была влита свежая струя бодрости, которой, впрочем, хватило ненадолго, так что через час в общественных баках уже явно стала ощущаться нехватка горючего. Однако, по-видимому, время расходиться по домам еще не наступило, и хозяин как бы вскользь заметил, что его кот умеет разговаривать не только по-русски, но также и по-французски.

— Кис-кис-кис,— позвал он.

Кот долго не появлялся, но наконец все-таки вышел из дверей, которые снова сами собой распахнулись перед ним и затем сами собой бесшумно затворились. Кот страшно медленно направился к хозяину, как бы исполняя тягостную обязанность, связанную с неслыханными муками и унижениями, но — увы! — неизбежную, как рок. Он замедленно прыгнул на колени хозяина и положил подбородок на скатерть, уже основательно залитую к тому времени основными марками местных вин. Морщась от винного запаха и острого аромата сациви, кот с немой мольбой посмотрел на людей лунатическими глазами и снова изо всех сил зажмурился.

— Внимание! — крикнул тамада.— Попрошу всех наполнить бокалы.

— Итак,— деловито сказал хозяин и обхватил большую голову кота обеими руками, но на этот раз уперся указательными пальцами в ушные отверстия кота, а в его

рот вставил мизинцы, как-то по-особому скрючил их, растянул и вывернул так, что розовый рот кота стал напоминать неестественно-странный цветок вроде орхидеи. Кот рванулся, намереваясь замяукать раздирающим голосом, но вместо этого громко и отчетливо произнес на чистом французском языке:

— Маман.

— Вот,— сказал хозяин и смахнул кота на пол, после чего животное с улыбкой отвращения медленно удалилось восвояси, зная, что на сегодня его роль окончена и можно беспрепятственно приступать к ловле мышей.

— Ты понимаешь, это профанация,— простонал человек-дятел, провожая своими тухлыми глазами удаляющегося кота. Его толстое горло раздувалось, и он даже всхлипнул от огорчения.— Иметь такое выдающееся животное, такой мировой аттракцион и употреблять его для развлечения гостей на среднем неофициальном междусобойчике, где даже нет более или менее ответственного начальства.— Он схватился руками за голову с хохолком.— Господи боже мой, да если бы у меня был такой золотой кот, то я бы его, подлеца, научил рассказывать еврейские анекдоты. Я сделал бы из него кота-затейника. Он бы у меня, сукин кот, выступал только на самых ответственных концертах, и я бы сделался первым человеком среди местной художественной интеллигенции, может быть, даже доктором наук гонорис кляузе. И — ты можешь себе представить! — какую на этой почве можно было бы создать грандиозную рекламу, какой неслыханный подхалимаж, какой космический блат!

Он пригорюнился, пустил слезу, потом встрепенулся и сделал бурную попытку уговорить хозяина совершить благородный акт восточного гостеприимства и подарить ему говорящего кота. Но из этого ничего не вышло, потому что хозяин оказался человеком с высшим образованием и не признавал этих глупых феодальных штучек — дарить гостю то, что ему понравится. Как ни старался мой тягостный спутник, как ни суетился, как ни кричал, выпуская из горла самые нежные звуки: «Да! Я подхалим! И горжусь этим! Презирайте меня, но только подарите мне говорящего кота! Я из него сделаю человека! Ну, хотите, я создам в вашу честь хорал!» — но, увы, ничего не получилось. Как говорится, нашла коса на камень.

Единственно, что утешало человека-дятла,— это перспектива в конце концов получить бесплатно ящик, а мо-

жет быть, даже и два, баснословного вина «мцване». Теперь он удвоил свое внимание ко мне. Он боялся, что я заболею и, не дай бог, еще того хуже, умру. Мало ли что может случиться с человеком в дороге.

— Умоляю тебя,— шептал он по ночам, подходя к моей постели, в то время как в окнах блестели зимние восточные звезды.— Умоляю тебя, береги свое здоровье. Учти, что вино будет столько же твое, сколько мое.

...Мы были как два каторжника, прикованные к одному ядру. Я умирал, я падал, а он — мой тягостный спутник — безжалостно толкал меня куда-то все дальше и дальше. Он уже стал моей болезнью, он гнездился где-то внутри меня, в таинственной полости кишечника, а может быть, и ниже, он был мучительно раздувшейся опухолью, аденомой простаты, непрерывно отравлявшей мою кровь, которая судорожно и угрюмо гудела в аорте, с трудом заставляя сокращаться мускул отработавшего сердца.

Хоть бы эту опухоль скорее вырезали!

Кто же он был? Он был модификация Фаддея Булгарина, гонитель всего нового, человек с водевильной фамилией Прохиндейкин.

Далеко внизу лежала потонувшая в нескончаемом снегопаде прелестная горная страна со всеми ее магнолиями, драценами, симпатичными милиционерчиками, говорящим котом и пыжиковой шапкой знаменитого поэта, и мы летели в столицу нашей родины на содрогающемся от обледенения пассажирском самолете, и смерть летела рядом с нами, каждый миг готовая расстроить все наши планы. Над Сурамским перевалом сходила с ума небывалая снежная буря, и наша машина ползла на ощупь, как слепая, посредине горных склонов, каждый миг готовая шаркнуть алюминиевым крылом по невидимой в тумане скале и рухнуть на дно ущелья, в бурную горную речку с обледеневшими берегами.

В течение часа мы избежали тысячу смертей, и когда пилот наконец посадил свою грузную машину на песчаном аэродроме рядом с бунтующим морем, то у него дрожали руки и пот градом катился по как бы натруженно-

му лицу с пепельными губами. В столицу нашей родины мы прибыли еще засветло; и тут же расстались. Надолго. Слава богу, кажется — навсегда. Но мучительный сон тянулся, тянулся, он казался бесконечным, хотя на самом деле продолжался, быть может, всего лишь какую-то долю секунды, как смерть. Но ведь никто не знает, сколько времени длится смерть: может быть, один миг, даже и того меньше, а может быть, и всю жизнь. Человек вечно живет и в то же время вечно умирает.

Нет, не так: «в звезды врезываясь».

Я вечно умирал, и вечно жил, и время от времени возвращался в прелестный край, некогда воспетый Осипом Мандельштамом.

Разумеется, на аэродроме я прежде всего увидел пыжиковую шапку классика. Он возвышался, как монумент, еще более величественный и прекрасный, чем когда-то. Мы обнялись. И даже, по свидетельству историков, прослезились.

— Много воды утекло, кацо!

— Ох, много, генацвале!

— Как поживает ваш тягостный друг? — спросил великий стихотворец, после каждого слова делая еще более глубокое, гортанное придыхание, которое всегда казалось мне великолепной цезурой посредине шестистопной строчки классического александрийца.— Неужели он и теперь процветает так же, как раньше? Впрочем, я всегда подозревал, что он далеко пойдет, этот любопытный гибрид человека и домашней скотины. А вы знаете, почему? Потому, что он не только обладает редким бесстыдством лизоблюда и подхалима, но также и потому, что всевышний наделил его феноменальной,— он сделал великолепное придыхание на этом нарядном слове,— *феноменальной* способностью, редчайшим умением сниматься рядом с начальством. Едва лишь фотографы наведут свои магические субъективные объективы на центральную фигуру, как сейчас же рядом вырастает мучительно примелькавшаяся голова с костяным носом вашего тягостного спутника, выработавшего в себе условный рефлекс в ту же секунду — ни позже, ни раньше — оказаться в самой середине группы, сноровисто стать на хвост и вследствие этого сделаться ровно на три четверти выше остальных и даже самой центральной фигуры. Феноменально! — Он сделал хриплое придыхание.— Прямо-таки *феноменально!* Будучи пигмеем, казаться великаном! Но будем на-

деяться, что этот исторический нонсенс скоро навсегда отойдет в вечность. Ведь не может же подобное безобразие продолжаться вечно...

— А как поживает говорящий кот? — спросил я, желая переменить неприятную тему.

— Говорящий кот? — удивился поэт.— Не знаю, какого говорящего кота вы имеете в виду? Ах да, действительно. Припоминаю. Он говорил по-русски и по-французски. Но, по правде сказать, я давно уже потерял его из виду...

...Мне опять долго и сладко снился горбатый город, и мы сидели в духане над горной речкой, которая бежала где-то внизу, как стадо овец, по камешкам, по-зимнему мутная и головокружительно скучная, свинцовая, дымная. Высоко над обрывистым туманным берегом синел силуэт древнего замка, и церковь с конусообразным куполом, и старый толстый шарманщик, быть может последний шарманщик на земном шаре, крутил свою одноногую уличную шарманку, увешанную цветным стеклярусом, как пасхальная карусель, извлекая из ее дряхлого ящика пронзительные и вместе с тем небесно-музыкальные звуки мещанских вальсов, маршей и гавотов моего детства, и я плакал об Осипе Мандельштаме, о цыганах, о догоревшей жизни, о первой любви, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою, да мало ли о чем может плакать пожилой человек после четвертой бутылки красного, как кровь, «телиани». И я становился на колени, целуя смуглые, волосатые, безмерно старые руки шарманщика, а тем временем великий поэт, утешая меня, гладил мою пыльную и уже несколько лысоватую голову блудного сына и, отвлекая от слишком грустных мыслей, говорил мне:

— Друг мой, не надо плакать. Не стоит. Все мы у господа бога корабли, ушедшие в море. Вернемся лучше к печальной действительности. Вчера вы поинтересовались судьбой говорящего кота. Я навел справки. К сожалению, должен сообщить вам неприятное известие: несколько лет тому назад говорящий кот скончался во время очередного выступления, будучи не в состоянии произнести слово «неоколониализм».

Но можно и так: повесть о говорящем коте.

Весь в слезах я проснулся, но уже мир вокруг меня потерял свое прежнее безмятежное спокойствие. Целый день я не находил себе места.

— Чего тебе не хватает? — спросила жена.

— Многого,— ответил я.

— Например?

— Ну, уж раз кто-то занес сюда возбудителей моих старых снов и кошмаров и раз все вокруг нас так разительно изменилось, то — вообрази себе — я начинаю ощущать отсутствие Козловичей. Откровенно говоря, их немного не хватает.

— Ну что ж,— сказала жена,— все-таки это лучше, чем говорящий кот.

И сейчас же после этого вошли Козловичи.

— А, это вы! — радостно воскликнул я, разглядывая Козловичей: они нисколько не обгорели и совсем не изменились. Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках. Рукава его пиджака были на несколько микронов короче, чем требовала мода, а манжеты высовывались, быть может, на полтора микрона больше, чем требовала та же мода. Но это ему даже шло. Он по-прежнему был интенсивно розов, с желтыми волосами, расчесанными на прямой пробор, от лба до затылка, как у известного русского авиатора Сережи Уточкина. Его зубы сверкали слоновой белизной. Он был доброжелателен, всеяден и слегка разводил руками, рассказывая, с какими приключениями они добирались к нам. Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно-склеротическим ногам с шишками на коленях. У нее на шее висел крупный археологический камень с дыркой посредине, болтаясь на серебряной веревке поверх красной кофточки-джерси. Было страшно представить, что стало бы с ней, если бы она, забыв снять этот камень, бросилась в воду. У нее были прелестные детские глаза и взбитые рыжие волосы, что в соединении с вздернутым носиком давало полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты. Старушка все время требовала простой холодной воды и с наслаждением вливала ее в себя, как бы желая потушить адский огонь, пожиравший ее детскую душу.

Сам Козлович пил со мной ледяное белое вино — ду-

шистое и горьковатое, как миндаль,— ничуть не опьянявшее и не вредившее здоровью.

Козловичи сидели на низких старомодных креслах перед камином и, дополняя друг друга существенными подробностями, уточняя хронологическую последовательность событий, рассказывали историю о том, как они собирались путешествовать по Турции, Японии, Южной Америке и социалистической Польше и как у них в конце концов сгорел любимый пудель.

Мы радовались, как дети, слушая их взволнованное повествование.

Когда сам Козлович уже покрылся пятнами и стал понемногу сердиться, однако все еще мужественно продолжал улыбаться всеми клавишами своих зубов, в салон бочком вошел наш милейший друг Вяткин и, потирая, как с морозца, свои небольшие, слегка обуглившиеся руки, посмеиваясь и стыдливо похохатывая, подсел к пылающему камину и тоже стал вместе с нами пить холодное потустороннее вино, закусывая сыром.

Я задернул шторы, и все это вдруг стало немного напоминать вечера под Москвой, только не было телевизора и ни разу не позвонил телефон.

Поздно ночью мы устроили Вяткина внизу в свободной комнате, а Козловичей отвели через темный сад в старый нормандский овин, где для них был уже приготовлен ночлег. Я зажег фонарь — старый каретный фонарь, найденный на чердаке,— и светил им, пока они поднимались по узенькой скрипучей лесенке, молчаливо удивляясь нашей нелепой фантазии отправить их спать на сеновал. Мы с женой весело переглядывались. Спотыкаясь, Козловичи один за другим — он впереди, она сзади — вошли в дверцу и вдруг очутились в странном темном помещении, под самой соломенной крышей, где, очень возможно, на нашесте спали жирные куры. Мы объяснили, что это старинный нормандский овин, и это немного обнадежило Козловичей. Они покорно отдались в руки судьбы.

Тогда я вдруг щелкнул выключателем, и Козловичи увидели, что находятся в громадной низкой комнате со скошенным потолком. Посредине стояла громадная старинная деревянная кровать под балдахином из веселенького коттончика. Полог был отдернут, и виднелась постель, застланная свежими голландскими простынями, приготовленная на ночь по-французски — конвертом,— с маленькой пуховой перинкой. На ночном столике были

приготовлены графин с сахарной водой и старинный нормандский молитвенник с серебряным крестом на черном бархатном переплете.

Вообще казалось мрачновато.

Козловичи были смущены. Возможно, они боялись крыс. Тогда я торжественно распахнул другую дверь и показал им великолепную, ультрасовременную ванную комнату с кобальтово-синим фаянсовым туалетным столом на одной ножке, молочно-белой ванной, всю залитую ослепительно ярким электрическим светом, сияющую кафелем, никелем, всю увешанную пушисто-душистыми розовыми, салатными, голубыми полотенцами и простынями и устланную грубыми кокосовыми ковриками. Для того чтобы убедить Козловичей, что это не сон, я открыл несколько кранов, и с симфоническим шумом из них хлынула добела взбитая, как яичные белки, горячая и холодная вода, наполняя помещение поистине вагнеровской музыкой и запахом мыла «герлэн».

— Спокойной ночи,— сказали мы Козловичам.— Если ночью услышите за окнами шум, не пугайтесь,— значит, начался прилив и воды Ла-Манша поднимаются по шлюзам, наполняя маленькую гавань Гонфлер, где сонно покачиваются рыбачьи баркасы с изображением святой девы на дряхлых парусах. Утром Дениза принесет вам птидежене: кофе, круассаны, масло и сливовый джем. Не рассчитывайте на жареную колбасу!

Мы оставили их очарованными.

В особенности все это нравилось самой мадам Козлович.

Мы с женой спустились по лесенке в сад, и я задул фонарь.

Может быть, мое обнаженное тело лежало где-то в ином измерении и голубые люди при свете операционного прожектора рассматривали на нем давние шрамы: пулевые и осколочные и следы разных болезней, войн и революций.

На газоне стояло несколько невымытых машин, приехавших ночью. Одна из них показалась мне знакомой.

— По-моему, приехали Остапенки,— шепотом сказала жена.— И спят в машине.

Они действительно спали в полуобгоревшей машине, как сурки.

— Пройдемся немного,— предложил я.— Пускай спят.

Она взяла меня под руку, и мы пошли в глубину темного сада, туда, где за каретными сараями и дощатым сортирчиком был сломанный забор, а за ним справа налево тянулся канал, по которому бесшумно, на уровне плоской земли, с погашенными сигналами, как бы текли низкие моторные баржи, наполненные очень важным и очень тяжелым грузом, направляясь из Анверса в Маас, а быть может, в Монс или Наахрихт, если, конечно, такой город существует в действительности.

Мы шли вдоль канала, мимо фламандской ветряной мельницы с неподвижными крыльями, увешанными снастями, как мачты фрегата; мы шли очень долго и молча, пока вдруг не очутились на площади, охваченной морозным туманом, так что нельзя было понять — что это за площадь.

— Куда ты меня привел? — спросила жена тревожно.

И сейчас же я понял, что эта площадь — аэродром, и под нашими ногами я увидел громадные шестиугольные плиты взлетной дорожки.

Решетчатые радиолокаторы вращались, как зубоврачебные кресла.

— Ты опять улетаешь? — спросила жена покорно, так как понимала, что ничего другого мне не остается.

Я промолчал, рассматривая свою обувь; она имела еще вполне приличный вид: очень черные, блестящие, хорошо начищенные мокасины, как нельзя лучше соответствующие серому костюму и нейлоновым носкам глубокого цвета жженой кости. Превосходные мокасины с длинными носами и низкими, широкими, очень устойчивыми каблуками, за которыми приходилось особенно ухаживать, так как малейшая потертость сразу делала их непристойно вульгарными. Каблуки должны быть всегда безукоризненно черными, без малейшей потертости. Тогда мокасины со своими языками и перемычками на подъеме могут иметь место во время заграничного путешествия. Эти мысли внушила мне жена, и я их твердо усвоил.

Мы не успели проститься.

Она еще стояла одна посредине громадного пустынного аэродрома, а я уже перевел стрелки своих часов на

два часа назад и сквозь разрывы тяжелой дождевой облачности смотрел на Амстердам, который можно было с высоты нескольких тысяч футов принять за небольшой коврик с абстрактно-геометрическим орнаментом, но внизу дождя не было, и когда я сошел с самолета, для того чтобы пересесть на другой, трансатлантический, то мои мокасины ничуть не пострадали, даже напротив: освещенные молочно-матовыми плафонами Амстердамского международного аэровокзала, рядом с ослепительными чемоданами и ботинками миллионеров они казались еще вполне зеркальными, так что я не имел никаких претензий к аэрокомпании КЛМ. Во время посадки тоже, слава богу, все обошлось благополучно, и мои мокасины даже и в этом громадном пассажирском самолете, среди сотен пар разнообразной обуви, казались не самыми худшими. В особенности выгодно они отличались от желтых солдатских бутс моего соседа, сержанта американских вооруженных сил в Голландии. От времени и от ежедневной чистки они стали темно-коричневыми и глянцевыми, как стекло, и вызывали во мне тревожный вопрос: где они, черти, достают такой замечательный крем для ботинок? Или, может быть, это не крем, а особая стекловидная жидкость, куда опускают обувь, и она потом делается как бы покрытой тонкой стеклянной глазурью, а потом еще более блеска придают башмакам специальные высококачественные сапожные щетки особой формы и бархатки, принятые на вооружение в американской армии.

Сержант сидел рядом со мной, поставив ноги на плинтус перегородки, отделяющий наш туристский класс от уборных и штурманской будки. Это был здоровенный парень лет двадцати пяти с коротко остриженной головой, в тиковом комбинезоне цвета хаки, крепко затянутый старым кожаным поясом с такой же стекловидной поверхностью, как и бутсы.

У него был вполне мирный, доброжелательный вид, но что-то меня в нем тревожило, какая-то неуловимая подробность в его одежде, зловещее напоминание, сигнал всеобщей опасности. Это был маленький вылинявший треугольник из черно-лилового плюша с чем-то зловеще красным, с желтой молнией и надписью «Spearhead», лоскуток, пришитый к рукаву комбинезона.

Может быть, это была каинова печать ядерного века.

В тот же миг мне стало ясно, что это парень из атомных войск и теперь он — сделав или еще не успев сделать

свое дело — летит с базы домой в отпуск, предварительно выстирав свой выцветший комбинезон и до стеклянного глянца надраив все кожаные предметы своей амуниции.

А может быть, в мире уже все совершилось, и он, так же как и я, был не более чем фантом, пролетающий в этот миг над океаном.

Во всяком случае, у него были все признаки живого человека: на крупном деревенском пальце — тонкое обручальное кольцо, скорее серебряное, чем золотое, и уж конечно, не платиновое; оно подчеркивало его солидность и положительность молодого семейного человека, может быть, даже счастливого отца нескольких здоровых детей, чем он выгодно отличался от двух своих товарищей, летевших вместе с нами все в том же туристском классе через океан. Один из них был в униформе, а другой в штатском, но все равно было сразу понятно, что он, хотя и носит штатское,— тоже солдат, может быть, даже званием пониже, чем мой сосед, но зато, безусловно, богаче. Он уже изрядно выпил и, как только мы поднялись в воздух, вытащил из узкого кармана толстую бутылку «Boll-69», содрал с нее хрустящую обертку, вынул зубами пробку и сделал большой глоток, но своим товарищам не предложил, а потом глотнул еще раза два, после чего стал заигрывать со стюардессой — высокой, как гренадер, девушкой в синей пилотке, лишенной всякого чувства юмора, чем, по моим наблюдениям, отличаются все стюардессы туристского класса на лайнерах КЛМ.

Подвыпивший атомщик в штатском — тут мне вдруг пришла в голову мысль: не сгорела ли где-нибудь его униформа? — все никак не мог успокоиться и задремать. Видимо, его нервная система была совсем расшатана и алкоголь уже не действовал на нее как снотворное. Его все время терзала жажда деятельности. Он вызвал звонком стюардессу и сначала послал ее за глобусом, и она принесла из штурманской рубки резиновый глобус, который он надул ртом через специальный отросток и стал пьяными глазами разыскивать Северную Америку, желая определить трассу нашего полета, измерил ее пальцами, выпустил воздух из глобуса и вернул его сморщенное вялое тело стюардессе, тут же потребовав электрическую бритву, потому что компания КЛМ была обязана выдавать ее пассажирам туристского класса по первому тре-

бованию. Стюардесса принесла коробку с электрической бритвой, напоминавшей хорошо отшлифованный прибоем морской булыжник, и солдат в штатском быстро нашел в подлокотнике своего кресла скрытую розетку и ловко включил прибор, что показало его техническую сноровку. Он побрился и, многозначительно подмигнув, возвратил бритву стюардессе, лишенной не только чувства юмора, но также и самого элементарного секса.

Я смотрел на этих американских солдат, славных малых, и никак не мог заставить себя поверить, чтобы они могли что-нибудь наделать. В особенности вызывал теплые чувства мой сосед, положительный, уравновешенный добряк, видимо хороший мастеровой, с толстыми, но тренированными пальцами и коротко остриженной умной головой.

Третий солдат не отпечатался в моей памяти; он сидел где-то сзади и все время как бы прятал свое темное, как бы обуглившееся лицо между двух ладоней, приставленных к иллюминатору.

Я осмотрел свои мокасины и снова убедился, что они ничем не хуже остальных двухсот или двухсот пятидесяти отлично вычищенных ботинок, которые находились в первом и туристском классах самолета. Стало быть, пока все шло прекрасно. И это меня несколько успокоило, как будто бы я принял пятнадцать капель валокордина.

Но что ждет меня по ту сторону Атлантики? Где я буду чистить мои мокасины?

Я вспомнил, что в больших стандартных отелях Соединенных Штатов обуви не чистят, и опять почувствовал беспокойство. Я стал думать о континенте, к которому медленно приближался, и меня охватило предчувствие беды, не слишком большой, но достаточно неприятной, чего-то унизительного, связанного с моими мокасинами. Теперь я уже твердо знал, что где-то в Нью-Йорке давно поджидает меня человек, собирающийся причинить мне ущерб. Он хочет отнять у меня нечто очень дорогое. Жизнь? Не знаю. Может быть. И я заранее холодел, чувствуя свое бессилие и одиночество, и представлял себе, как в один прекрасный час останусь с глазу на глаз с этим не имеющим формы человеком где-то в глубине абстрактной нью-йоркской улицы, лишенной всяких реальных подробностей, к которым я имел сильное пристрастие как писатель и человек.

Боже мой, куда меня несет!

Милый пейзаж старой Англии неощутимо отодвинулся в никуда, уступив место черным, как бы обуглившимся скалам берегов Шотландии. В неподвижных водах отражалось бессолнечное алюминиевое небо. И сейчас же появились другие далекие острова — такие же скалистые, но уже называвшиеся Ирландия. Это было последнее, что я мог заметить из подробностей того мира, который я так опрометчиво покидал неизвестно зачем.

Длилось все то же самое утро, которое началось бог весть когда на туманном аэродроме, где мы стояли, как маленькие фигурки, на шестигранных плитах взлетной дорожки. Несколько раз я уже переводил часы, каждый раз теряя время, которое неизвестно каким образом пропадало навсегда.

Было еще без десяти десять того же самого утра, а наш воздушный корабль уже висел на громадной высоте над Атлантическим океаном, покрытым пеленой белых испарений, как муха над алюминиевой кастрюлей, где на медленном огне знойного солнечного утра чуть поднималась жаркая, легкая пена закипающего молока, которое все никак не могло надуться шапкой и сбежать.

Время — странная субстанция, которая даже в философских словарях не имеет самостоятельной рубрики, а ходит в одной упряжке с пространством,— это самое время казалось почти неподвижным, потому что мы и солнце двигались в одном направлении с востока на запад с вполне соизмеримой скоростью,— но солнце несколько быстрее нас. Таким образом, наше передвижение в пространстве можно было определить как отставание от солнца. Мы стремились перешагнуть рубеж сегодняшнего утра, но утро чудовищно растянулось во времени и пространстве, очень неохотно переходя в полдень, так что иногда казалось, что я со своим узколокальным представлением о времени уже никогда не вырвусь из плена этого нескончаемого атлантического дня и никогда не увижу заката. А в той стране, где я оставил всех дорогих для меня людей, уже наступила ночь и над острыми крышами

в черном небе сверкали граненые звезды Большой Медведицы.

Я уже никогда не увижу заката, так и перейду в вечность, не взглянув в последний раз на звездное небо.

Да, самое лучшее: в звезды врезываясь.

Самое тягостное было ощущение потери времени. Даже часы перестали его отражать с присущей им механической точностью. Движение времени можно было определить только по блеску обуви, которая постепенно тускнела без всяких видимых причин, просто так, как все в мире. Обувь обнаружила способность стареть. Мои превосходные молодые мокасины на глазах у меня вступали в зрелый возраст, становясь немного более матовыми, чем в юности, но, разумеется, им было еще далеко до вечера, а тем более до ночи с ее непоправимой потертостью, царапинами, сточенными каблуками и сероватым звездным светом.

Я поглядывал на них, как на часы, с ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с ними, покрывается царапинами времени, серовато-звездным налетом вечности, то есть бесконечной длительности времени существования мира, обусловленной несотворимостью и неуничтожимостью материи.

При этом во мне продолжало непрерывно усиливаться и нарастать предчувствие колоссальной неприятности, к которой я приближаюсь. Несомненно, это явление было следствием раздражений, несущихся в мою нервную систему из внешнего мира. Назовем их сигналами будущего.

Кто мне вернет пропавшее время?

Между тем бесконечный день над Атлантическим океаном тянулся, тянулся, тянулся, и я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы наш лайнер вдруг каким-то чудом сравнял свою скорость со скоростью солнца. Тогда бы я погрузился в вечный день — без утра и вечера,— нескончаемо длинный, как полный текст Библии со всеми ее повторениями и вариантами,— в вечное бодрствование и был бы испепелен вечным светом и вечной усталостью непрерываемой жизни. К счастью, наша четырехмоторная улитка ползла над облаками Атлантики все-таки медлен-

нее солнца, ползла как бы со страшным усилием, и лопасти ее винтов не сливались, а замедленно мелькали как бы в обратную сторону с необратимым постоянством.

Улитка при всем старании не могла выползти из своего домика, и таким образом солнце постепенно все-таки уходило от нас, и бесконечно мучительный день медленно переходил в мучительный вечер, который вдруг обозначился вдалеке воздушными горами облачного Синая, откуда вверх били дымно-лиловые лучи Моисеева света, а немного подальше разлеглись облачные библейские львы не видимой глазом Гренландии, а может быть, не Гренландии, а полуострова Лабрадор, после чего стали постепенно наливаться электрическим светом молочно-белые овальные плафоны и внутренность самолета как бы замкнулась в самой себе, отрешенная от внешнего мира, где вечер вытеснял день, а ночь вытесняла вечер. И когда я, прикрыв сбоку лицо ладонями, прильнул к тонко вибрирующему стеклу иллюминатора, то уже ничего не увидел, кроме самоварного огня, бьющего из моторов, и нескольких звезд в темном плотном небе.

Я чувствовал, что за моей спиной спят полтораста пассажиров, откинувшись на валики откидных кресел и подняв вверх измученные лица, а рядом со мной дремал американский солдат-атомщик, и я чувствовал человеческое тепло его плеча.

Невозможно определить, сколько времени прошло, если неизвестно, что из себя представляет само время. Раз шесть нам подавали на маленьких пластмассовых подносиках еду, минеральную воду, чай, кофе, фрукты. И раз шесть я засыпал с поднятым лицом, и просыпался, и опять засыпал...

Вдруг мой сосед, перегнувшись через меня и обдав жаром своего большого тела, заглянул в окно и дружелюбно произнес:

— Лонг-Айленд.

Я увидел в иллюминаторе ночь, как пласт угля, по которому во всю ширь до самого горизонта медленно и молчаливо двигались в обратную сторону врезанные в него световые сигналы, целая сложная система сигналов: точки, пунктиры, линии, геометрические фигуры, параболы, заставлявшие меня составить представление о населенном материке, где шла своя, еще не понятая мною ночная жизнь. Я видел ряды бело-зеленых сильных газосветных фонарей вдоль непомерно длинных городских магистра-

лей, разноцветные огни светофоров, светящиеся тельца бегущих автомобилей, эллипсоиды освещенных стадионов с бегающими крошечными фигурками спортсменов, провисшие цепи мостов, иллюминаторы трансатлантических пароходов и вращающиеся маяки с узкими крыльями прожекторов, обегающих горизонт со скоростью секундной стрелки. Подо мной на страшной глубине плавал ночной Нью-Йорк, который, несмотря на весь свой блеск, был не в состоянии превратить ночь в день — настолько эта ночь была могущественно черна. И в этой темноте незнакомого континента, в его таинственной глубине меня напряженно и терпеливо ждал кто-то, желающий причинить мне ущерб. Мне — одинокому, внезапно заброшенному сюда выходцу из другого мира,— но не старого, а быть может, еще более нового, чем этот.

О, если бы вы знали, как я был одинок и беззащитен, когда, спустившись по трапу высотой с двухэтажный дом, я вошел в лилово-зеленое пекло почти тропической нью-йоркской ночи — тяжелой, влажной, бездыханной,— и как я пошел по однообразно светящимся коридорам таможни, как бы вырезанным в ледяном теле айсберга, где, освещенный со всех сторон, я был лишен своей тени, где воздух был «кондишен», так что я мог несколько минут наслаждаться искусственной прохладой, и как я потом под взглядом красавицы таможенницы, острой блондинки с раскованными глазами кинозвезды, с пистолетом в белой кобуре, взял со светящегося конвейера мой ползущий чемодан и снова окунулся в ночной зелено-лиловый зной, где все виды искусственного света были не в состоянии хотя бы немного отодвинуть от меня черноту этой дьявольской, почти тропической августовской полночи незнакомого континента, где вместо Цельсия температуру показывал Фаренгейт, чудовищно ее преувеличивая, отчего влажная жара казалась еще более невыносимой.

В номере на двадцать третьем этаже стандартного туристского отеля, где на серой гипсовой стене над пружинной кроватью висела цветная репродукция зимнего пейзажа Утрилло, ночной зной и духота были еще более ужасны, чем на улице. «Эр кондишен» не было. Его заменял специальный холодильник с вентилятором, вделанный в нижнюю часть квадратного американского окна и наполовину выставленный наружу и повисший над стрит — на манер цветочного ящика. Я тотчас повернул пластмассовое колесико, и пронзительная могильная струя охлажден-

ного воздуха пролетела по темноватому номеру, минуя мое потное, горячее лицо, и мне пришлось повернуть другое пластмассовое колесико, для того чтобы направить холодную струю на изголовье своей постели. Теперь в мое лицо косо ударила режущая струя ледяного воздуха, заменив одну муку другой — муку субтропической духоты мукой антарктического ветра, дующего с угрожающим постоянством по диагонали от окна к кровати в ночном сумраке этого чистого, но очень скучного туристского номера, откуда открывался вид на скопление полуосвещенных небоскребов и на какой-то шпиль, по которому вверх и вниз каждые шестьдесят секунд бежала цепочка электрических лампочек, считая минуты и часы нью-йоркского времени.

Я погрузился в мертвый сон, а когда проснулся, то почувствовал, что могильный ветер холодильника продолжал шевелить мои волосы, а в окне — типичном американском окне, открывающемся, как вагонные,— над знакомым скоплением небоскребов в голубом свежем небе неслись белые атлантические облака и над рекой Гудзон, кое-где видневшейся в пролетах улиц, носились чайки. Я спустился вниз и вышел на улицу. Было раннее утро, воскресенье, безлюдье, где-то позванивали церковные колокола, солнце золотило верхушки Колумбовой колонны, в Центральном парке в сухой августовской траве кое-где валялись пустые бутылки из-под джина и водки, из травы кое-где высовывались черные гранитные скалы, темненькие белочки в потертых, давно не ремонтированных шубках доверчиво подходили ко мне и смотрели, как девочки, добрыми выпуклыми глазками, иногда бесшумно проносилась запоздавшая машина, стремительно унося за город на воскресную прогулку счастливую парочку: его, незаметного молодого человека, и ее, ослепительную, как небожительница, высокую, стройную, с развевающимися золотыми волосами.

Грипп, насморк, кашель, головная боль, потеря равновесия — расстройство вестибулярного аппарата.

Я уже не сознавал, куда иду и что делаю. Меня вела, как говорилось в старину, таинственная сила предопределения. А в действительности, подчиняясь сигналам из

окружающей меня среды, я шел вперед из улицы в улицу, пересекая узкие скверы, прямо в мышеловку, поставленную для меня в одном из закоулков этого, в основном кирпичного, довольно старого города. Здесь меня на каждом шагу подстерегали явления и картины, которые я ощущал как сигналы бедствия. Неряшливая пустота этих бедных кварталов пугала. Я не сомневался, что где-то очень близко, может быть, вот за этим кирпичным углом, меня ограбят. Но что можно у меня забрать, чем поживиться? Желтый сертификат — свидетельство о прививке оспы — и сорок бумажных долларов со слегка обгоревшими уголками, надежно зашпиленных во внутреннем боковом кармане. Их бы я не отдал, даже если бы в мою печень был наставлен бесшумный автоматический пистолет из ближайшей телефонной будки.

Нигде ни одного полисмена, ни одного прохожего, ни одного свидетеля. Все пусто, все заперто, люди молятся или отдыхают, всюду субботний сор, и даже возле кирпичного пожарного сарая или возле кирпичного фасада клиники имени президента Франклина Делано Рузвельта нет ни дежурных, ни сторожей, ни швейцаров.

Особенно настойчивые сигналы стали поступать в узком треугольнике Линкольн-сквера в тот самый миг, когда вдруг среди пыльной августовской зелени городских деревьев я увидел зловещую голову Данте в средневековом чугунном шлеме. Вместе со всеми кругами своего ада он не предвещал мне ничего хорошего, но ничего хорошего не предвещала также сильно уменьшенная и все же довольно-таки громоздкая, грубая копия статуи Свободы — невежественное подобие, поставленное на крыше своего пятиэтажного дома каким-то чудаком, который злоупотребил правом свободного американца как угодно поступать со своей собственностью. Я даже сперва отшатнулся, когда вдруг увидел над собой эту знакомую женщину, но не из позеленевшей бронзы, с поднятым факелом, а совершенно черную, как бы слепленную из смолы. И хотя это было нечто претендовавшее на искусство, оно казалось мне во сто раз уродливее круглых баков водяного отопления, водруженных на своих железных треножниках над крышами других домов, индустриальные силуэты которых все время маячили передо мной в отдалении.

Я зазевался, и меня едва не сбил с ног длинный автомобиль, который энергично вела молодая старуха в белом

шелковом костюме, так густо покрытом черными яблоками, что его можно было скорее назвать черным в белых яблоках, а рядом с дамой сидел и смотрел в изогнутое ветровое стекло с мягким верхом большой пойнтер в драгоценном ошейнике, тоже весь темновато-белый, в черных яблоках или, вернее, черный в белых яблоках, в точности подобранный под цвет черно-белого ансамбля молодой, подтянутой старухи, пролетевшей мимо меня купаться на Джонс-Бич, как новый сигнал, предупреждающий о близкой беде.

Более зловещим показалось мне явление другого автомобиля — не менее роскошного и длинного,— в просторной кабине которого ехал костюм. Не человек в костюме, а именно сам по себе костюм — элегантный, свежеотутюженный, висящий на тончайших проволочных плечиках, прицепленных к потолку кабины. Костюм был совершенно готов, чтобы его надели и тотчас отправились в гости, даже угол свежего батистового платочка торчал из его нагрудного кармана. Перед самым моим носом автомобиль с костюмом остановился, шофер в форменной фуражке вышел на тротуар, с легким полупоклоном открыл дверцу и помог костюму выйти из машины: высоко поднял его и бережно внес в красную лакированную дверь особняка, распахнутую перед ним человеком в визитке старшего лакея. Через несколько секунд машина тронулась дальше, и я снова остался один, совсем один, среди утреннего воскресного Манхеттена, испытывая известное унижение оттого, что костюм прошел перед самым моим носом, не обратив на меня никакого внимания, и даже не извинился за то, что пахнул мне в лицо английской лавандой фирмы «Ярдлей». И в тот же миг мне померещилось, что из-за кирпичного угла на меня кто-то смотрит почечным глазом.

Я не стал уклоняться от неизбежной встречи и смело свернул за угол. Но за углом никого не было. Я увидел другую улицу, такую же пустынную и кирпичную, как и предыдущая. Но было в ней все же нечто особенное: небольшое чахлое деревце, каким-то чудом выросшее возле старого дома с черными каменными лестницами, ведущими прямо с улицы в каждую наружную дверь первого этажа.

Множество подобных черных лестниц я видел потом в Гарлеме.

До сих пор не могу забыть эту картину: черная каменная лестница с потертыми черными перилами, больное деревцо, окно — обыкновенное нью-йоркское окно без переплета, с подымающейся нижней рамой, как в вагоне,— и в этом окне, увешанном птичьими клетками, среди множества цветочных горшков — прелестная и очень бледная в своей грустной прелести девушка-подросток лет четырнадцати, с длинными волосами, старомодно ниспадающими на ее узкие плечи, с тонкими полуобнаженными руками и длинными пальцами, которыми она грациозно касалась своего еще совсем по-детски овального подбородка и нежной шейки с голубыми каменными бусами. Это была полуженщина-полуребенок, и она нежно и грустно смотрела на мальчика, сидевшего на черных ступенях, как бы у ее ног, положив свою ирландски рыжую голову на поднятые колени.

Я понял, что они любят друг друга, и я также понял, что им некуда уехать из Нью-Йорка в это знойное августовское воскресенье. Я понял, что здесь их рай, счастье, их грусть, их безнадежность, их все. Они скользнули блуждающим взглядом по моим слегка пыльным ботинкам и снова погрузились в глубину своего горестного, нищего счастья под сенью единственного на всей улице деревца с ломкими перистыми листьями и слегка неприятным ореховым запахом, которое у нас на юге называют чумак-дерево.

Я прошел мимо десяти или двенадцати мусорных баков, выставленных в ряд, из-под крышек которых высовывалась всякая дребедень: остатки субботнего вечера, раковая скорлупа, картонные коробки, гнилые корки грейпфрутов. Я прошел мимо больших красных ворот пожарной команды, мимо пустыря, заваленного старыми, облезлыми автомобилями, густо поросшего южным бурьяном, напомнившим мне детство и Молдаванку. Затем я миновал заправочную станцию, где никого не было и блестели на солнце пистолеты заправочных наконечников. Несколько раз мне пришлось перешагнуть через еще не вполне высохшие темные потеки детской мочи, спускавшиеся с кирпичных стен дома и продолжавшиеся поперек тротуара.

А колокола все время утомительно позванивали, напоминая о воскресенье.

...Как труп в пустыне я лежал...

Но вот я опять повернул за угол и очутился на улице, которая, по-видимому, тянулась от самой Парк-Баттери параллельно Гудзону, мимо обгоревших деревянных пристаней, откуда все еще продолжало тянуть гарью, на несколько десятков миль, которые назывались здесь «майлс», однообразно кирпичная, с одной стороны — резко освещенная солнцем, а с другой стороны — резко погруженная в сырую черную тень со всеми своими безлюдными барами, галантерейными магазинчиками, красильными заведениями, прачечными и итальянскими съестными лавчонками, где в окнах висели целые гроздья соломенных фьясок с кьянти «суффино», похожих на мандолины, связки испанского лука, седые шелудивые косы чеснока и палки сухой миланской колбасы в серебряной сетке.

Это была Десятая авеню, из конца в конец безлюдная и как бы распиленная вдоль резким светоразделом.

Точнее сказать — она сначала показалась мне безлюдной, но это был обман зрения, так как я сейчас же заметил очень далеко впереди, по крайней мере на расстоянии мили, в перспективе пустынной улицы маленького человечка, который, выйдя из-за угла, стоял на перекрестке и неподвижно смотрел на меня. Хотя до него было еще очень далеко, я отчетливо видел его толстенькую фигуру, неряшливый пиджак, одутловатое лицо старого неудачника, нищего, способного на все ради самого ничтожного заработка, а главное — я понимал, что он смотрит на мои ноги, словно изучая мои мокасины. Я тоже посмотрел на них и ужаснулся. До сих пор я считал, что они имеют вполне приличный вид. Как мог я рискнуть в такой пыльной обуви выйти на воскресную прогулку!

Позади человечка я заметил будку для чистки сапог. Такую точно будку я видел когда-то в Москве возле Центральных бань на Неглинной. Человечек продолжал смотреть на меня гипнотизирующим взглядом и даже сделал небольшой полужест, как бы желая одновременно усыпить мою бдительность и завлечь в свою мышеловку.

Я приблизился осторожными шагами лунатика. Будка была заперта на обыкновенный, довольно неуклюжий восточноевропейский висячий замок начала XIX века, и у меня отлегло от сердца. Но незнакомец быстро щелкнул ключиком и распахнул фанерную дверь. В конце концов, ничего страшного в этом не было. Никакой чертовщины.

Чего проще: у кого-то запылились башмаки, он идет в будку к чистильщику и вскоре выходит в сияющих, невероятно черных башмаках, один вид которых сразу возвращает его в общество приличных людей. Так поступает все цивилизованное человечество. И все же я колебался. Кроме кругленькой суммы в сорок долларов, надежно спрятанной у меня на груди, у меня еще была отложена в специальном маленьком карманчике известная сумма мелочи: семьдесят четыре цента. Время от времени я засовывал пальцы в карманчик и в глубине его ощупывал монеты — тяжеленький серебряный полдолларовик, казавшийся мне целым состоянием, и двадцать четыре цента разными монетками на мелкие уличные расходы. Но я не знал, сколько стоит чистка. Вернее сказать, до меня доходили слухи, что примерно это обойдется центов в пятнадцать, даже, может быть, в двадцать. Определенной таксы не существует. Все зависит от свободного предпринимателя. Говорили, что в собвее у негра можно вполне прилично почистить ботинки даже за десять центов, но, конечно, «того блеска» уже не будет. Кто хочет, чтобы его ботинки блестели, как стекло, должен раскошелиться. Я готов был раскошелиться. Но, конечно, до известных пределов. Я даже согласен был отдать за чистку все мелкие монетки. Это, разумеется, тоже не мало. Но пусть уж будет так: ведь мне предстоял длинный воскресный день в Нью-Йорке. Не мог же я провести его, шляясь по улицам и барам в грязных ботинках, тем более что мне предстояло посетить два знаменитых на весь мир музея: «Метрополитен» и нового искусства, а если останется время, то еще и третий — Соломона Гугенхайма, похожий на четырехъярусную артиллерийскую башню сверхдредноута. Мог ли я посетить эти святыни в столь запущенной обуви? Это было бы надругательством над мировой живописью.

Стоять в неряшливых стоптанных ботинках перед «Откровением святого Иоанна» Эль Греко или перед «Мадам Шарпантье и ее детьми» Ренуара, где чернобровая дама в черно-лиловом шелковом платье, с черно-лиловыми глазами и черно-лиловыми волосами, а сама вся как бы сделанная из парижского сливочного масла, и две прелестные, похожие на нее маленькие девочки в голубых платьицах, а также лежащий на ковре сенбернар с черно-

лиловой шелковой шерстью с белыми пятнами, как бы рифмующийся с самой мадам,— все они вместе — мадам, девочки и собака — как бы являлись высшим проявлением той богатой, артистической, недоступной парижской жизни конца века, в присутствии которой находиться в нечищеных башмаках было бы равносильно святотатству. Я уже не говорю о хохочущей, разорванной на куски лошади и потрясающей электрической лампочке, вспыхнувшей в последний раз перед всеобщим атомным уничтожением на панно Пабло Пикассо «Герника» в Артмузее. На панно — черные, как звездное небо, лестницы и полы ведут вас к громадному окну, выходящему во внутренний двор, где вы вдруг видите посредине безукоризненного, чистейшего ярко-зеленого газона три древнерусские березки с плакучими нестеровскими ветвями и шелковисто-белыми, девственными стволами, украшенными черными черточками и полосками кисти самых лучших абстракционистов, может быть, Малевича или даже самого Кандинского.

Разве мог я решиться осквернить все это своими нечищеными мокасинами?

А незнакомец стоял возле будки и, стараясь заманить меня в свое логово, делал разнообразные знаки и на разных языках пытался вырвать у меня согласие почистить обувь.

— Инглиш?

— Но!

— Итальяно?

— Но!

— Суэден?

— Но.

Это было все, что он мог мне предложить.

— Франсе? — спросил я с надеждой.

— Но! — в свою очередь, ответил он и легонько подтолкнул меня плечом к фанерной двери своей будки.

— Дейч? — спросил я с отчаянием.

Он горестно развел короткими руками и, в свою очередь, спросил:

— Испано?

— Но,— удрученно ответил я.

Это был пожилой, обрюзгший человек с одышкой, в заношенном пиджаке, в помятой сорочке с отстегнутым

воротничком, и крупная медная заколка, позеленевшая от времени, натерла на его шее красное пятно. У него была плешивая голова, мешки под глазами, как у старого сердечника, от него исходил дурной запах итальянской кухни — лук, жаренный на прогорклом оливковом масле, и тертый чеснок. Он был небрит. Типичный нищий-неаполитанец, лаццарони, состарившийся где-нибудь в лачуге на Санта-Лючия. Но он не был суетлив. Напротив. Он был малоподвижен, потому что каждое движение заставляло его астматически вздыхать — со свистом и бульканьем.

— Ру́ссо? — безнадежно спросил я.

— Но,— с одышкой ответил он.

И мы оба вспотели.

Он подтолкнул меня к высокому креслу и помог мне на него вскарабкаться, как на трон. Таким образом, мои мокасины оказались на уровне его серого небритого подбородка, форма которого могла сделать честь любому римскому императору, и он бросил на мокасины презрительный, но вместе с тем и алчный взгляд.

У нас не было общего языка. Вторая сигнальная система как бы отсутствовала. Друг для друга мы были глухонемые. Мы должны были объясняться жестами или движением лицевых мускулов, как мимы. Этот старый итальянец оказался прирожденным мимом.

— Ну, эччеленцо, почистим? — спросило его брезгливое лицо.

— А сколько это будет стоить? — безмолвно спросил я, делая самые разнообразные телодвижения и жесты, и даже нарисовал в воздухе указательным пальцем вопросительный знак.

Он понял.

— Двадцать пять центов,— сказал он комбинацией лицевых мускулов и для верности буркнул по-английски: — Твенти файф.

Я не поверил своим ушам, и несколько преувеличенно изобразив на своем лице ужас, спросил бровями, щеками и губами:

— Как! Двадцать пять центов? Четверть доллара за простую чистку?

— Да,— с непреклонной грустью ответили мешки под его глазами.

— Почему так много? — воскликнули морщины на моем лбу.— Варум? Пуркуа? Уай?

Он величественно — как Нерон на пылающий Рим —

посмотрел вокруг на старые, наполовину уже разрушенные дома этого квартала, где в скором времени должен был вырасти грандиозный, ультрамодернистский Музыкальный центр, и ответил мне целой серией жестов, телодвижений, гримас и сигналов, которыми без слов изобразил исчерпывающую картину нью-йоркского летнего воскресенья с его слабым колокольным позвякиваньем, пустотой, зноем, безлюдьем и законами о запрещении воскресной торговли.

Я понял: все вокруг заперто, почистить обувь негде, он специально отпер для меня свое предприятие и рискует неприятностями с профсоюзом, и я должен платить по двойному тарифу. Я посмотрел на свои ноги и окончательно убедился, что провести в такой обуви нью-йоркское воскресенье просто неприлично,— и смирился.

— Хорошо,— сказал я.— Ладно. Идем. Бьен. Уэл.

Тогда он неописуемо ленивым движением достал щетку и двумя скорее символическими, чем реальными движениями утомленного аристократа смахнул пыль с моих мокасин, отчего они вовсе не стали лучше. Совершив это действие, он слегка передохнул и вытер носовым платком свою серо-буро-малиновую шею. Затем, порывшись на полках, где, как и во всех подобных заведениях земного шара, у него хранились разных сортов стельки, шнурки, подковки, винтики, шпунтики, шурупчики и прочая мелочь, он протянул мне пару шнурков в целлофановом пакетике.

— Купите! — сказало его лицо.

Ах, так этот старый мошенник хочет на мне нажиться? Ну уж дудки! Не на такого напал.

— Нет! — крикнуло все мое существо.— Но! Найн! Нон!

Он небрежно швырнул пакетик обратно на полку и показал мне глазами, которые вдруг стали игривыми, как у Бригелло, цветные портреты голых и полуголых красавиц, вырезанных из разных иллюстрированных журналов, причем возле каждой вырезки на стене были жирно написаны столярным карандашом пятизначные нью-йоркские телефоны с двумя литерами спереди.

— Может быть, это? — спросило его лицо старого сводника, но так как я в смятении замахал руками, он, облив меня презрительным взглядом, еще раз обмахнул мои мокасины, затем достал флакон, вынул пробку с проволокой, на конце которой был прикреплен ватный там-

пон, и слегка помазал аппретурой потертые ранты моих мокасин, после чего обмахнул их бархаткой и сказал жестом:

— Готово!

Как? Это все? Я не верил своим глазам. Но передо мною уже твердо лежала в воздухе его сизая, как пепельница, ладонь с черными линиями жизни, роговыми мозолями, венериными буграми и прочими деталями хиромантии. И я осторожно выложил на эту ладонь свою мелочь. Двадцать четыре цента. Я прощался с ними со слезами на глазах, как с родными детьми. Всё. Не хватало всего лишь одного маленького центика, медного клопика, почти не имеющего никакой ценности.

Однако старик смотрел на меня неумолимо требовательно, и его ладонь продолжала все так же твердо торчать перед моими глазами.

— Может быть, хватит? — сказало все мое существо, пытавшееся в тот миг как бы примирить славянский размах с американской деловитостью.

Но он даже не ответил мне, настолько он чувствовал себя хозяином положения.

— Двадцать пять центов,— с ледяным упорством говорила вся его фигура, ставшая чугунной.

Ничего не поделаешь! На его стороне, по-видимому, был закон или, во всяком случае, все силы профсоюзов. Я смирился. Мне, конечно, очень не хотелось менять свои тяжеленькие, красивенькие, серебряненькие полдоллара. Но ничего не поделаешь. Я был в его руках. Тогда я забрал с его жесткой ладони всю свою мелочь и положил вместо нее прелестную серебряную монету в пятьдесят. Он не глядя бросил ее в отвисший карман своего пиджака и, повернувшись ко мне согбенной спиной, стал убирать бархатки и щетки.

— А сдачи? — воскликнул я по-русски, чувствуя, что произошло непоправимое.

Он ничего не ответил, но его спина выразила, что сдачи не будет.

— Почему? По какому праву? Варум? Пуркуа? Пер кэ? Это нечестно. Дас ист нихт гут. Се тре мовэ. Но буоно. Ведь мы же сговорились за двадцать пять центов!

Для бóльшей наглядности я написал в воздухе дрожащим указательным пальцем большое двадцать пять и громадный вопросительный знак, к которому прибавил еще восклицательный высотой в двенадцать инчей.

— Но! — резко сказал он, отрицательно мотнул головой и над каждым моим ботинком написал в воздухе большим пальцем с иссиня-черным мраморным ногтем цифру «25». Затем он поставил между ними плюс и, начертив знак равенства, аккуратно изобразил цифру «50».

Я застонал, как подстреленный, потому что понял, что этот подонок считает двадцать пять не за оба мокасина, а по двадцать пять за каждый. Я ничего не мог с ним поделать: именно в таком смысле он истолковал наше соглашение. Что делать, что же делать?

Дать ему по морде? Но закон был на его стороне, так как у меня не было свидетелей и я был всего лишь одинокий старый чужестранец, без связей, без знакомств, заброшенный в глухую страну сновидений и блуждающий по ней на ощупь, как слепой.

Мне стало так жалко себя, что я готов был лечь на раскаленный тротуар возле кирпичной, слегка выветрившейся стены, под железную пожарную лестницу и завыть на всю Десятую авеню, что меня обманули, ограбили, провели, как последнего пижона... Но что я мог сделать? Ничего! Я даже не мог пожаловаться Генеральной Ассамблее ООН, чье плоское стеклянное здание возвышалось, как шведский книжный шкаф, над железными мостами и бетонными эстакадами Ист-сквера: ведь я не был даже самым захудаленьким государством.

Я был всего лишь частным лицом.

И я смирился, снова погружаясь в глубину таинственных сновидений, не достигающих до моего сознания — так глубоко они лежали на темном, неосвещенном дне той субстанции, которую до сих пор принято называть душой.

А он тем временем потихонечку, довольно вежливо, я бы даже сказал дружественно, выпихнул меня своим грузным телом из будки и повесил на дверь замок. Я посмотрел на него из самой глубины сна, в который был погружен,— на него, старого, больного, с опухолью в мочевом пузыре, с одышкой гипертоника, с трясущимися опухшими глянцевитыми руками, в красных матерчатых комнатных шлепанцах на босу ногу, в старой итальянской соломенной шляпе, с лентой, пестрой, как змея в одном из рассказов Конан Дойла, и мне вдруг стало жалко не себя, а его. Я как-то отраженно подумал, что, может быть, он папа или даже дедушка той женщины-девочки, которую я только что видел в окне старого кирпичного дома, изуродованного по фасаду зигзагами железных пожарных

лестниц и переходов, среди клеток с бирюзовыми инсепараблями — попугайчиками-неразлучниками, канарейками и говорящими скворцами. Мне захотелось плакать — широко и сладко, — и я простил старого мошенника и вспомнил свою первую любовь.

Затем я провел восхитительный день, свой первый день в Нью-Йорке.

За мной заехал Митч со своей девушкой, которая была в летнем платье — по-американски пестром, а он в черном летнем костюме — мохнатом и в талию, отчего туловище Митча показалось мне еще больше вытянутым. И он повез меня на своем наемном «кадиллаке» с ветровым стеклом, в верхней своей части аптекарски синим, вокруг Манхеттена.

Мы сидели все втроем впереди, как за одной партой, дружески прижавшись друг к другу, от девушки сильно пахло духами «Мицуко», и мы с безумной скоростью мчались по белым эстакадам, ныряли в белокафельные тоннели под Гудзон, где на несколько минут нас охватывала городская ночь со своей тревожной системой световых сигналов, вылетали на солнечный свет, поворачивали по головокружительным виражам, возвращались назад, пробежали, как звук, по новому висячему мосту Джорджа Вашингтона, по сравнению с которым знаменитый Бруклинский мост, некогда воспетый Маяковским, — ничто, пролетели, как муха, в середине громадной арфы с белыми струнами висячей конструкции; Митч захотел показать мне какое-то знаменитое шоссе, по которому может мчаться шестнадцать рядов машин в одном направлении, но не нашел его, и мы снова мчались и мчались вокруг Манхеттена, перескакивая с эстакады на эстакаду, и все время видели то сбоку, то сзади, то впереди светлые силуэты небоскребов, пересечение стальных светлых балок, ферм, креплений над обгорелыми остатками грузовой пристани, иногда попадая в желто-опаловый дым догорающего маслобойного завода, распростершего над Нью-Йорком зловещую тень своего извержения в классической форме извержения Везувия.

Плавные, но очень крутые виражи бросали нас друг на друга, и мы все мчались, все мчались, как безумные, среди белого джаза Нью-Йорка.

В особенности же прекрасен был этот город в разгар зимы, когда в докрасна раскаленных ущельях Таймс-сквера, под дикие звуки флейт и барабанов Армии спасения бушевали снежные вихри, обрушиваясь с металлических верхушек небоскребов и превращая стоянки автомобилей в ряды глубоких кладбищенских сугробов, озаренных движущимися заревами световых сигналов и реклам, и когда тихим и мягким утром на длинных ступенях лестницы Нью-йоркской публичной библиотеки, между двумя каменными львами, можно было увидеть еще одного, третьего, льва, вылепленного нью-йоркскими мальчиками и студентами из снега, и эти три льва смотрели белыми глазами на самую богатую улицу мира — Пятую авеню, на виднеющиеся кое-где знаменитые готические церкви: собор святого Патрика, церковь святого Фомы, так называемую — «Маленькую церковь за углом», в соседстве с которыми новейшие небоскребы напоминают нагромождение корсетных коробок — высоких и узких, алюминиевых, стеклянных футляров, куда эти церкви, по-видимому, кто-то прячет на ночь вместе со всеми их портиками, дверями, мраморными шпилями колоколен и даже, кажется, химерами, как на карнизах собора Парижской богоматери, так что обстановка сложилась самая естественная для несколько фантастического появления одного человека, который внезапно возник рядом со мной на лестнице библиотеки, как бы представляя четвертого льва с многозначительно поднятыми бровями. Я думаю, этот человек был одним из последующих воплощений покойного говорящего кота или даже — что еще хуже — моего давнего тягостного спутника, человека-дятла с порядочно поредевшим за это время хохолком, и в ту же минуту я услышал его жаркое дыхание и деформированный пространством и временем голос, таинственно забубнивший мне на ухо: «Должен вас предостеречь: ведите себя более осмотрительно. Не следует так откровенно восхищаться. Что́ вы нашли в том самом ихнем Джордж Вашингтон-бридж? Не видели дерьма! Такой самый, как наш Крымский, только еще длиннее. Будьте крайне осторожны в своих высказываниях, а то сами не заметите, как нарветесь на провокацию».

У него была такая артикуляция, как будто сильно распухший язык с трудом помещался во рту, так что обыкновенные слова еще кое-как пробивались наружу, хотя и в несколько деформированном виде, а слова длин-

ные или научные, такие, к примеру, как «неоколониализм», вылазили на свет божий из недоразвитого толстого ротика уже просто-таки в укороченном виде, без гласных, одни только согласные: «нклнлзьм», «сцлзьм», что, впрочем, не мешало ему быть весьма красноречивым.

— Если хотите знать, я сам крепко пострадал, в смысле — погорел. Вообразите себе такую картину: посылают меня в Америку, в Город Желтого Дьявола.

Я вообразил.

— Приезжаю, заказываю в центовке визитные карточки, одеваюсь как положено, по мировому стандарту, беру на выплату кар и так далее. Слава богу, на отсутствие у себя вкуса пожаловаться не могу. Чего-чего, а за вкус ручаюсь. Сами видите: ни за что не отличишь от иностранца. Верно? Тергалевые брюки двадцать один сантиметр без обшлагов, узкие мокасины, задние разрезы на пиджаке, нейлоновая сорочка, скромненький галстук с абстракционным рисунком. Тоненькая золоченая цепка. Все о'кей! Получаю приглашение на обед. Иду, обстановка следующая: деловой ленч в пальмовом зале «Уолдорф Астории». Кардинал Спэллман, Рокфеллер-младший, мэр города Нью-Йорка Роберт Ф. Вагнер, наш представитель по мировым стандартам Сидоров, дамы, господа, представители влиятельных кругов Уолл-стрита. Моя соседка слева — звезда экрана Агата Бровман, «мисс Голливуд» одна тысяча тридцать девятого года. Ленч, конечно, при свечах. Хрусталь, серебро, салфетки из голландского полотна, никакой синтетики. Все — о'кей! У меня нервы, конечно, натянуты, но я не показываю вида и держу себя абсолютно как джентльмен. И что же вы думаете? Поймали-таки меня на провокацию, подлецы. Кончается ленч, лакеи в белых шелковых чулках подают хрустальные мисочки с полосканьем. Тут уж, сами понимаете, я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Знаю, что к чему. Ученый. Читал инструкцию. Если после ленча подают тебе мисочку с водой, то боже упаси ее пить, потому что это не лимонад, а полосканье для пальцев. Некоторые наши на этом крупно погорели, но только не я. Беру мисочку и, чтобы все видели, начинаю мыть в ней руки. А это как раз оказался ананасный компот. Понимаете! Так я, вообразите себе, на глазах у всей «Уолдорф-Астории» вымыл руки в ананасном компоте, так что он стал даже немного синий, вроде лиловый.

Ну, конечно, меня вызвали и говорят: ты, Федя, в Го-

роде Желтого Дьявола не прошел. Придется тебе отправиться на какой-нибудь другой континент. Там мы тебе что-нибудь подберем. И вот — завтра улетаю. Так что учтите: здесь на каждом шагу можете нарваться на провокацию. И боже вас сохрани, никогда не мойте руки в ананасном компоте. Ну, авось когда-нибудь встретимся.

Он пошарил в бумажнике и вручил мне маленькую визитную карточку с немного захватанными уголками, где было напечатано латинскими буквами:

«Альфред Парасюк, кюльтурель».

Говорящий кот! Говорящий кот!

Американцы дали мне понять,— разумеется, со всей деликатностью! — что действительно не следует чрезмерно восхищаться Нью-Йорком, потому что этот город — отнюдь не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Если вы хотите увидеть подлинную Америку, то ищите ее где-нибудь в другом месте материка.

— Хорошо. Я буду ее искать.

И я полетел в Вашингтон, округ Колумбия, хотя меньше всего можно было назвать полетом бесцветное передвижение по воздуху над просторами восточной части Североамериканского материка в длинной закупоренной комнате пассажирского самолета, оклеенной синтетическими обоями с серебряным абстрактным узором и таинственными пробоинами в панелях, превращавшихся ночью в подобие карты звездного неба, в чем я убедился впоследствии, когда мне пришлось несколько раз передвигаться над Штатами после наступления темноты. Чехлы кресел были пропитаны запахом виргинских табаков, и я увидел двух молчаливых попутчиков в противоположных концах пустого салона первого класса. Один был черный, другой белый.

Впервые в жизни я видел такого негра — безукоризненно элегантного, одетого во все темное тропикаль, корректного и, видимо, богатого, с утонченно интеллигентными чертами прекрасного лица европейца, белоснежным воротничком вокруг длинной, несколько женственной шеи и с музыкальными пальцами, на одном из которых неярко светилось бледное обручальное кольцо очень хо-

рошего тона — совсем тонкое, как новорожденный месяц в сумерках матовой узкой руки с дымчато-розовой ладонью.

Я уже когда-то видел подобные глаза, глядящие вам прямо в душу как бы из прорези полумаски.

— Отлично. Завтра я вас усыплю в лучшем виде. Ручаюсь, что вы даже не заметите. А теперь спите спокойно.

— Доктор,— сказал я тогда,— вы обещали меня усыпить, и это очень хорошо, но обещаете ли вы потом разбудить меня?

Он не оценил моей шутки, ничего не ответил и незаметно вышел.

Может быть, мой попутчик-негр был врач, отвергший психоаналитический подход «великого Фрейда» к функциональному психическому расстройству и ведущий поиски чисто медицинских средств излечения и предупреждения неврологических и психических расстройств, состоя на службе в какой-нибудь могучей фармацевтической корпорации.

А белый был обыкновенный американский генерал, по-видимому одного из высших рангов. Он был в непромокаемой шелковой куртке цвета луковой шелухи на алой муаровой подкладке и на длинной «дубль-молнии» самой надежной конструкции; прямые армейские брюки были заправлены в довольно высокие сапоги, руки в замшевых перчатках лежали на костлявых коленях, большой штабной портфель помещался в багажнике над его головой. У него было заурядное генеральское лицо, энергично выбритое, мускулистое, решительное, с красивыми бровями, лицо пятидесяти- или шестидесятилетнего, не слишком сильно, но регулярно пьющего мужчины, способного на любые, даже самые страшные, военные действия, если этого потребует обстановка или приказ высшего начальства. Если бы не его большая генеральская фуражка с американским орлом и маленьким лакированным козырьком, как в старой русской армии, надетая по-казачьи несколько набекрень, его можно было бы принять за Врангеля, или Колчака, или еще какого-нибудь из контрреволюционных генералов времен интервенции. В его полуоткрытых глазах под щелочками ирландских бровей бежали крошечные зеркальные отражения полуголых человечков, пылали бамбуковые хижины, стреляли

базуки, ползла по земле удушливо рыжая овчина горящего напалма и джунгли тонули в ядовитом дыму, над которым висели брюхатые стрекозы геликоптеров с вяло вздернутыми хвостами.

Эти два гражданина Соединенных Штатов, столь чуждые друг другу по всему своему человеческому обличью и вместе с тем скованные между собой нерасторжимыми узами древнего преступления, в котором ни один из них не был повинен, были соединены всей мощью американской государственности еще более прочно, чем фазы земных суток, когда на нашей планете одновременно существуют, преследуя друг друга по пятам, белый день и черная ночь со всеми ее безумными сновидениями и подавленными желаниями.

А я — выходец из совсем другого мира,— как бы попавший в зону душевной невесомости, почти что плавал в своем откинутом кресле где-то на пересечении дня и ночи и, покончив с грейпфрутом и громадными подогретыми тостами-сандвичами с консервированной ветчиной и консервированным сыром, который был украшен мокрыми листьями салата и покрыт каракулями майонеза, уже держал в руке до смешного невесомую пластмассовую чашку, куда стюардесса в сексуальной пилотке на обесцвеченных волосах наливала через мое плечо из кувшиноподобного термоса широкую струю тяжелого, как золото, мокко, над которым клубился божественно горький пар.

...А когда утром меня приготовили, то есть вынули из моего рта старые зубные протезы, сняли с моей руки позеленевшие от времени стальные часы, побрили все мое тело, и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, молоденькие девушки быстро и весело — с явным удовольствием — повезли меня на каталке по холодному коридору, покрытому скрипучим линолеумом цвета Атлантики, потом опустили в грузовом лифте и снова еще быстрей покатили уже в другом направлении по такому же безлюдно-стерильному атлантическому коридору в операционную, двери которой сами собой распахнулись перед нами, как в нью-йоркском интернациональном аэропорту, и я увидел голубых людей — главным образом молодых изящных женщин в полумасках,— и они переложили мое тело на узкий и твердый стол под круглым, еще не включен-

ным прожектором, то я окончательно примирился со всем дальнейшим...

Между тем в иллюминаторе продолжали плыть грустные пространства зимней Америки — лесистые, иногда гористые, немного зеленые, с декадентскими облаками на горизонте. Масштаб местности увеличивался на глазах, из чего можно было заключить, что начался плавный спуск. По какой-то совершенно непонятной зрительной ассоциации я безошибочно узнавал никогда раньше мною не виденные города, над которыми первый раз в жизни летел в обществе моих молчаливых ангелов: одного черного, как ночь, другого белого, как день.

Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимора — все было позади.

Когда же я увидел внизу совсем приблизившееся к глазам плавно закруглявшееся шоссе с белыми прерывистыми линиями посредине и на нем не слишком часто и не слишком быстро бегущие туда и обратно автомобили, плоские, как портсигары, которые огибали высокий электротрансформатор строгой формы, выкрашенный оранжево-красным краплаком, таким ярким, почти что светящимся среди вялых зимних газонов и узкоперых елей, то я понял, что мы приблизились к Вашингтону, к его новому, ультрамодернистскому аэропорту Даллас, но это меня теперь уже совсем не радовало, потому что я предчувствовал, что в столице Соединенных Штатов со мной повторится то же самое, что было в Нью-Йорке.

— Вашингтон — это не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Проезжий двор, где постояльцы меняются каждые четыре года. Настоящую Америку надо искать в другом месте.

— Где?

— Не знаю.

— На юге?

— Может быть. Это зависит от ваших политических убеждений.

— На юго-западе?
— Если вы отречетесь от совести и чести.
— На западе?
— Быть может, не уверен.
— Но все-таки?
— Ищите, ищите.

Это было странно и тягостно. В какое бы место Соединенных Штатов я ни попадал, я всюду слышал одно: это не Америка. Вы не туда заехали. Ищите Америку где угодно, но только не здесь. Ищите, ищите.

Тогда я понял, что ни один американец не уверен, что он живет в настоящей Америке. Он убежден, что где-то в другом штате есть какая-то настоящая, подлинная Америка, обетованная земля для американца. Ему трудно поверить, что место, где он живет, именно и есть та самая знаменитая на весь земной шар великая Америка.

Я видел Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Денвер, Чикаго, Бостон, наконец, злополучный Нью-Йорк, откуда, собственно, и начались поиски настоящей Америки.

Я уже не говорю о пути в ущельях Невады — слоистого плоскогорья, где белые полосы снега перемежались с винно-красными и палевыми полосами горных пород горизонтального залегания, кое-где как бы вышитые зелеными шерстяными елочками хвойного леса, что придавало им оттенок чего-то кустарного, белорусского,— и где в одном месте над нашим алюминиевым поездом на головокружительной высоте висел ледяной орган замерзшего водопада, из которого, как из моей немой души, нельзя было извлечь ни одного звука, ни одного стона, и где вдоль обледеневшей и занесенной снегами реки Колорадо, истыканной большими и малыми следами разных диких зверей, даже, может быть, оленей,— бесконечно долго длился зимний североамериканский закат, который я наблюдал, сидя под стеклянным колпаком на втором этаже обзорного туристского вагона.

Но я понял всю тщету своего путешествия лишь тогда, когда в конце концов в один прекрасный день увидел в иллюминаторе французского трансатлантического самолета пляжи Лонг-Бича и Джонс-Бича, заснеженные леса Канады, полуостров Лабрадор, а потом голубой кружок Атлантического океана с редкими белыми точками волн и мутной тенью атомной подводной лодки с ядерными ракетами.

Итак, я возвращался с пустыми руками, мне нигде не удалось найти настоящую, подлинную Америку, к чему я, впрочем, совсем не стремился: теперь в этом можно сознаться. Америка была для меня последней надеждой еще хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности, потому что, когда мы узнали друг друга, ей было лет пятнадцать или около того, мне же немногим больше шестнадцати, а быть может, наоборот — ей шестнадцать, а мне пятнадцать,— но теперь это уже не имело значения. Может быть, она давно где-нибудь умерла и от нее осталось только имя, которое по какому-то странному суеверию я боюсь не только написать на бумаге, но даже произнести вслух, потому что в конце концов любое человеческое слово, написанное знаками или произнесенное голосом, всего лишь только искаженное отражение самой вещи, ее приблизительное подобие, продукт деятельности второй сигнальной системы. Пусть лучше ее имя лежит в глубине моего сознания, как неприснившийся сон.

Вернее всего, она совсем забыла обо мне, тем более что между нами не только никогда не было никакой близости, но я даже не вполне уверен, догадывалась ли она, что я ее полюбил на всю жизнь с того самого лилового мартовского вечера, когда мы всей нашей маленькой компанией возвратились домой после прогулки по еще заколоченным приморским дачам, разыскивая в прошлогодней листве маленькие бледные фиалки — первые фиалки этой весны, распространявшие огуречно-водянистый, нежный, слабый аромат,— и потом она зашла к своей подруге, для того чтобы почистить ботинки и причесаться. Никогда не забуду я, как она сняла перед зеркалом в ореховой раме свою форменную касторовую шляпу с атласным салатно-зеленым бантом и круглым гимназическим гербом, набрала полон рот шпилек-невидимок, которые проворно вынимала одну за другой из прически, и я вдруг увидел всю массу ее каштановых волос с рыжими кончиками, тяжело опустившуюся на ее детскую прямую спину, перекрещенную черными бретельками ее форменного, будничного саржевого передника. Ее маленькие ноги были обуты в башмачки на пуговицах, и темно-зеленое гимназическое платье закрывало лодыжки. Она была совсем некрасива — маленького роста, с незначительным лицом,

кое-где покрытым веснушками, со щечками как у лягушонка, крошечным подбородком, выпуклыми веками и карими глазами, женственными, но лишенными индивидуальности, что, как я понял впоследствии, и есть ее индивидуальность. Так как она держала во рту шпильки, то ее щечки казались еще более лягушачьими, рыжеватые брови благовоспитанной, прилежной девочки хмурились, тесные рукава были обшиты узкими кружевцами, откуда высовывались кисти еще по-детски красных маленьких рук с неровно подстриженными ногтями, на которых я заметил несколько белых пятнышек — верная примета того, что скоро ей предстоит получать подарки. Эти подарочные пятнышки делали ногти немного сизыми, почти мраморными. Плоская грудь под черным передником тихо дышала. И я вдруг с ужасом понял, что полюбил ее на всю жизнь. Я ни секунды не сомневался в значении для меня того, что случилось, и ужаснулся, так как уже тогда твердо знал, что отныне я ее буду любить всегда, а она меня никогда не полюбит. И меня охватила такая щемящая — я даже не боюсь сказать — безумная грусть, описать которую не могу, потому что у этой грусти не было никаких причин и никакого внешнего выражения, как у абсолютного безмолвия.

Мы стояли в огромном мире друг перед другом — девочка-гимназистка и мальчик-гимназист — вот она и вот я,— и у меня под черной суконной гимназической курткой с потертыми докрасна серебряными пуговицами, под нижней сорочкой, на худой шее висел эмалевый киевский крестик вместе с холщовой ладанкой, где были зашиты два зуба чеснока, которые, по мнению тети, должны были предохранить меня от скарлатины и других напастей. Увы, они не предохранили меня ни от скарлатины, ни от еще большей напасти — от неразделенной любви на всю жизнь. Но, может быть, все же я просто выдумал эту вечную любовь.

Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого — терпит фиаско. Я уверен, что Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров; он себя обкрадывает, так

как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было для меня немыслимо. Их разделение сразу превратило бы искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма.

Посмотрев в большое окно, некогда выходившее в цветущий сад, полный перистой зелени белых акаций и лазури солнечного южного полудня, я увидел девушку, которая стояла, прячась за цветущим кустом, между двух молоденьких черных кипарисов. Она была белокурая, в веселеньком платьице и стройно стояла на розовой от зноя дорожке, посыпанной морским песком с ракушками. Мне показалось, что она исподтишка подглядывает за мной. Я опустил горячую полотняную штору и продолжал писать, а когда я пишу, то время для меня исчезает и не мешает моему воображению.

...Если бы я был, например, жидкостью — скажем, небольшой медленной речкой,— то меня можно было бы не перекладывать с каталки на операционный стол, а слегка наклонить пространство и просто перелить меня из одной плоскости в другую, и тогда мое измученное тело все равно повторило бы классическую, диагонально изломанную линию снятия со креста: голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами висит косо в руках учеников...

Когда наконец я снова поднял штору, уже приближался желтый вечер, но девушка продолжала неподвижно стоять на прежнем месте. Я ушел из комнаты, а утром вернулся, посмотрел в окно и снова увидел девушку. Мне это показалось чрезвычайно странным, даже зловещим, но, всмотревшись, я понял свою ошибку. Это была вовсе не девушка за кустом, а сам куст — цветущий розовый куст между двух молодых кипарисов, который я принял за девушку в цветном платье. Цветущий розовый куст как бы подсматривал за мной из глубины солнечного сада. А девушки совсем не было, или это была Людмила в шапочке-невидимке в саду Черномора. А вернее, девушка

была когда-то гораздо раньше, может быть, полстолетия назад, и тогда она действительно стояла на цыпочках, как балерина, на дорожке, посыпанной морским песком с рубчатыми ракушками, и она подсматривала за мной, а может быть, за кем-нибудь другим. Что же здесь действительность и что воображение? И в чем разница: был ли это розовый куст или семнадцатилетняя девушка? И вдруг я опять посмотрел в окно и на месте куста увидел девушку в нарядном платье. На этот раз ошибки не было, потому что девушка держала в руках лейку, из которой, изгибаясь, как конский хвост, бежали струи сверкающей воды. Она улыбнулась мне и ушла вместе со своей лейкой, оставив между двух молодых кипарисов пустое место. Но едва я на миг отвернулся, как на пустом месте уже снова стоял знакомый розовый куст, а девушки и след простыл.

Нечто подобное — весьма отдаленно подобное — произошло со мной в Вашингтоне в тот день, когда я вдруг заметил, что рядом со мной что-то порхнуло. Я обернулся, но ничего не заметил. Я стоял на двенадцатом этаже в коридоре гостиницы «Stalter Hilton», дожидаясь лифта; красная светящаяся стрелка, толстая и короткая, тупо показывала, что лифт наверху, но скоро вернется. Я был один. Из скрытого репродуктора тянулась выводимая на трубе приглушенная мелодия бразильской боссановы, безысходно щемящая музыкальная фраза, так нескончаемо растянувшаяся, как будто бы ее кто-то невидимый писал на незнакомом языке, не отрывая серого карандаша от бесконечно длинной стены, разделяющей земной шар по экватору на две равные части,— какое-то одно-единственное слово, растянувшееся на тысячи миль однообразного пространства. Бесшумно подошел и остановился лифт, бесшумно раздвинулись половинки толстой бронзовой двери, и я шагнул в роскошную комнату лифта, почувствовав, как под моими подошвами мягко спружинил пол, покрытый толстым ковром из синтетического меха. И в тот самый сокровенный миг, когда мое тело уже не находилось в коридоре, но еще не стояло в лифте, возле меня опять что-то мелькнуло — на уровне моего уха,— и у меня осталось такое впечатление, что пролетел голубь. Но половинки бронзовой двери бесшумно сошлись, и я мягко, почти неощутимо, вместе с комнатой лифта, наполненной леди и джентльменами, упал в пропасть и вышел на нижнем этаже в холле, затянутом цельным нейло-

новым ковром размером в несколько сот квадратных метров. Проходя мимо стойки портье, я увидел стол, покрытый плоской кучей писем, которая сама собой увеличивалась, потому что откуда-то сверху мягко падали и ложились один за другим длинные конверты. Тогда я еще не понял связи между этими письмами и голубиным порханьем, которое заметил в коридоре, дожидаясь лифта. Однако вечером, возвращаясь в свой конструктивно целесообразный номер, едва лишь я шагнул из лифта в глухо молчаливый коридор, где все еще продолжалась щемящая музыкальная фраза боссановы, как возле моего лица опять что-то порхнуло — белое, как голубь,— и пропало. Я остановился и с осторожностью сумасшедшего, подозревающего, что за ним кто-то тайно наблюдает, внимательно осмотрелся вокруг в глухой ночной тишине респектабельной гостиницы, где откуда-то просачивалась надтреснутая бразильская мелодия. Я осмотрел каждую пядь стены, служебный столик с неубранной посудой и вдруг заметил на уровне своей головы застекленное оконце и под ним — медную начищенную полосу со щелью, какая бывает в почтовых ящиках, и в тот же миг за стеклом сверху вниз пролетело письмо — длинный конверт: синяя наклейка «By air mail» и непогашенная марка с профилем Джорджа Вашингтона в белом парике с косичкой. Таков был способ отправлять почтовую корреспонденцию в больших американских отелях. Письмо бросают в щель на любом этаже, и оно летит вниз, мелькая в окошечках, пока мягко не ляжет на стол портье, откуда его уже заберет почта.

Мимо меня сверху вниз пролетели белые голуби писем, как бы сигнализируя, что настало время и мне, воспользовавшись силой земного притяжения, бросить вниз свой конверт.

«Ждите меня, никуда не выходя из дома, между пятым и двенадцатым этого месяца, так как я точно не знаю, когда попаду в ваш город. Быть может, это последний случай увидеться нам в этой жизни. Не пропустите его».

Я подписался своим полным именем, но ее назвал так, как привык называть с детства, уменьшительно.

Щемяще грустны были эти зимние дни в Вашингтоне, освещенном нежным солнцем, которое еще не стало ве-

сенним, хотя уже было и не вполне зимним. Такое солнце бывает в первую неделю после рождественских каникул. Праздники прошли, оставив после себя венки остролистника или омелы, украшенные разноцветными лентами, над красными полированными дверями дощатых особняков — серых с белыми окнами и тонкими столбиками галерей, неубранные сугробы загрязнившегося снега, придававшие вашингтонским улицам нечто захолустное. В готических окнах новеньких с иголочки церквей, освещенных, как театральные макеты, розово догорали прощальные свечи минувшего праздника. Христос родился, вырос, затем улетел на небо, скрестив вытянутые ноги с красными дырами от гвоздей. Остались догорающие огни. Остались пустые ясли, снопы овсяной соломы, рогатые головы жующих волов с раздутыми ноздрями, золотые короны царей и драгоценные ларчики магов, муляжи которых я встречал повсюду: посреди непомерных газонов университетов и медицинских центров, при входе в отели, на школьных площадках; они были электрифицированы, и от них тянулись толстые провода. Синяя вифлеемская звезда исчезла с морозного неба, и маленькая зимняя луна ярко-гелиотропового цвета стояла непомерно высоко в мраморном небе над правым берегом старой индейской реки Потомак, над оленьими рогами североамериканского заповедного леса, над однообразными крестами Арлингтонского кладбища, где тогда еще не было могилы президента Кеннеди, и над кирпичными корпусами фабрики возле старомодного каменного моста с могучими быками в стиле тяжелой английской архитектуры викторианского века. Под голыми деревьями иногда появлялись фигуры одиноко шагающих людей. Среди них я увидел индейца в мокасинах, с томагавком, украшенным бахромой, в руке, с иссиня-черными прямыми волосами, висящими вдоль гончарного лица, который бесшумно скользил по опавшим зеленым листьям. Затем я увидел майора милиции Джорджа Вашингтона, высокого, долговязого, до сумасшествия настойчивого, в своем красном мундире и треуголке едущего верхом в гости к знакомой вдове. И когда их призраки — индейца и Вашингтона — пересекали зловещую поляну Арлингтонского кладбища, президент Кеннеди спокойно спал в Белом доме.

Перед отелем стоял бетонный вигвам ночного бара и рядом с ним громадный столб индейского тотема с черно-красным, чудовищно размалеванным лицом.

Чувство одиночества, охватившее меня с того самого мига, как я разжал пальцы и длинный конверт с красивым круглым вензелем отеля канул в медную щель и, меняя центр тяжести, полетел вниз,— с каждой минутой усиливалось. Подобное чувство охватывало меня иногда и раньше, не часто, но почти всякий раз, когда я оказывался за пределами родины. Отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство тоски по родине свойственно моей душе. Теперь же к нему примешивалось чувство смерти — иначе никак не могу его назвать. Смерть напоминала о себе все время.

Ее дуновение коснулось моих волос, когда я увидел посреди длинного экрана лезвие раскрытого перочинного ножа, отливающего красно-синим блеском цветного фильма. В зале царило безмолвие ужаса, пронизанное сосудисто-волокнистой мелодией все той же боссановы, аритмично мерцающей, как умирающее сердце. Полосы света — чернильно-синего, розового, красного, наконец, зеркально-белого — резкие до боли в глазах — медленно, одна за другой, прошли по лезвию безмерно укрупненного ножа, готового в любой миг войти в живот и вспороть его снизу вверх, выпустив внутренности, а вокруг стояли белые и черные, курчавые, ирландские рыжие, прекрасные и отталкивающие, неподвижные, как статуи, отверженные, нищие духом и отталкивающе прекрасные в своей молодости — юноши Вест-Сайда.

На глазах у всех была зарезана, поругана, обесчещена и растоптана нежная любовь двух беззащитных возлюбленных — мальчика и девочки,— а вокруг уже не торжественно гремел серебряный и хрустальный джаз рокфеллеровского центра, а черный джаз ночного Гарлема, бара дядюшки Смула, смоляной и кирпичный джаз железных пожарных лестниц, подземных коридоров, брандмауэров, решеток и бетонных дворов, залитых нефтью, смешанной с кровью,— скользких, безвыходных ловушек, где каждую секунду можно было споткнуться о красный обрубок толстого пожарного крана с медной крышечкой, отражавшей колодец кирпичного двора и какой-то отдаленный пожар.

На глазах у всех умирала поруганная любовь, и неоткуда было ждать спасения, и маленькая вашингтонская девочка-модница с хвостом льняных волос на макушке с

нейлоновым мешочком воздушной кукурузы в дрожащей руке с перламутровыми ноготками, плакала, содрогаясь всем своим нежным, девственным телом, и слезы текли из ее синих глаз по прелестному, немного капризному личику прилежной школьницы, в то время как рыжий мальчик в блуджинсах, с двумя игрушечными пистолетами в белых лакированных кобурах на ковбойском поясе — наверное, ее младший брат — сердито говорил ей:

— Ну! Чего ты плачешь, дура? Ничего особенного не случилось. Просто они подрались на ножах. А зачем он связался с его сестрой? Перестань хныкать, ты мне мешаешь смотреть.

Но его голос непроизвольно срывался, рот кривился от непреодолимой муки, слезы сами собой бежали по веснушчатому лицу, и подбородок будущего боксера вздрагивал совсем по-детски, и в конце концов он положил свою голову с шевелюрой как у президента Кеннеди на плечо старшей сестренки, и они, не стесняясь своих слез, вместе оплакивали судьбу двух молодых возлюбленных Вест-Сайда. Это был дневной пятичасовой сеанс в кино на окраине Вашингтона, в зале сидели главным образом школьники — девочки с хвостиками на голове и мальчики — в блуджинсах и клетчатых куртках — у них еще продолжались каникулы,— они молчали, охваченные ужасом, смотрели на черно-цветной экран, блестящий во тьме, как клеенка, и слезы текли по их лицам, слегка подсвеченным фотографически красными фонариками запасных выходов.

И с тех пор я полюбил Америку.

Не страну новых цезарей в демократических пиджаках и широкополых стэтсоновских шляпах, которая представлялась мне современным вариантом великой Римской империи со всеми ее грубыми изваяниями и монументами, стадионами, ристалищами, мавзолеями, курульными эдилами, мраморными креслами законодателей, грандиозными обелисками, отражающимися в длинных зеркалах прямоугольных прудов среди холмов заповедного индейского леса и английских лужаек города Вашингтона, который вознес в бледное небо североамериканской зимы туманную, высокую папскую тиару антихудожественного капитолийского купола, как бы утверждая надо всем Западным полушарием горькую истину, провозглашенную

моим другом Анри Барбюсом, что всякие куполы, самые величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи.

Я полюбил Америку вашингтонских школьников, мальчиков и девочек, которые в разноцветной тьме дневного сеанса оплакивали разбитую и поруганную любовь белого Ромео и темной Джульетты и, может быть, оплакивали свою беззащитную юность.

Я понял трагедию великого государства, выбравшего путь Рима, но не путь Афин.

Возмездие за преступление предков, которые обратили в рабство целый народ, лишили его родины и оставили своим потомкам ужасное наследство. Освобожденные рабы все равно остались рабами, потому что Америка не стала их родиной.

Я понял, что до тех пор, пока в Америке живут рядом черные и белые, не сливаясь и не признавая друг друга и формально считаясь равноправными гражданами этой несметно богатой и жестокой страны, где традиция властвует над законом и где белый полицейский может безнаказанно застрелить черного мальчика и целый народ лишен прав свободного человека,— Соединенные Штаты будут самым несчастным государством в мире, как богач, больной раком. Ему нет спасения. Для него нет лекарства. В листовке куклуксклановцев, наклеенной на стене одного вашингтонского дома, я прочитал: «Мы считаем необходимым, чтобы негритянская и все другие цветные расы в Америке осознали, что они живут на земле белой расы по милости белых. Они не должны забывать, что белая раса — это правящая раса по праву наследия и что она не собирается уступить это право». Не касаясь уже всей моральной низости этих слов, в них заключается прямая ложь: черные живут на земле белой расы вовсе не по милости белых, а потому, что некогда белые насильно привезли их сюда в цепях и превратили в рабочий скот, в рабов, так что говорить о милости — это значит сознательно лгать. Затем: «Белая раса — это правящая раса по праву наследия» — тоже ложь. Белая раса живет в Америке по праву сильного и жестокого, на исконной земле цветных людей, индейцев, презрительно названных краснокожими, которых они почти полностью истребили, а остальных заперли навечно в особые концентрационные

лагеря, так называемые резервации. А то, что белые, правящая раса, не собираются уступить свое право,— чего же иного можно ожидать от грубых и предприимчивых завоевателей, неслыханно обогатившихся на чужой, захваченной ими земле, применяя рабский труд? Так что же теперь делать? Черных уже двадцать миллионов. А главное, является вопрос, от которого холодеют правители сегодняшней Америки: что будет, если начнется мировая война? Можно ли ручаться за крепость американского тыла с двадцатью миллионами униженных и оскорбленных негров? В этом-то я и почувствовал страшную трагедию черно-белого государства, выросшего в результате страшного преступления, за которым не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра — а в случае атомной войны немедленно — последует еще более страшное возмездие.

Однако стало подмораживать, розовый закат блестел на крышах одноэтажных домиков пригорода, похожих на киоски,— парикмахерских, кафетериев, аптек, хорошеньких заправочных станций,— и я шел вдоль провинциально широкой улицы вашингтонской окраины, дыша холодным воздухом, в котором были как бы смешаны тончайшие предвесенние запахи жизни и смерти, но, в общем, это была светлая, даже приветливая улица, где почти все было новое: новые прачечные, новые бетонные светильники, новые столбики с зелеными и красными сигналами переходов — неяркими, но очень заметными, временами судорожно мерцающими,— и все это чем-то напоминало выставку.

Но больше всего мне понравился здесь небольшой особняк в глубине палисадника без забора, с безупречным газоном и двумя вечнозелеными магнолиями с пластами легкого снега на мглистых, глянцевых листьях — прелестный желтовато-розовый, как рахат-лукум, особнячок с рождественским веночком омелы над входной дверью и двумя стеклянными фонарями в виде факелов, матово светящимися в предвечернем сумраке. Окна домика были задернуты белыми шторами, освещенными изнутри приветливым праздничным светом, так что мне сразу представилось, как хорошо и уютно в этом доме, где радушные хозяева ждут гостей, а может быть, гости уже пришли и теперь сидят за старинным столом красного дерева чиппендейл перед лиможским блюдом с плумпудингом, охваченным голубым пламенем ямайского рома.

Черные мысли рассеялись. Вы заметили, как легко рассеиваются черные мысли?

По карнизу вилась надпись — белое по голубому,— которую я не умел прочесть, но можно было не сомневаться, что она обозначала нечто вроде радушного приглашения войти. Этот домик как бы сошел с рождественской поздравительной картинки; он представлял собой яркий пример счастливого образа жизни среднеамериканской семьи, но в то же время в нем было нечто холодновато официальное, специфически вашингтонское, так что мне даже на минуту показалось, что, быть может, это какое-нибудь государственное учреждение, но я сейчас же отогнал от себя эту странную мысль и, улыбаясь, продолжал смотреть на гостеприимно освещенные непроницаемые окна.

— Хорошо бы войти в этот коттедж и посмотреть, что там делается.

— Вам он понравился?

— Очень.

— Это похоронное бюро панамериканской компании добрых услуг,— сказала переводчица, прочитав надпись.— Зайдем?

Не замедляя шага, я прошел мимо подъезда с двумя электрическими факелами и веночком остролистника, ясно представляя себе, как однажды маленькая пожилая женщина в Лос-Анжелесе переступила порог примерно такого же домика и увидела розово освещенный зал, где в образцовом порядке по номерам были выставлены на полу, как чемоданы, разные гробы мал мала меньше — прочные изделия американского фасона: широкие, с крышками — не высокими и островерхими, как у нас, а плоскими, удобными, не причиняющими беспокойства при погребальном обряде. Я неоднократно видел такие гробы в американских кинокомедиях, в театрах и потом однажды по телевизору, когда такой же гроб, покрытый звезднополосатым флагом, установленный на старинном артиллерийском лафете и прикрепленный к нему двумя солдатскими ремнями, остановился у ступеней собора, где ждал его католический епископ в своей зловеще раздвоенной митре.

Обратимо ли время! Грустная мелодия боссановы.

Год назад у женщины, которой я послал письмо, умер муж. Я его очень смутно помнил, он тогда назывался Костя — тонкий, предупредительный студент в мундире с иголочки и в твердом, высоком, темно-синем воротнике, из-под которого выглядывала тоненькая полоска крахмального воротничка,— хорошо помню также золотые дутые пуговицы с накладными орлами,— и, возможно, год назад она вошла в точно такое же бюро добрых услуг, для того чтобы выбрать гроб и заказать еще кое-что из необходимых вещей: траурные извещения, визитные карточки и коробку папетри с элегантными конвертами и бумагой в черной рамке. Может быть, там же она купила черную вуаль и белые погребальные цветы, а также заказала сильно увеличенную цветную фотографию — замечательную имитацию портрета масляными красками работы хорошего художника-реалиста, умеющего довольно точно передать сходство с оригиналом и вместе с тем сообщить его лицу приличную случаю значительность.

До сих пор не могу понять: почему она вышла замуж именно за него? И каким он стал впоследствии? Он всегда казался мне посредственностью. Во всяком случае, он был недостоин ее. А, собственно говоря, почему не достоин? Студент-медик из хорошей семьи, с состоянием, наследник дачи на Среднем Фонтане, в перспективе — практикующий врач, недурен собой, некоторые даже считали его красивым — словом, вполне порядочный молодой человек, завидная партия, и, вероятно, безумно ее любил. Тогда было принято говорить: «Он ее безумно любит». И на фронт должен был идти не простым рядовым, вольноопределяющимся или даже прапорщиком, а военным врачом. Гораздо меньше шансов, что убьют. А что представляла из себя она, если не считать ее необъяснимой прелести, сводящей мужчин с ума? Тогда тоже принято было говорить: «Она сводит всех мужчин с ума». Если отбросить словесные украшения, она была просто-напросто бедная невеста, дочь промотавшегося бессарабского помещика, бесприданница, и на лучшую партию — как тогда говорили — вряд ли могла рассчитывать. Так что все было естественно, но помню, как страшно удивило меня известие, что она вышла замуж, хотя в то время моя любовь к ней уже давно прошла. Но это удивление было ничто в сравнении с чувством, которое я испытал в тот поздний вечер в неосвещенном городе, когда я ворвался к ним в комнату и увидел супружескую полутор-

ную кровать, покрытую красным, стеганым, атласным, явно прида́нным одеялом и ее порозовевшие от волнения веки.

Они — он и она — молодожены, стояли передо мной радостно смущенные, так как это был самый разгар их медового месяца, а я был первый гость, пришедший к ним в их маленькую, почти бедную комнату, которую они наняли по объявлению, не желая жить ни у его, ни у ее родителей, сразу же заявив о своей независимости, тем более что уже шла революция и происходила переоценка ценностей. Они были счастливы в своем гнездышке,— с милым рай в шалаше! — и ее маленькие меховые туфельки застенчиво выглядывали из-под кровати.

Больше всего меня поразило выражение счастья на ее уже вполне женском лице.

Я стоял в дверях, ломая обеими руками свою защитного цвета офицерскую фуражку с дырочкой и овальным пятном на месте кокарды, которую я уже снял вместе с погонами и нашивками за ранения. Мы с ней давно не виделись, а в этой комнате с толстыми стенами я вообще был впервые. Она стала меня усаживать, а он — тоже в военной гимнастерке с университетским значком, без погон, но при этом в длинных студенческих брюках со штрипками — засуетился, видимо намереваясь разжечь керосинку со слюдяным закопченным окошечком, чтобы напоить меня морковным чаем с монпансье, что по тем временам считалось некоторой роскошью, он даже стал протирать полотенцем стаканы, а я не знал, куда деваться от жгучего стыда, и проклинал себя за то, что, как всегда, оказался тряпкой и согласился пойти к ней за деньгами. «Она тебе не откажет»,— говорили друзья, это верное дело, у нее, безусловно, есть деньги, у молодоженов всегда есть деньги, а больше негде достать, и, что самое главное, это совсем близко, так что мы еще успеем заскочить с черного хода и взять у этого грека несколько бутылок сухого эриванского, единственного вина, которое еще осталось в городе, потому что нет ничего хуже, когда люди недопьют. Она тебя любит, она тебе даст,— они говорили, что если я не пойду к ней, то буду не друг и товарищ, а самый последний предатель и мещанин и так далее. Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. А они твердили:

— Унизься, дурак, унизься! Ну что тебе стоит унизиться!

У меня уже шумело в голове, мне было море по колено, и я храбро пошел к ней, а они дожидались меня в подворотне,— они оба потом стали знаменитыми людьми, и их имена можно найти в энциклопедическом словаре.

Она, конечно, сразу поняла, что я пьян, но не испугалась, а стала еще приветливее, ласковые огоньки затеплились в ее глазах.

— Сколько лет, сколько зим,— сказала она и назвала меня по имени, как в детстве.— Вот так мы и живем. Садитесь и рассказывайте.

— Я к вам по делу,— через силу сказал я и тоже назвал ее уменьшительным именем.— Дайте мне взаймы рублей пятьдесят, я вам отдам не позже чем послезавтра, честное благородное слово.

Между нами всегда были такие возвышенные отношения — как тогда принято было говорить, «платоническая любовь»,— и мне очень нелегко было вытолкнуть из себя эти слова, я бы их ни за что не произнес, если бы уже не был пьян. И я чуть не сломал лакированный козырек своей фуражки. Она была смущена еще больше, чем я, но и глазом не моргнула.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста.

Она пошепталась с мужем, и Костя достал из-за иконы с двумя венчальными обожженными свечами и восковым флердоранжем странную ассигнацию в пятьдесят карбованцев, выпущенную гетманом Скоропадским,— деньги, которые тогда ходили у нас на юге. На бумажке были стилизованные, остро графические изображения украинца и украинки в свитках и сапогах работы знаменитого графика Егора Нарбута, странный фигоподобный герб,— и я как сейчас вижу грубую печать, толстую бумагу и плохие краски, желтую и голубую, этих денег, которые тогда уже почти ничего не стоили.

— Вы не беспокойтесь, я вам непременно на днях отдам, занесу. Когда вас можно будет застать дома? — говорил я, глядя на нее и удивляясь, как она похорошела, стала почти красавицей, и стараясь не замечать новенького атласного стеганого одеяла, от которого как бы распространялось по всей комнате алое зарево, в то время как на самом деле электричество не горело — не было тока — и комната освещалась самодельным светильником-коптилкой. Больше мы с ней уже не виделись, и последнее впечатление было: он, она, пятьдесят карбован-

цев, стеганое атласное одеяло, темный двор и друзья с поднятыми воротниками, которые ждали меня в темной подворотне, прижавшись к стене, а потом пустынная ночная улица, скользкие плитки лавы, по которым мы бежали, мокрая гранитная мостовая, винтовочный выстрел за углом и громыханье броневика, заставлявшего дрожать стекла в домах, начало переворота.

Конница Котовского с красными бантами в гривах лошадей лилась по чугунно-синим гранитным мостовым, высекая подковами искры.

Может показаться странным, что одновременно с этим на подоконнике стояли одна на другой несколько круглых никелированных коробок с двойными проволочными ручками. Но ведь неизвестно, что такое время. Может быть, его вообще нет. Во всяком случае, каждому известно, что «не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности». Это выдумал не я. Это открыл Френсис Бэкон, основатель английского материализма.

Доля странности заключалась в том, что в никелированной поверхности круглых коробок хотя и с мягкими искажениями и наплывами, но, в общем, довольно реалистично отражалась комната, наполненная голубыми девушками в марлевых масках, что отчасти напоминало «Принцессу Турандот» с ее увлекательным вальсом на губных гребешках. И в тот самый миг, когда я наконец разглядел плащаницу своего распростертого тела, очень яркий, но вместе с тем совсем не резкий свет операционной лампы, похожий на солнечный, ударил вдруг мне в глаза сверху, и я почувствовал позади себя присутствие пылающего шестикрылого серафима, перед лицом которого все расступилось.

Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он, и я увидел с высоты двадцать шестого этажа город Хьюстон — тревожное смешение старинных деревянных домиков, окруженных галерейками, и диких пустырей с белыми небоскребами, супермодерн, которые были беспорядочно расставлены то там, то здесь, как пластинчатые прямоугольные башни, транзисторы и аккордеоны; в пролетах между ними виднелись бесконечные плоскости техасских прерий и небо в длинных мутно-розовых и

серо-голубых полосах мексиканского заката, как бы напечатанного в литографии начала прошлого века на глянцевой обложке ковбойского романа для железнодорожного чтения: знаменитый ковбой Буффало-Билль, крутя над головой лассо, стоит на стременах взвившегося на дыбы мустанга.

Я смотрел в пространства Техаса, стараясь ориентироваться по заходящему солнцу и представить, в какой стороне находится Мексиканский залив, а где расположен главный город штата — Даллас.

Странная мысль, вернее ощущение, овладела мною, как только я поселился здесь, в одной из стеклянных ячеек «Sheraton Hotel», напоминавшего издали раму сотового меда, поставленную ребром среди нескольких других подобных же стеклянных рам, где в каждой ячейке жила человекоподобная пчела, может быть даже личинка. Это было ощущение единства моего собственного тела и тела гостиницы, где меня поселили. Одновременно я был и человеком и зданием. У нас была общая структура, были общие клетки, обмен веществ, биотоки, химические реакции, рефлексы высшей нервной деятельности, работа пищеварительного тракта, кровообращение и температура, которая в виде многочисленных лифтов то поднималась бесшумно до сороковых градусов, то опускалась ниже нуля и на некоторое время замирала в состоянии анабиоза среди громадного пространства, устланного желтым мохнатым синтетическим ковром; на нем стояли страшно тяжелые сафьяновые кресла и диваны ярко-красного цвета, где сидели обычные посетители гостиничных холлов: переводчики, руководители делегаций, агенты компаний, коммивояжеры, переодетые полицейские, детективы и журналисты, увешанные портативной электроаппаратурой, набором фото- и кинокамер и зеркальных старинных блицев. Тут же в прямоугольном мраморном бассейне, откуда торчала одна-единственная изящная тростинка, над мозаичным дном в голубой мелкой воде плавала деревянная утка-селезень с золотисто-зеленым ромбом бокового перышка — и неуловимое, кругообразное движение искусственной птицы поворачивалось у меня под ложечкой, как легкое поташнивание, как напоминание о скрытом сердечно-сосудистом заболевании.

Здесь же я сделал открытие, что человек обладает волшебной способностью на один миг превратиться в предмет, на который он смотрит.

А что, если вся человеческая жизнь есть не что иное, как цепь превращений?

В течение одной поездки из Хьюстона на ранчо я последовательно превращался в разные предметы. Сначала я на некоторое время превратился в автостраду, распростертую на равнине Техаса, твердой и плоской, как новороссийская степь, с сухими пыльными цветочками из числа тех, на которых всегда остаются следы колесного дегтя, и я — рассеченный осевыми линиями, яркобелыми, прерывистыми, стремительными,— уносился вперед и назад к горизонту, где иногда появлялись видения новейших крекинг-заводов и таинственные серебряные шары водонапорных установок, и надо мной в три или четыре яруса проносились железобетонные пересечения эстакад, по которым один над другим разбегались мои бетонированные двойники, унося на себе встречные и попутные машины, неудержимо увлекая мое тело в разные стороны Техаса со скоростью восемьдесят или сто двадцать «майлс» в час, что практически делало их как бы неподвижными. Затем ненадолго я был грустным зимним солнцем Техаса, а также одним из первых автомобилей второй половины XIX века — прелестным произведением еще не вполне зрелого технического гения, называвшимся тогда «самодвижущийся экипаж»,— с ярко начищенными медными фонарями и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей, которая с усилием выталкивала из его завязанного узлом тельца резкие гусиные крики, заставлявшие лошадей шарахаться в сторону и становиться на дыбы.

Именно в таком красном автомобильчике Эмиль Золя ехал на процесс Дрейфуса, и подобным же автоматическим экипажем управлял, вцепившись в руль, страшный, мохнатый как черт шофер со зверским мефистофельским лицом, в громадных очках, так гениально грязно нарисованный на литографском камне Тулуз-Лотреком.

Свято сохраненный для потомства, чистенький, вымытый, с сафьяновыми креслицами, возвышающимися над комически маленьким радиатором, я, силой своего воображения превращенный в автомобиль, стоял на невысоком круглом пьедестале, окруженный папоротниками и мхами, посредине универсального магазина суперконст-

руктивного стиля второй половины XX века, простершегося среди пустой, еще не заселенной прерии, на пересечении новеньких штатных и федеральных автострад с их многочисленными ответвлениями, дорожными знаками и железобетонными светильниками, божественно изогнутыми, как стебли искусственных растений будущего, когда человечество научится создавать все тела органического мира, придавая им произвольную форму. Но зачем, спрашивается, понадобилось строить этот универсальный магазин, чудо строительной и архитектурной техники, верх простоты и удобства — без всяких модернистских украшений и финтифлюшек,— непомерно громадный и плоский, со светящимися потолками, газонами и цветниками, врезанными в черный и белый мрамор полов-площадей, удобно и красиво вмещающий в своих боксах миллионы предметов первой, второй, третьей, двенадцатой и сотой необходимости? Вокруг простерлась до самого безоблачного горизонта пустыня, и немногочисленные покупатели, приехавшие сюда из Хьюстона скорее из любопытства, чем по необходимости, растворились среди плоско организованных пространств и свечения молочных потолков. Однако было бы неправильно считать, что вокруг была пустыня. Пустыня, да не совсем. Она была легко и почти незаметно разделена на строительные участки, куда под землей уже стройно тянулись водопровод, газ, телефон, электрический кабель, канализация, теплоцентраль — вся та сложная система нулевого цикла, которая превращала землю почти в живую плоть.

Некоторое время я был плотью сухой техасской земли, отличаясь от нее только еще более сложной системой обратной связи.

На таком земельном участке не составляло никакой трудности возвести дом. Архитектура уже не имела значения. Можно было с удобством жить в простом деревянном ящике, где сразу же появлялись горячая и холодная вода в ванне, огонь в очаге, ватерклозет, душ, телевизор на десять программ с ретрансляцией из Нью-Йорка, Сан-Диего и Мельбурна, телефон с отличной слышимостью, лампы дневного и скрытого света, лед в холодильнике, так что можно было немедленно поселиться здесь с любимой женщиной и начать размножаться, не откладывая дела в долгий ящик, если, конечно, у вас было достаточно

долларов, чтобы сделать первые взносы за участок с нулевым циклом и за все прочее. К тому же здесь, в штате Техас, проблема долларов решалась очень просто. Для этого даже не нужно было заходить в банк. Деньги можно было получать не внутри банка, а снаружи, прямо на улице: ваша машина проезжает мимо ряда косо поставленных мраморных кабинок. Вы останавливаетесь возле одной из них и прямо из машины протягиваете в окошечко с автоматической бронзовой решеткой ваш чек, раздается звонок, решетка щелкает, хорошенькая кассирша с пистолетом под прилавком протягивает вам пачку зеленых бумажек, вспыхивает лампочка, скрытый в мраморной стене фотоаппарат делает с вас моментальный снимок, бронзовая решетка опускается, вы едете дальше по своим делам. Остается неясным, откуда раздобыть чек? Говорят, что об этом можно найти много интересного в «Капитале» Маркса. Но лучше не будем упоминать о Марксе в Техасе, самом — как утверждают — богатом нефтяном штате Америки, где я слышал эпическое повествование об одной бедной пожилой даме, которая в один прекрасный день обнаружила на своем маленьком земельном участке пласт высокооктановой нефти.

Легенда о бедной вдове.

«...И тогда,— гласит легенда,— бедная вдова обратилась в банк, где ей немедленно открыли кредит в один миллион долларов, так что она смогла купить *все, что ей было нужно*».

Не знаю, что ей было нужно, но думаю, что ей удалось легко и быстро удовлетворить все свои текущие потребности, а остальной капитал поместить на выгодных условиях в какую-нибудь слаборазвитую или колониальную страну с дешевой рабочей силой, после чего она была принята в самом лучшем обществе штата. Меня долго преследовал образ этой пожилой хьюстонской дамы, и, по-моему, я даже с ней где-то встречался: в упомянутом универсальном магазине среди прерий, где она покупала все, что ей еще все-таки не хватало, или на рауте при свечах (дамы в вечерних туалетах, мужчины в черных галстуках), где она стояла полтора часа подряд, разговаривая со мной на ломаном французском языке с

сильным мексиканским акцентом на тему о сравнительном психоанализе героев Достоевского и Толстого, а я (в хорошо начищенных мокасинах и черном шелковом галстуке) стоял, держа в руке высокий, обернутый бумажной салфеткой стакан с джин-тоник, в котором ландышево позванивали ломанные ледяные трубочки, и тоже шпарил по-французски, мучительно выковыривая из своей памяти, разрушенной склерозом, остатки французских идиоматических выражений, похожих на окаменевшие позвонки доисторических животных.

У нее на носу сидел слуховой аппарат, в виде богатых очков, усыпанных мелкими алмазами, а золотой шнур соединялся с полупроводниковой транзисторной батарейкой, которая гнездилась где-то на груди под драгоценным капом из дикой смугло-песчаной норки, отливавшей бесценным блеском при свете витых восковых свечей, расставленных там и тут по всему старомодному салону, где происходил раут.

Ее рысистые ноги мускулисто переминались, шелковые длинноносые туфли на очень высоких каблуках и с брильянтовыми пряжками слегка скользили взад и вперед по ковру, словно собираясь сделать несколько па мэдисона, а глаза, пронзительные, как у галки, с непреклонной доброжелательностью глухой классной дамы смотрели прямо в мои глаза, и она, не умолкая ни на минуту, разговаривала по-французски, причем из ее открытого рта, оборудованного лучшими, совершенно новыми искусственными зубами и розовыми пластмассовыми деснами самой дорогой и самой знаменитой компании стоматологических протезов, все время вылетали сухие французские фразы, а когда их не хватало, на помощь приходили немецкие и даже итальянские слова-ублюдки, немедленно вызывавшие во мне ответный рефлекс красноречия.

В общем, все это напоминало историю небольшой Вавилонской башни, чему отчасти способствовало впечатление от ее шляпки, сооруженной из розовых ангельских перьев, и вуалетки, прикрывавшей страстное лицо Савонаролы.

Потом она без передышки перешла к проблемам современной музыки и сделала интересное замечание:

— ...Ваш знаменитый композитор (не в состоянии выговорить его фамилию), о котором я когда-то довольно много читала в нью-йоркских газетах, совершил бле-

стящий эксперимент, превратив популярную мелодию «Пойду к Максиму я» из «Веселой вдовы» Легара в лейтмотив своей симфонии, а потом через несколько лет гениально вывернул наизнанку «Аве Мария» Шуберта, создав оригинальный романс для одного популярного советского кинофильма...

Заметив, что я теряю сознание, старуха сделала небольшую паузу и бросила мне якорь спасения в виде вопроса: что я думаю об абстракционистах? Она пришла в неописуемый восторг, услышав в ответ, что абстракционизм не имеет ничего общего с искусством, в частности с живописью, а скорее всего бессознательная попытка создать третью сигнальную систему связи, и затем обрадовалась, как дитя, и даже захлопала в ладоши, узнав, что я являюсь основателем новейшей литературной школы *мовистов*, от французского слова mauvais — плохой,— суть которой заключается в том, что так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно, научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена.

— Вообразите, я об этом до сих пор ничего не слышала,— в отчаянии воскликнула она,— наш Техас в этом отношении такая жуткая провинция! Мы обо всем узнаем последними! Но вы действительно умеете писать хуже всех?

— Почти. Хуже меня пишет только один человек в мире, но это, как вы сами понимаете, уже профессиональная тайна.

— Вы открыли мне глаза. Мерси. Прозит,— сказала она, поднимая стакан со льдом, после чего, исполняя общественную обязанность моей руководительницы, села за руль своего спортивного кара и с быстротой смерти домчала меня до подъезда «Sheraton Lincoln Hotel», где меня дожидалась знакомая деревянная утка, неумолимо плавающая в плоском бассейне. Затем путем нажатия разных кнопок я очутился в своем конструктивном номере лицом к лицу с ночным техасским небом, местами подкрашенным неоновым и аргоновым заревом, которое

лежало длинными горизонтальными полосками в щелях между пластмассовых лент жалюзи на единственном окне, занимающем всю стену моего номера сверху донизу.

Оставшись один, я еще некоторый промежуток жизни продолжал быть хьюстонской дамой и все никак не мог отделаться от оригинальных идей относительно мовизма, пока не перевоплотился в свой гостиничный номер со всей его тоской ожидания, со всеми его механизмами, системами прямой и обратной сигнальной связи, со стопками махровых салфеток, махровых полотенец, махровых купальных простыней, модного, почти черного цвета — в то же время стерильно чистых,— в изобилии разложенных в ванной комнате с раздвигающейся мутно-зеленой стеклянной перегородкой, которая стыдливо отделяла ванну от душевого бокса, где, нажав несколько кнопок, можно было запрограммировать себе душ любой температуры с точностью до полутора градусов в ту или другую сторону, разумеется, по Фаренгейту!

По Фаренгейту, господа, по Фаренгейту!

В изголовье моей механической койки помещался пульт дистанционного управления, так что я мог, не вставая с ложа, закодировать жизненный процесс своего отельного номера. Простым нажатием кнопки я мог заказать любую комнатную температуру и влажность, мог узнать прогноз погоды, давление атмосферы, биржевой курс, таблицу спортивных соревнований, рысистых бегов, последние известия, наконец, я мог приказать разбудить себя в определенное время, хотя времени как такового, в общем, не существует. Я был одновременно и человеком, и его жилищем — так много общего было между нами, начиная с заданной температуры наших тел и кончая заранее запрограммированным пробуждением. Сначала пробуждалась комната, потом человек, если у него не было бессонницы.

Я нажимал с вечера кнопку, устанавливая минуту пробуждения, и это пробуждение наступало довольно точно, но не сразу, а как бы желая постепенно приучить меня к состоянию бодрствования и не слишком резко прервать мой сон, полный страстного ожидания встречи с ней и утомительных сновидений, которые потом невоз-

можно было восстановить в памяти, потому что никто до сих пор не знает, каков физический механизм памяти.

Первой начала пробуждаться комната, постепенно восстанавливая внешние, чисто функциональные связи системы и среды, весьма важные для процессов управления. Сначала сама собой в маленьком холле зажигалась неяркая лампочка. Потом в дистанционном аппарате что-то тихо щелкало, возникал ворчливый шум как бы с трудом начавшегося кровообращения. Я открывал глаза и вскакивал: кто зажег свет, если дверь номера еще с вечера была собственноручно мною намертво заперта патентованным замком, о чем свидетельствовала крошечная изумрудная лампочка — таинственный глазок, вделанный в ручку двери со стороны коридора? Кто посмел? И тут же вспыхивала вторая лампочка, более сильная, в ванной комнате. Затем зажигался торшер в моем изголовье, яркий, сияющий, золотой, как шестикрылый серафим с марлевой маской на лице. И вдруг весь апартамент озарился заревом плафона. Приборы дистанционного аппарата показывали все, что я у них требовал накануне. Шум в аппарате зловеще нарастал. Наконец раздался пронзительный электрический звонок, который я никак не мог остановить, хотя и нажимал подряд все кнопки. Непрерывный, пронзительный звон сводил меня с ума, и тут же в кобальтово-синюю ванну стала низвергаться вода заданной температуры, наполняя номер бешеным гулом горячего водопада. В отчаянии я стучал кулаками по панельному устройству, но машина не унималась, с неумолимым упорством продолжая выполнять заданную ей программу.

Тогда я вылил туда кувшин кипятка, и «оно» успокоилось.

Все это было довольно-таки странно, но самое страшное таилось в телевизоре — в этом приборе, быть может наиболее похожем на человеческий мозг, во всяком случае — на его способность превращать сигналы, идущие извне, в живые отпечатки, светящиеся, движущиеся изображения окружающего мира. Большой плоский телевизор стоял в противоположном конце номера, по диаго-

нали от моего ложа, но я мог в любой момент включить его, не вставая с постели, стоило мне только нашарить нужную кнопку, и тогда начиналось нечто похожее на игру в пятнашки: все десять телевизионных программ одна за другой быстро пробегали по сверхчувствительному, приятно выпуклому экрану молочной голубизны, вытесняя друг друга и не давая возможности сосредоточиться ни на одной, а я должен был мгновенным нажатием кнопки поймать и остановить ту программу, которую хотел бы смотреть. Но это оказалось мучительно трудно. Едва я собирался прихлопнуть усмирение необъезженных лошадей — чертовски злых, бешеных животных, которые, упираясь передними ногами в землю и выбросив задние почти вертикально вверх, сбрасывали с себя неудачливого седока в ковбойской шляпе, и он катился кубарем в пыли прерии, а потом навсегда замирал на спине, раскинув руки среди каких-то степных, почти украинских цветочков, — как вдруг экран начинало лихорадить, по его светящимся строчкам бежали черные полосы смерти и врывалась новая программа: два космонавта с тонкими рогами антенн под синтетическими шлемами сидят рядом в межпланетном корабле, управляя сложными и запутанными приборами, и время от времени смотрят в черный иллюминатор, где медленно проплывает громадная ярко-белая луна, а в это время сзади вдруг отодвигается потайная дверь и входит негодяй, держа в каждой руке по бесшумному автоматическому атомному пистолету... Еще миг — и вспыхнут выстрелы, но тут, прерывая на самом интересном месте тягостное сновидение, очень крупным планом выкатывается, вернее скользит, как по льду, разворачиваясь из своей хрустящей обертки, большой кусок туалетного мыла с глубокой, выразительно вдавленной печатью фирмы, и бархатный бас незримого, идеально чистоплотного мужчины — самца-друга и любовника — вкрадчиво рекомендует умываться именно этим душистым, элегантным, недорогим и полезным для кожи мылом. Я нажимал кнопки, но телевизор уже окончательно вышел из-под моего контроля. Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни, возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками.

И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой ваньки-встаньки и глупо лицемерной улыбкой вокруг злого, щербатого рта; он показывал свой коронный номер: искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого вверх дном горшка на лысую голову, поддерживая ее одними только ушами; едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собирался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены...

Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу. Но самое тягостное было то, что я уже никак не мог не только приказывать ему, но даже хотя бы просто прекратить его механическую работу, мелькание, разорванные звуки, мгновенные обрывки какой-то музыки или человеческой речи, заставить его замолчать, померкнуть, сделаться мертвой вещью. Кажется, мы поменялись с ним функциями. Не я управлял им, а он мною, пользуясь все тем же самым дистанционным устройством. Он насильственно останавливал мои мысли, гнал их вперед и назад, и в моем мозгу, измученном ожиданием, мелькали отрывки различных сюжетов, навязанных мне чужой волей.

Из личности свободной я стал личностью управляемой. О, как тягостно быть управляемым, в особенности если тобой управляет механизм! Я сделался придатком этой проклятой полупроводниковой машины.

Я был не волен даже в своих сновидениях. Чужая воля, сила извне, гоняла их вперед и назад по своему усмотрению. Именно так: «и назад», хотя известно, что время необратимо, то есть всякий материальный процесс развивается в одном направлении — от прошлого к будущему. Однако здесь, в Хьюстоне, я убедился, что в момент крайнего душевного напряжения или длительной потери сознания из этого правила бывают исключения, и тогда время начинает бежать в обратном направлении — из будущего в прошлое, принося с собой обломки событий, которые еще должны произойти. Я не знаю, как объяснить это явление, но здесь оно произошло со мной, когда я наконец страшным усилием воли вырвался из плена управляющего мною электрического прибора и ос-

тановил на экране телевизора несколько сюжетов, принесенных из будущего. Потом, года через полтора, в другое время и в другом месте, я увидел эти же самые кадры, появившиеся вполне законно, по дороге из прошлого в будущее.

Но теперь, в Хьюстоне, они были выходцами из будущего.

Я увидел убийство президента за год до того, как оно совершилось.

Улица в траурном Далласе, носившая название Хьюстон-стрит, прыгала во все стороны, потому что кинооператор ехал в машине, снимая президента. Потом запрыгала другая улица. У кинооператора дрожала рука. Президент сполз с сиденья, и его голова нырнула вниз, в темноту, поползла по коленям Жаклин. Кто-то вскочил. Кто-то бежал. Толпа устремилась в сторону. Все это произошло на расстоянии каких-нибудь двухсот миль от Хьюстона, где я впервые в жизни стал свидетелем обратного движения времени. Люди в широкополых техасских шляпах с загнутыми вверх полями осаждали двери госпиталя, куда унесли президента, но вот толпа замерла, разделилась, и между двумя рядами неторопливо проследовал, прижимая к груди молитвенник, корректный священник в хорошо сшитом гражданском костюме, в глубоко черном шелковом галстуке, в черной широкополой шляпе, одновременно и техасской и ватиканской. Его лицо было бесстрастно, а глаза устремлены вперед и несколько выше, чем когда смотрят вперед обыкновенные люди. Он был уже необыкновенный человек. Он был священником, внезапно сделавшимся известным всему миру. Громаднейшее паблисити!

И сейчас же по какому-то безрадостно-серому коридору полицейские провели неврастеника в наручниках, но не успел он выйти за рамку кадра, как из стены вышел толстый человек, которого сначала никто не заметил, и проворно сунул в печень неврастенику пистолет, и неврастеник повалился на руки полицейских и на глазах у всех превратился в тень, и все побежали и окружили толстяка с пистолетом, желая, в свою очередь, тоже превратить его в серую тень, но в это время лента кончилась, а когда экран снова вспыхнул, я увидел Жаклин в бежевом пальто с черным меховым воротником, которая бежала, держась за металлические ручки санитарного автомобиля, безуспешно пытаясь открыть задние дверцы, за

которыми покачивалось окоченевшее тело президента, и ее лицо — показанное самым крупным планом — прекрасное, неподвижное, с широко расставленными темными глазами и коротким, немного вздернутым носом,— прыгая, держалось некоторое время, занимая весь экран, а потом Жаклин быстро, как школьница, подобрала полы пальто и прыгнула на сиденье рядом с шофером, и на ней была очень короткая — по моде того сезона — юбка, открывшая зрелые ноги молодой, богатой, счастливой американки, еще не вполне осознавшей, что вот она уже вдова...

А потом весь экран заполнило крупным планом лицо моего тягостного друга с костяным рылом.

Дятел, дятел, тук-тук-тук.

Выяснилось, что он привык выступать со своим художественным стуком в третьем отделении.

Книга превращений. Концерт. Репортаж.

Вдоволь насмотревшись в темный иллюминатор самолета компании «Дельта» на ночные города, разбросанные в просторах континентальной Америки, как связки елочных украшений, я стоял в номере лос-анжелесского отеля возле стандартного торшера, прижав к уху телефонную трубку, и слышал ее голос. Самое поразительное, что это был не чей-нибудь другой, а именно ее голос, и он произнес с волнением мое уменьшительное имя и сказал, что она ждет меня вот уже целую неделю, никуда не отлучаясь из дома.

— Вы рады? — спросил я.

— Очень,— ответила она с тем особенным, тайным значением, с каким она всегда произносила это слово в прежней жизни. Это было «ее» слово. Она носила его на себе, как брошку с полудрагоценным камнем. Оно — это слово — выделяло ее изо всех ее подруг. Оно сводило с ума ее поклонников: произносить слово «очень» именно с такой интонацией, в которой можно было найти любой самый сладостный смысл, было ее изобретением.

— Вы любите Брамса?

— Очень,— произносила она негромко, значительно,

заставляя предполагать всю глубину, страстность и богатство ее натуры.

— Вы любите осень?

— Очень.— Она слегка опускала на карие глаза свои женственно выпуклые веки.

— Вы любите весну?

Веки радостно поднимались:

— Очень! — И взгляд ее проникал в глубину души.

Однажды я, преодолевая робость, за которую сам себя презирал, в отчаянии спросил, стараясь улыбнуться замерзшими губами:

— Вы меня любите?

— Очень,— ответила она серьезно глубоким, приглушенным голосом и посмотрела мне прямо в глаза своими совсем некрасивыми глазами, которые казались мне прекрасными.

Боже мой, как я мучился!

Студент Саша Миклашевский, богач и красавец, спросил ее:

— Вы любите кататься на лодке при луне? У меня есть на Ланжероне ялик.

Он был высок ростом и строен.

Она подняла к нему головку, отягощенную короной каштановых волос с челкой, и, глядя на его маленький румяный рот, который он в это время незаметно для себя облизывал, сказала:

— Очень.

А потом все играли в поцелуи, и, когда настала их очередь, они удалились в соседнюю комнату, побыли там некоторое время и вернулись с таинственными, скромными улыбками, и я тогда чуть не сошел с ума от ревности: мальчик-гимназист, у которого на глазах у всех отнимали его девочку.

Но все же это было ничто в сравнении с тем отчаянием, даже ужасом, когда много лет спустя, после долгого отсутствия, после войны, Сморгони, удушливых газов, ранений, Февральской революции, многих романов и связей с разными женщинами, считая, что я уже навсегда избавился от своей юношеской любви, казавшейся мне совсем несерьезной и даже комичной, я пришел к ней и

застал в гостиной молодого человека — мальчишку, курчавого ученика музыкального училища. Он, не сводя с нее огненных, нежных, молящих глаз, аккомпанировал себе на старом рояле, ударяя по желтым клавишам своими железными пальцами виртуоза с такой страстью, что в пыльной мещанской гостиной вся плюшевая обстановка ходила ходуном и не было слышно грохота ломовиков, мчавшихся порожняком под балконами по Херсонскому спуску на Молдаванку, пел романс «Безумно жаждать твоих лобзаний», а она стояла — маленькая, с чувственно полуоткрытым ртом, полуопущенными веками — и смотрела на его скачущие, худые, почти мальчишеские руки с кольцом, сплетенным явно из ее волос, на одном из пальцев... Его звали Рафаил, Рафа, фамилию его я уже забыл.

— Вам нравится? — спросила она меня.

— А вам?

— Очень.

Тогда я мог бы убить себя, если бы, по счастью, не оставил свой офицерский наган дома на вешалке.

На рассвете мы возвращались с ним, усталые, измученные, по пустынному и неряшливому после дневных митингов городу, и он торопливо шагал рядом со мной, слегка подскакивая, по шуршащим осыпавшимся сухим цветам белой акации, ласковый, доброжелательный, нежно поглядывая на мой Георгиевский крест, мерцающий в предутренних сумерках, зеленоватых, как морская вода.

Через сорок лет, прижав к уху телефонную трубку, в Лос-Анжелесе, машинально положив свободную руку на небольшое, изящное издание Библии на английском языке — убористый шрифт, тончайшая бумага,— непременную принадлежность каждой американской гостиницы, я как будто бы не просто разговаривал по телефону со знакомой дамой, которая объясняла, как отыскать ее дом, а давал какую-то странную клятву. В то же время я видел за окном внутренний сквер с квадратными газонами, каннами и магнолиями, угол светло-серого бетонно-стеклянного многоэтажного корпуса, вдалеке две светло-серые бетонные эстакады, одна над другой, наискосок,— знаменитое круглое здание,— и редкий поток неподвижных автомобилей как наглядное доказательство того, что неподвижность есть всего лишь форма движения. И нако-

нец, я видел перемежающиеся ряды высоких железобетонных светильников и еще более высоких вашингтонских пальм с непропорционально маленькими головками-метелочками, порыжевших и поломанных сухим зимним ветром из Мексики, острым, как наждак, холодным, беспощадным, несущим вдоль калифорнийских пляжей длинные, плоские тихоокеанские волны, такие же дикие и враждебные всему живому, как и те злые чайки, которые на раскинутых крыльях носятся над ними, оглашая окрестности убийственно механическими кошачьими криками.

...И однообразно голубое (может быть, даже синее) небо, отполированное все тем же мексиканским ветром, проносящимся откуда-то из Сан-Диего над скучными промышленными апельсиновыми садами, которые были увешаны смугло-желтыми стандартными — один в один,— как бы искусственными плодами, подогревающимися снизу керосиновыми печками, возле каждого дерева,— ветром, проносящимся над вечнозелеными кустами растения пуансета, осыпанного ярко-красными цветами, хорошо заметными издалека, как сигнальные огни семафоров, над игрушечной страной Диснея. Эта страна казалась воплощением моего детского представления о мире с его резиновыми слонами, обдающими наш колесный пароходик струями воды, как из брандспойта, с путешествием на подводной лодке, где в иллюминаторах сквозь бисерные потоки воздуха передо мной передвигались безмолвные картины зеленого подводного царства. И среди колышущихся водорослей и мутных обломков кораблекрушений таились все сокровища моей фантазии: громадная раковина, рубчатые створки которой — как бы дыша! — медленно приоткрывались, показывая неземную радужную белизну жемчужины величиной с кокосовый орех; возле обломка грот-мачты, обросшей тропическими моллюсками, позеленевший бронзовый сундук, из которого на илистое дно струились золотые монеты — старинные полновесные дублоны! — и морское чудовище смотрело на меня выпученными глазами, между тем как мексиканский ветер все проносился и проносился — над виллой Стравинского, одно имя которого само по себе уже было как бы зимним ветром из глубины Мексики со всеми его смычковыми, духовыми, ударными, щипковыми инструментами, связанными между собой гениальным контрапунктом; над собачьим кладбищем на вершине го-

лого холма; над кафетериями и конторами Голливуда; над «косыми скулами» Тихого океана, за угрюмо пылающим горизонтом которого на склоне другого полушария мне все время чудились очертания моей страны; над вечерней улицей, где я наконец разыскал ее темный дом.

Еще издали я увидел ее неподвижную фигуру, хотя в сумерках она почти сливалась с обнаженным черно-железным кустарником, росшим перед небольшим одноэтажным домом. Можно было подумать, что она ждет меня здесь с незапамятных времен, вечно, и уже превратилась в небольшое серое изваяние. Эта мысль не показалась мне странной, потому что формальное измерение времени, искусственно оторванного от пространства, общепринятое у людей — годы, сутки, часы, минуты, столетия,— дает лишь условное, искаженное представление о подлинном времени. С трудом переводя дыхание, я довольно быстро взошел с проезжей части улицы по каменным плитам, заменявшим лестницу, на верх поросшего травой откоса, что было весьма обычно для темноватой провинциальной американской улицы, и остановился со шляпой в руках, не в силах поверить, что передо мной действительно стоит она, и все еще продолжая думать о песочных часах, о том, что гораздо более точное представление о времени дает не песок, сыплющийся неощутимой струйкой из одной колбочки в другую, а простой камень, «с течением времени» превращающийся в песок, или же песок, превращающийся постепенно в камень и снова «с течением времени» делающийся песком, потому что здесь я не только ощущаю, но вижу разрушительное или созидающее действие времени, не отделимого от материи. Точнее всего я могу узнать время не по часам, а, например, рассматривая свою руку, усыпанную уже довольно крупными коричневыми пятнышками старости — так называемой гречкой, и я вижу неотвратимое разрушение своего тела, и когда я протягивал ей свою руку, то подумал: «Без четверти вечность». Вероятно, она прочитала мои мысли, потому что сказала: «Сорок лет» — и ввела меня в свой дом. И вот мы опять, как тогда, в начале жизни, стояли друг против друга — вот я и вот она — одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвещенного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя — искусственное, неживое, слишком белое, такое же самое,

как почти во всех местных холлах и ресторанах,— бесцветно слепящее и обжигающее лицо пламя богатой калифорнийской зимы,— а на низком прямоугольном длинном столе для газет и журналов, тревожно озаряемый льющимся мертвым светом, стоял в серебряной раме на подставке портрет красивого господина с добрым незапоминающимся лицом — копия с фотографии — масляными красками. Я, конечно, не узнал бы «Костю» в этом респектабельном джентльмене, изображенном почти во весь рост, по колени. Если бы из-под его жилета выглядывали концы муаровой орденской ленты, то его легко можно было бы принять за президента какой-нибудь не слишком большой европейской республики вроде Португалии; все аксессуары, окружавшие его, были именно такого сорта: массивный чернильный прибор, которого он касался кистью красивой руки с тонким обручальным кольцом, и полки красного дерева с солидно переплетенными книгами позади немного седой благородной головы порядочного человека.

Она хотела что-то сказать, вернее всего подтвердить, что это именно он, но подумала и промолчала, так что он как бы остался лишь свидетелем, но не участником нашего свиданья, продолжавшегося почти всю ночь и потом перед моим отъездом еще несколько часов подряд до тех пор, пока мы не выпили весь запас чая, который был в доме; желтые этикетки «липтон» в громадном количестве висели из-под крышки английского чайника, где мокли и никак не могли размокнуть остывшие и разбухшие мешочки из папиросной бумаги с заваркой мелкого черного цейлонского чая. Эти мешочки всегда удивляли меня поразительным свойством своей шелковой бумаги промокать, но никогда не разваливаться даже в самом крутом кипятке. Мы все время пили чай, и наконец разбухшие мешочки «липтона» вытеснили всю воду из чайника, и уже больше нечем было утолять жажду, а все это никому не нужное, выдуманное свидание представлялось мне тягостным погружением в самые нижние слои бесконечно глубокого моря, разделявшего нас тяжелой водой молчания, сквозь которое с трудом взаимопроникали наши слова, иногда доходя до сознания, подобно какой-то слуховой галлюцинации, а иногда растворяясь без следа где-то рядом с сознанием, как неприснившиеся сны, не оставляющие в памяти никаких следов.

У нас плохо работала обратная связь, все время прерываемая какими-то помехами извне черной и белой рябью.

В сущности, я пришел сюда лишь затем, чтобы узнать, любила ли она меня когда-нибудь. Всю жизнь меня мучил вопрос: «Что *это* было?» Но всю жизнь — она и я — мы находились в необъяснимом оцепенении, близком к небытию. Как человек, погруженный в наркотический сон и при этом каким-то образом все-таки сознающий, что он спит, мучительно хочет проснуться, но никакими, самыми отчаянными душевными усилиями не может вырваться из крепкой оболочки сна, так и я теперь никак не мог разорвать туго спеленавшего меня молчания и уже готов был задохнуться и навсегда остаться лежать на дне под страшной тяжестью давивших на меня километров неподвижной воды, как вдруг последним усилием воли заставил себя увидеть большое окно, за которым очень красиво, но как-то отвлеченно сияло солнечное русское июньское утро со всеми его подробностями: верхушками больничного сада, ангельским небом, по которому где-то в районе Кунцева струился нежный, шелестящий свист реактивных двигателей шедшего на посадку самолета, и автострадой, по которой я сотни раз в жизни проезжал туда и назад, всякий раз любуясь зрелищем рождения нового мира и многобашенным пирамидальным зданием, напоминавшим по ночам елку с электрическими лампочками. Среди полей, лугов и лесов угадывались химические заводы, космодромы и клетчатые рогатки высоковольтных передач, шагающих во все стороны единственной в мире, неповторимой, трижды благословенной страны моей души, которая дала мне столько восторгов, столько взлетов, падений, разочарований, столько кипучей радости, высоких мыслей, великих и малых дел, любви и ненависти, иногда отчаяния, поэзии, музыки, грубого опьянения и божественно утонченных цветных сновидений, которые так сладко и нежно снились мне на рассвете при робком щелканье первых соловьев,— словом, столько всего того, что создало меня — по своему образу и подобию — именно тем, что я есть, или, вернее, тем, что я был, потому что я уже не мог вырваться из пелены сна, но вдруг в последнем порыве, от которого содрогнулось все мое существо, я все-таки сумел заставить себя произнести слова — не те, самые главные, единственные,— а другие, слова, поразившие меня своей бедностью:

— Скажите, почему вы тогда не вышли за меня замуж?

— Молодая была, глупая,— тотчас с какой-то бездумной горестной легкостью ответила она, как будто ожидала этого вопроса, и продолжала, слегка склонив голову, немного снизу глядеть на меня, не вытирая глаз и покорно улыбаясь, в то время как позади нее на стене я видел смутно знакомую мне акварель — единственную вещь, которую она более сорока лет тому назад захватила с собой: русская девушка, почти девочка, в цветочном платочке, осторожно несущая перед собой четверговую свечку в бумажном фунтике, чтобы мартовский ветер ее не задул; свечка озаряла девичье лицо снизу таким образом, что нижняя часть щек, круглых и румяных, как наливные яблочки, была ярко и нежно освещена, а верхняя тонула в тени, и счастливые глаза с сусальными огоньками в каждом зрачке смотрели невинно и ясно прямо на меня, и сейчас же я вспомнил Блока:

Мальчики да девочки
Свечечки да вербочки
    Понесли домой.

Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
    И пахнет весной.

— Помните? — спросил я, и она сейчас же, словно беспрерывно читала мои мысли, ответила автоматическим голосом:

Ветерок удаленький,
Дождик, дождик маленький,
    Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное
Завтра встану первая
    Для святого дня.

Она замолчала, но теперь уже я, в свою очередь, читал ее мысли и видел то, что видела она: наш первый, последний и единственный поцелуй, который никогда не считался за настоящий, потому что мы не просто поцеловались, а «похристосовались», то есть совершили общеобязательный обряд.

Возле празднично убранного стола с куличами, розовыми стружками гиацинтов, крашеными яйцами вокруг

зеленой кресс-салатовой горки, с окороком и серебряной бутылкой малиновой наливки братьев Шустовых она стояла с невыспавшимся после пасхальной ночи, но свежевымытым лицом и выжидательно смотрела на меня, слегка приподняв руки в длинных кружевных рукавах, до половины закрывавших ее пальцы с наполированными ноготками. Она смотрела на меня, не скрывая любопытства: что я буду теперь делать? Впервые я увидел ее тогда не в гимназической форме, а в легкой великоватой блузе с дырочками «бродери», сквозь которую просвечивали розовые шелковые бретельки и которая ей совсем не шла, придавая ее девичьей фигурке нечто дамское.

— Христос воскрес,— сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней — чистенький, вымытый, тоже не выспавшийся, пахнущий тетиным одеколоном «Брокар», с жесткими волосами, насаленными фиксатуаром, и в новых скрипящих ботинках.

— Воистину,— ответила она и спросила, улыбаясь: — Надо целоваться?

— Приходится,— сказал я, с трудом владея своим грубо ломающимся голосом.

Она положила мне на плечи руки, от которых как-то по-старинному пахло цветущей бузиной — может быть, именно потому, что кружева рукавов были как бы немного пожелтевшими от времени,— и мы формально поцеловались, причем я близко увидел ее растянувшиеся в улыбке сомкнутые прохладные губы с маленькой черной мушкой и глаза, не выражавшие решительно ничего, даже смущения. Тогда же я впервые увидел ее отца, хотя часто бывал у них в гостях: ее отца никогда не было дома, всегда он либо уже ушел, либо еще не возвратился из клуба.

Он вошел в новом сюртуке и белом жилете, на ходу вкладывая в бумажник крахмально-белые карточки, приготовленные для визитов, на которые он отправлялся. Она представила меня, назвав мою фамилию и уменьшительное имя. Мы похристосовались, он слишком внимательно, с каким-то непонятным любопытством посмотрел на меня, затем пожал мою ледяную руку и налил в две зеленые рюмочки — себе и мне — малиновой наливки. Мы чокнулись, выпили, и я, никогда в жизни еще не пивший

вина, почувствовал, что сразу опьянел от одного лишь запаха, наполнившего мой рот и носоглотку восхитительным летучим, как бы горящим малиновым вкусом, а за окнами с высохшей, потрескавшейся замазкой раздавался утомительный перезвон пасхальных колоколов из Михайловского монастыря, над кустами сирени с надутыми почками и воробьями, по водянисто-голубому небу плыли белые облака, солнце сияло в ртутном шарике наружного термометра Реомюра, по крашеному подоконнику ползала ожившая муха, и я смотрел маринованными глазами на ее отца, на твердые белоснежные манжеты с золотыми запонками, на его крепкую голову, постриженную бобриком и хорошо посаженную на короткое, коренастое туловище отставного офицера, который проживает молдавское имение своей жены за ломберными столами дворянского собрания и в Екатерининском яхт-клубе.

— Вы помните моего покойного папу? — спросила она, продолжая непостижимо следовать за моими мыслями.

— Я всё помню,— ответил я грустно.

— Я тоже,— сказала она, и мы замолчали, и это молчание длилось невероятно долго, длилось до тех пор, пока она не решилась сказать мне то, что, по-видимому, тяготило ее уже много лет, всю жизнь.

Она положила свою сухую, уже старчески легкую руку на мое плечо и, глядя на меня, по своему обыкновению, как бы немного снизу, произнесла голосом сестры:

— Вы знаете, мой покойный папа незадолго до своей смерти вынул из секретного ящика своего письменного стола и молча показал мне фотографическую карточку вашей покойной мамы, ту самую, где — вы помните? — ваша покойная мама снята семнадцатилетней епархиалкой в форменном платье с круглым отложным, твердо накрахмаленным воротничком вокруг нежной шеи, с овальным смуглым лицом и японскими глазами. Оказывается, они — мой папа и ваша мама — были когда-то знакомы. И я думаю,— она вздохнула глубоко и почти неслышно,— и я думаю, что мой папа был когда-то влюблен в вашу маму и, может быть, даже любил ее всю свою жизнь до самой смерти. Вот что случилось в нашей жизни, мой друг,— грустно прибавила она...

А тем временем мы уже опять стояли — на этот раз навсегда прощаясь — перед ее домом — я и она,— и мне запомнилось лишь немногое из того, что она тогда — по-

следний раз в нашей жизни — говорила, неотрывно глядя в мое лицо:

— ...На улице бы я вас не узнала, а в поезде бы узнала. Когда же мне сказали, что вы расстреляны, я пришла домой, села на диван и окаменела... Я даже не могла плакать... Я совсем окаменела. Я не могла согнуть рук. У меня было такое чувство, будто бы я превратилась в кусок камня... И уже вокруг меня ничего не было... Какое счастье, что это оказалась неправда и вы живы... вы живы...

— А может быть, это все-таки правда и я давно мертв?!

— Тогда, значит, нас обоих уже давно нет на свете.

— Быть может.

И вырвал грешный мой язык.

Зимний ветер из Мексики пролетал над крышами Лос-Анжелеса. Сухо шелестели вашингтонские пальмы. Лежала грифельная полоса Тихого океана, и где-то за далеко тлеющим горизонтом ощущался другой материк, и там мерцала страна моей души.

Она все еще продолжала стоять вверху у порога — маленькая, темная, неподвижная — и с ужасом смотрела на мои обуглившиеся крылья,— и потом, когда уже машина, распластавшись текла мимо бетонных светильников и коттеджей, я в последний, в самый последний раз обернулся и увидел ее совершенно неподвижную фигурку, которая как бы лишний раз подтверждала, что неподвижность есть всего только одна из форм движения,— темную фигурку на верху откоса, рядом с голым, как бы железным кустарником.

Потом я еще раз увидел растение, осыпанное ярко-красными, как бы светящимися цветами — сигналами калифорнийской зимы,— но я уже забыл, как оно называется. Его название вертелось на языке, я мучительно напрягал память, но не мог вспомнить — ассоциативные связи разрушились, и не у кого было спросить.

Теперь Америка почти совсем потеряла для меня интерес, она как бы лишилась души, напоминая прелестную искусственную страну вроде Диснейленда. Зачем я сюда так страстно стремился?

Вечная любовь. Альфред Парасюк. Книга для немногих. Пуансета. Голубые люди. А теперь в подробном изложении.

— Мы тогда в Париже бегали с Костей каждый день в пять часов вечера в «Куполь», но никак не могли вас застать. Где вы тогда пропадали?

Что я мог ей ответить?Я пропадал у Барбюса. Я был влюблен в его «Кларте». Я не отрываясь смотрел в узкое темное лицо Барбюса, на волосы, косо упавшие на широкий, наклонившийся ко мне лоб, и слушал его голос, в котором для меня тогда звучала величайшая истина нашей эпохи:

«Никто не подозревает, какую можно создать красоту! Никто не подозревает, какую пользу могли бы извлечь из расточаемых сокровищ, каких высот может достичь возрожденная человеческая мысль, заблудшая, подавленная, постепенно удушаемая постыдным рабством, проклятием заразительной необходимости вооруженных нападений и оборон и привилегиями, унижающими человеческое достоинство; никто не подозревает, что она может открыть в будущем и перед чем преклониться. При верховной власти народа литература и искусство, симфоническая форма которых едва еще намечается, приобретут неслыханное величие, как, впрочем, и все остальное. Националистические группировки культивируют узость и невежество и убивают самобытность, а национальные академии, авторитет которых покоится на неизжитых суевериях,— лишь пышное обрамление развалин. Куполы институтов, вблизи как будто величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи. Надо расширять, интернационализировать неустанно, без ограничения все, что только возможно. Надо разрушить преграды, пусть люди увидят яркий свет, великолепные просторы; надо терпеливо, героически расчистить путь от человека к человечеству: он завален трупами людей, и каменные изваяния заслоняют дугу далекого горизонта. Да будет все это преобразовано по законам простоты. Существует только один народ, только один народ!»

А где была ты?

— У меня здесь больше никого нет. Никого на свете. Я могу жить вполне прилично, но я осталась совсем одна.

Это было последнее, что я от нее услышал; и эти бедные слова преследовали меня еще некоторое время днем и ночью, сначала в ущельях Невады, где, может быть, в

это время в пещерах производились подземные атомные взрывы, не слышные снаружи, но о которых я догадывался по усиливающемуся сердцебиению, потрясающему всю нервно-сосудистую систему моего организма; потом среди железных эстакад Чикаго, в утренних зимних сумерках его гангстерских трущоб, в угольно-черных щелях между старинными небоскребами и новейшими шестидесятиэтажными пластинчатыми винтообразными башнями двух зданий недорогих квартир, возле непомерно длинной набережной, охваченной облаками морозного тумана, все время наползающего на город с озера Мичиган, о присутствии которого можно было лишь смутно догадываться по льду на ресницах, по оловянно-перламутровому мерцанию, по могучему северному ветру, несущему в лицо жгучий холод всего водного пространства невидимого озера, окаменевшей от стужи Канады, ледяных пространств Арктики; наконец — эти бедные слова преследовали меня среди респектабельных кирпичных домов и церквей, придающих городу Бостону особую, почти религиозную строгость и скуку в те дни, когда в молчаливом многоэтажном госпитале, днем и ночью окруженном фоторепортерами и операторами телевизионных корпораций, на высокой кровати, поставленной посредине отдельной палаты, подпертый свежими большими подушками, среди цветов и золотогорлых бутылок французского шампанского в ушате с битым льдом,— неутомимо разглагольствуя, умирал столетний Роберт Фрост, знаменитый американский поэт, поворачивая во все стороны грозные, как у пророка, и наивные, как у ребенка, рыжие глаза на неподвижном пергаментно-пятнистом лице, уже как бы захватанном коричневыми пальцами вечности.

Я видел, как он, как глыба, придавленная к земле страшной тяжестью годов, казавшийся горбатым, с длинными руками, почти касавшимися пола, и короткими, как корни, кривыми ногами, в просторном новом костюме, поддерживаемый почитателями и вашингтонскими чиновниками, шел среди колонн и скульптур конгресса принести свои поздравления вновь избранному молодому и веселому президенту Кеннеди, как бы олицетворяя старую Америку Марка Твена и Лонгфелло, пожимающую руку Америке новой.

Теперь он, лежа с бокалом в руке на высокой хирургической кровати, смотрел на меня в упор и, стараясь,

чтобы клико́ не пролилось на его белоснежную рубашку, открывавшую коричнево-пергаментную шею, усеянную гречкой, говорил в повышенно пророческом бостонском стиле, обращаясь к кому-то, видимому лишь ему одному.

Может быть, он видел за моей спиной испепеленные крылья, и это заставляло его еще больше волноваться.

— ...Мне смешно,— говорил он,— слышать, когда люди уверяют, что ее не будет. Можете мне поверить: она вполне может когда-нибудь разразиться. Но если она разразится... Люди, я призываю вас... Человечество, прислушайся к моему голосу... Во имя высшей правды, если начнется всеобщее мировое безумие,— не отравляйте колодцев, оставляйте на деревьях яблоки, чтобы люди могли утолить голод и жажду, если мы не хотим, чтобы жизнь на земле навсегда исчезла. Я кончил. А теперь говори ты,— сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Он в упор смотрел на меня своими настойчивыми глазами, которые в этот миг вдруг показались мне искусственными, глядящими в прорези пятнистой маски, молчаливо требуя моего ответа.

Что мог сказать ему я в эту последнюю минуту нашей земной встречи? Я мог сделать лишь одно — громко провозгласить названье этого вечнозеленого калифорнийского растения, осыпанного среди зимы ярко-красными, светящимися цветами, но я забыл это слово, единственное, которое могло спасти мир и спасти нас всех. Подавленный, я молчал, но во мне уже таинственно звучал далекий голос другого великого поэта Америки, родившегося здесь, в Бостоне, более века тому назад:

— Что за надпись, сестра дорогая,
Здесь, на склепе? — спросил я, угрюм.
Та в ответ: — Улялюм... Улялюм...
Вот могила твоей Улялюм!

И когда французский самолет повернул в океан и я уже успел просмотреть сегодняшние парижские газеты с громадными траурными клише обледеневших трущоб и трупов людей, замерзших предыдущей ночью в Бельвиле, и пожарных, откачивающих воду из подвалов, где лопнули трубы, и я узнал, что «божоле» снова подорожало на десять сантимов за литр, и я дремал в ожидании Европы,— то все это время испытывал чувство сладостной

опустошенности, как человек, который нырнул на страшную глубину для того, чтобы поднять со дна мраморную статую богини, и всплыл на поверхность, полумертвый от нечеловеческого напряжения, простирая к небу ладони, в которых среди водорослей и голубого, текущего по рукам песка оказалась всего лишь маленькая, почти черная от времени терракотовая статуэтка женщины, вдовы, пролежавшая на дне несколько тысячелетий.

Да, припомнил я волны Оберы,
Вспомнил область туманную Нодд!

Может быть: «Опыт построения третьей сигнальной системы?»

Теперь, когда я возвращался обратно из мира Стравинского в мир вывернутого наизнанку Шуберта, ко мне постепенно — миг за мигом — возвращалось время, которое так необъяснимо исчезло, когда я летел через океан туда,— вздох за вздохом — возвращалась жизнь, погруженная в гипнотический сон.

Да, припомнил я берег Оберы,
Вспомнил призраков в зарослях Нодд!

...И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье...

Поседевшая от горя жена по-прежнему стояла на промасленных шестигранниках взлетной полосы, которая теперь превратилась в посадочную площадку и отражала сигнальные огни аэровокзала, с трудом пробивающиеся сквозь ночной туман. Она взяла меня молча под руку, и мы снова пошли как ни в чем не бывало по забытой улице, где старик в вязаных обгорелых перчатках с отрезанными пальцами жарил каштаны... Над жаровней носились плотные облака морозного воздуха, освещенные заревом голубой электрической вывески театра Сары Бернар, где на сцене бегал в коротких сапогах, заложив руку за борт пикейного жилета, император французов, и мы купили у старика пакетик крупных обугленных каштанов, обжигавших руки; но обугленная скорлупа легко снималась, и мы ели каштаны, как школьники, потратившие на лакомство свои два последних су и потерявшиеся в большом городе. Я потерял перчатку, пальцы озябли, и я дышал на них, стараясь согреть.

Нам страшно захотелось вернуться назад, туда, где в своей люлечке спала наша внучка, изо всех сил сжимая в смуглых кулачках маленькие морские звездочки, собранные во время отлива; туда, где под толстой соломенной крышей нормандского овина, под величественным балдахином спали Козловичи и видели во сне две Германии — одну Демократическую, другую Федеративную,— будучи не в состоянии решить, по какой из них прокатиться в туристском автобусе; где в садике под цветущим каштаном валялся мотороллер юной молочницы, а она сама, смешав свои белокурые волосы со стрижеными волосами нашего сына — Шакала, спала блаженным сном праведницы, положив обольстительную пунцовую щеку на его голую руку, а на полу были разбросаны: красное платье, нейлоновые чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами, а на письменном столе, рядом с бидоном, стояли резиновые кеды, а сам Шакал спал посапывая и казался без очков как новорожденный котик; туда, где наша дочь Гиена, скрестив ноги, спала крепким сном, спрятав под подушку новый роман одного из самых известных современных мовистов, в то время как ее муж, стоя у чертежной доски с тяжелым противовесом, обдумывал принцип моделирования третьей сигнальной системы; где на газоне стояла полуобгоревшая машина и в ней спали Остапенки, оба крупные, счастливые, большие любители путешествий; где по шоссе бесшумно неслись, распластавшись, машины лучших мировых стандартов, отражая своей поверхностью поток неоновых огней гостиниц-обержей и тревожных сигналов заправочных станций, дорожных указателей, светящихся реклам, городов и театров; где мы так нежно и так грустно любили друг друга.

Но, вероятно, в этот миг что-то произошло, потому что мы уже ничего вокруг не узнавали. Да, собственно, ничего и не было. Торчал лишь обугленный угол электрического трансформатора, срезанного по диагонали. Он торчал, как обломок зуба. Остальное все — поле, дачи, сосны, рощи, кладбище, станция, церковь времен Иоанна Грозного, тонкая перекрученная струйка родниковой водички, все люди — знакомые и незнакомые,— все перестало существовать, все изменило форму. Волнистый пепел простирался во все стороны до самого пустынного горизонта, по серой черте которого волнисто двигались

маленькие шафранно-желтые шапочки лисичек и на коромыслах качались чашечки крошечных весов. А за горизонтом простиралась такая же самая пустота и так далее и так далее до бесконечности, а затем и после бесконечности, а с бесцветного — и, в общем, больше уже не существующего — неба сыпалась странная, невидимая и неощутимая материя, продукт какого-то распада. Наша одежда и наши волосы тоже превращались в ничто и падали неощутимыми частицами сухого тумана, и мы медленно и безболезненно, разматываясь, как клубок шерсти, съеденный молью, стали разматываться, разматываться, разматываться, превращаясь в ничто.

Нам совсем не было страшно, а только бесконечно грустно.

— Вернемся назад,— успела промолвить жена, становясь совсем прозрачной, размытой и неподвижной, как сновидение или даже как воспоминание о сновидении. Она прижалась к моему плечу, тая на глазах и теряя вес, и я понимал, что мы уже никогда никуда не вернемся, потому что я не мог вспомнить названия вечнозеленого куста, усыпанного среди зимы очень яркими пунцовыми цветами, а лишь одно это могло спасти нас: за серой пеленой неба, улетая в мировое пространство, уже безмолвно бушевало и лизало со всех сторон вселенную странное пламя распадающейся материи, невидимое, неощутимое, холодное и вместе с тем распространявшее острый, неприятно свежий запах железной ржавчины, запах кислорода, которым я, оказывается, давно уже дышал через гуттаперчевые трубки, глубоко вставленные в ноздри, слыша, как на губах сквозь марлю шипят пузырьки кислорода, и довольно ясно понимая, что я уже не сплю, а лежу на высокой хирургической кровати в своей палате, что черная кровь, которая по капле стекает в банку из дренажей, есть моя кровь, что за окном внизу сияет сад моей души, что узкоглазый анестезиолог не забыл меня разбудить, что человек не может умереть, не родившись, а родиться, не умерев, и что сравнительно недалеко, возле Святого колодца, вероятно, по-прежнему стоит знакомый старик и терпеливо моет свои бутылки.

1962—1965
Переделкино

Алмазный мой венец

...таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее стекло автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки стеклоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили юзом по окружному шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной...

В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще?

Думаю, что мне внушил идею вечной весны (и вечной славы!) один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы.

Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают.

Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена.

Его студия, вернее, довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знаком-

ства с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика (или как его там?) не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать: отказываться от заказов, разбивать свои творения.

У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малопонятные афоризмы об искусстве ваяния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? — да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их валялись под ногами среди соломенных деревенских стульев. Это еще более возвышало его в глазах ценителей, «Фигаро» отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка.

Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе.

Словом, он бушевал.

Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском, — и на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание — может быть, потому, что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы, — и относился ко мне весьма внимательно и даже дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком. Вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях — словом, обо

всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело.

Брунсвик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул:

Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вождям и великим гениям. Я хочу ваять малых сих. Вы все — моя тема. Я нашел свою тему. Я предам всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду... О, если я его только найду... тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз вы наконец увидите свои изваяния, созданные из неслыханного материала... если я его, конечно, найду...

Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись...

...образ Брунсвика (или как его там) пропал в провалах моей памяти.

И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками, в коридоре между двух рядов двойных, герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное О, которое можно было истолковать как угодно, но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий.

Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописное Ю. Ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю,— не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска — тень нашего длинного самолета.

Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто

среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникают изображения самого отдаленного прошлого, например футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрофорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым.

Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед — маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте.

С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки.

Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький ришельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:

— Браво, я!

(Вроде Пушкина, закончившего «Бориса Годунова». Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)

Как сказали бы теперь, «был забит завершающий победный гол» этого рядового гимназического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка.

Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч: в нем принимал участие тощий, золотушного вида ришельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центрфорвард сборной команды России, как сказали бы теперь — «нападающий века», «суперстар» мирового футбола, Богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбочкой на малокровном лице.

Его имя до сих пор легенда футбола.

В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется, бесплатно.

— Кто забил гол? — спросил я.

И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха в пользу раненых, который я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы: до сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и росчерками; в нем содержалось следующее бессмертное двустишие:

«Уланский конь скакает в поле по окровавленным телам».

Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться.

Стихи же, привлекшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком: круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах.

Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый ришельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо.

Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города за исключением ришельевцев носили форму черного цвета; ришельевцы — серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда Ришельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь.

Я был в черной куртке, он — в серой.

Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии.

Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко под Северянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями — ближе, чем братья, — и долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей.

Только что я прочел в черновых записях Достоевского: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношение бытия к небытию»...

Я знал это уже до того, как прочел у Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени! Может быть, отсюда моя литературная «раскованность», позволяющая так свободно обращаться с пространством.

Теперь плечом к плечу со своей женой я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги — символы не дочитанной до конца книги человеческой жизни,— а вокруг живописно простирались вечнозеленые луга и пригорки чужой, но милой страны, и хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было несомненно: всюду из-под земли вылезали новорожденные крокусы и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо разноцветные — не совсем такие, как у нас в России, — бумажные змеи с двумя хвостами.

Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького ришельевца.

Прижав к себе локоть жены, я наяву наблюдал этот ландшафт глазами, мокрыми от слез.

...Что-то я на склоне лет стал сентиментален...

Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал «архискверный» Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение «раскованности», то это лично мое. Впрочем, как знать? Может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих и я не более чем «изобретатель велосипеда».

Глядя на бумажные змеи и на зеленые холмы, я подумал, что ту книгу, которая впоследствии получила название «Ни дня без строчки», ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше и без претензий на затрепанное латинское nulla dies sine linea, использованное древними, а вслед за ними и Золя; он хотел назвать ее «Прощание с жизнью», но не назвал, потому что просто не успел.

Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, «Вечная весна», а вернее всего «Алмазный мой венец», как в той сцене из «Бориса Годунова», которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно.

Прелестная сцена: готовясь к решительному свиданию с Самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности.

«Ну что ж? Готово ли? Нельзя ли поспешить?» — «Позвольте, наперед решите выбор трудный: что вы наденете, жемчужную ли нить иль полумесяц изумрудный?» — «Алмазный мой венец». — «Прекрасно! Помните? Его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец. На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали, красавицы шептали... В то время, кажется, вас видел в первый раз Хоткевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят: на вас кто ни взглянул, тот и влюбился».— «Нельзя ли поскорей»...

Нет, Марине не до воспоминаний, она торопится. Отвергнута жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц. Всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное, уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии.

Марина уже сделала свой выбор. Я тоже: все лишнее отвергнуто. Оставлен «Алмазный мой венец». Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою плешивую голову.

Марина — это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же Монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор?

Я ошибся, думая, что на острове, омываемом теплым течением Гольфстрим — или, как его называли в старых гимназических учебниках, Гольфштрем, что мне нравится гораздо больше, — весна обычно является на глаза в феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события: войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти...

Меня преследовали неудачи.

Баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернула узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрым взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье, а затем повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные зубы:

— Это не *ему*, а *вам* хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую.

С этими словами она показала свою тощую спину.

Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещавший нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание: все вокруг меня сделалось как при наступлении полного солнечного затмения. Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы, чего доброго, хлопнулся в обморок.

К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в прояснившейся комнате явилась добрая фея, положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить штаны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея была

тоже в медицинском халате, но профессорском, более высокого ранга — белоснежно накрахмаленном, из-под которого виднелись оборочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые ноги, — чуть было не написал «ножки», что было бы весьма бестактно по отношению к профессору.

Ее лицо было строго-доброжелательно, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь, она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она осталась вполне довольной, по-королевски скупо улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь...

Деревья мало знакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем близко, рядом, на подходе. Это несомненно. Но что-то тормозило ее приближение, не давало ей наступить. О, проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно медленно умирающей зимой.

В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней, нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения.

Но неужели воображение не сильнее метеорологии?

Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот: воображение — дочь поэзии. Для меня, хотя и не признанного, но все же поэта, поэзией прежде всего было ее словесное выражение, то есть стихи.

О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу, в том его еще мало исследованном отделе, который называется механизмом запоминания, сохраняющим их навсегда наряду с впечатлениями не-

когда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, пейзажей, пробежавших за вагонным окном, различных элементов морского прибоя — его цвета, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразия его форм и цветов, его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокро-лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манша, Лонг-Айленда...

Англия помещалась где-то среди слоев этих накоплений памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы эскесс, написавшего:

«Воздух ясен, и деревья голы. Хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселой вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей вновь зажег решетчатый фонарь».

Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, «переночевал Диккенс», поразивший однажды воображение автора, а потом через его стихи поразил воображение многих других, в том числе и мое.

Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка.

Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждый какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали.

В одном из промелькнувших домиков действительно над оконной нишей гном держал решетчатый фонарь.

Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернели рога араукарии.

Черные, как бы обугленные деревья, настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может и они должны или перестать существовать, или наконец воскреснуть: хоть немножко зазеленеть.

А между тем во многих крошечных палисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми цветами, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы; уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны.

Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны: трубы заводов, пробегавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе, целыми семьями; силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкостей различного назначения, иногда посеребренных... Однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность девятнадцатого века викторианской Англии, Великобритании, повелительницы полумира, владычицы морей и океанов, именно такая, какою ее видел Карл Маркс.

Движущиеся мимо прозрачно-сумрачные картины не затрагивали воображения, занятого воссозданием стихов все того же эскесса:

«Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и встарь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь»...

Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингема, мимо которого мы проезжали со скоростью шестидесяти километров в час.

Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманный эскессом в пору моей юности.

Он был, эскесс, студентом, евреем, скрывавшим свою бедность. Он жил в большом доме, в нижней части Дерибасовской улицы, в «дорогом районе», но во втором дворе, в полуподвале, рядом с дворницкой и каморкой, где хранились иллюминационные фонарики и национальные

бело-сине-красные флаги, которые вывешивались в царские дни. Он жил вдвоем со своей мамой, вдовой. Никто из нас никогда не был у него в квартире и не видел его матери. Он появился среди нас в опрятной, выглаженной и вычищенной студенческой тужурке, в студенческих диагоналевых брюках, в фуражке со слегка вылинявшим голубым околышем. У него было как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось стихов. Он был замечательный пародист, и я до сих пор помню его пародию на входившего тогда в моду Игоря Северянина:

«Кто говорит, что у меня есть муж, по кафедре истории прозектор. Его давно не замечаю уж. Не на него направлен мой прожектор. Сейчас ко мне придет один эксцесс, так я зову соседа с ближней дачи, мы совершим с ним сладостный процесс сначала так, а после по-собачьи»...

Свою пародию эскесс пел на мотив Игоря Северянина, растягивая гласные и в наиболее рискованных местах сладострастно жмурясь, а при постыдных словах «сладостный процесс» его глаза делались иронично-маслеными, как греческие маслины.

Он был поэт старшего поколения, и мы, молодые, познакомились с ним в тот жаркий летний день в полутемном зале литературного клуба, в просторечии «литературки», куда Петр Пильский, известный критик, пригласил через газету всех начинающих поэтов, с тем чтобы, выбрав из них лучших, потом возить их напоказ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои стихи в летних театрах.

Эскесс уже тогда был признанным поэтом и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных.

На этом отборочном собрании, кстати говоря, я и познакомился с птицеловом и подружился с ним на всю жизнь.

Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов, на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно пере-

вирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидело пенсне со шнурком и треснувшим стеклом.

Рядом с ним всегда сидел ироничный эскесс.

Я думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи.

Несмотря на его вечную иронию, даже цинизм, у него иногда делалось такое пророческое выражение лица, что мне становилось страшно за его судьбу.

Его мама боготворила его. Он ее страстно любил и боялся. Птицелов написал на него следующую эпиграмму:

«Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит: вино бросает в жар любовный; мой Сема должен быть как камень хладнокровный, мамашу слушаться и не кричать со сна».

Он действительно не пил вина, и у него не было явных любовных связей, хотя он был значительно старше всех нас, еще гимназистов.

Одно из его немногочисленных стихотворений (кажется, то, которое понравилось Блоку) считалось у нас шедевром. Он сам читал его с благоговением, как молитву:

«Прибой утих. Молите бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудна и пениста дорога по мутной зелени валов. Все холодней, все позже зори. Плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские. Но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой»...

У меня уже начала разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков эпохи Возрождения, так что пришлось их заменить другими, собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки сохранились.

...еще там упоминался святой Николай с темным ликом и белой бородой, покровитель моряков и рыбаков...

Почему нас так волновали эти стихи? Может быть, мы и были этими самыми бедными ланжероновскими рыбаками, и сентябрь ярусами плыл по низким облакам, и нам снились несказанные блоковские сны, и по морю, где-то далеко за Дофиновкой, ходили святые и над водой носили звезды: Юпитер, Вегу, Сириус, Венеру, Полярную звезду...

Настало время, и мы все один за другим покинули родной город в поисках славы. Один лишь эскесс не захотел бросить свой полуподвал, свою стареющую маму, которая привыкла, астматически дыша, тащиться с корзинкой на Привоз за скумбрией и за синенькими, свой город, уже опаленный огнем революции, и навсегда остался в нем, поступил на работу в какое-то скромное советское учреждение, кажется даже в губернский транспортный отдел, называвшийся сокращенно юмористическим словом «Губтрамот», бросил писать стихи и впоследствии, во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации, вместе со своей больной мамой погиб в фашистском концлагере в раскаленной печи с высокой трубой, откуда день и ночь валил жирный черный дым...

...теперь из всей нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата...

...нет возврата!..

...Но, безвозвратно исчезая, они навсегда остались в моей памяти, и я обречен никогда не расставаться с ними, а также со многими большими и малыми гениями из других республик и царств, даривших меня своей дружбой, ибо между поэтами дружба — это не что иное как вражда, вывернутая наизнанку.

Не могу взять грех на душу и назвать их подлинными именами. Лучше всего дам им всем прозвища, которые буду писать с маленькой буквы, как обыкновенные слова: ключик, птицелов, эскесс... Исключение сделаю для одного лишь Командора. Его буду писать с большой буквы, потому что он уже памятник и возвышается над

Парижем поэзии Эйфелевой башней, представляющей собой как бы некое заглавное печатное А. Высокая буква над мелким шрифтом вечного города.

А, например, щелкунчик будет у меня, как и все прочие, с маленькой буквы, хотя он, может быть, и заслуживает большой буквы, но ничего не поделаешь: он сам однажды, возможно даже бессознательно, назвал себя в автобиографическом стихотворении с маленькой буквы:

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Он сам напророчил свою гибель, мой бедный, полусумасшедший щелкунчик, дружок, дурак.

Ю. О. я уже назвал ключиком. Ведь буква Ю — это, в конце концов, и есть нечто вроде ключика. А остальные прописные О иллюминаторов были заглавные буквы имен его матери и жены.

Как странно, даже противоестественно, что в мире существует порода людей, отмеченных божественным даром жить только воображением.

Мы были из этой породы.

Подобно донне Анне, скрестившей на сердце руки, мы видели неземные сны, но, проснувшись, тотчас забывали их. Забытые сновидения, как призраки, являлись в наших стихах, и трудно было понять, из каких глубин сознания они взялись.

...некогда, давным-давно, еще до первой мировой войны, до моего знакомства с ключиком, птицелов стоял на сцене дачного театра. Отсутствие гимназического пояса, а также гимназическая куртка со светлыми пуговицами, обшитыми для маскировки серой материей, делали его похожим на выгнанного ученика или экстерна: предосторожность не лишняя, так как учащимся средних учебных заведений строго запрещались публичные выступления. За это беспощадно выгоняли с волчьим билетом.

Я тоже участвовал в «вечере молодых поэтов», происходившем днем, и так же, как и птицелов, скрывал, что я

гимназист. Наш товарищ из аристократов, барон-фон, одолжил мне свою визитку, шелковый галстук с модным рисунком «павлиний глаз», и я со своей головой, стриженной под нуль, выглядел чучело чучелом.

— Нам с башен рыдали церковные звоны, для нас подымали узорчатый флаг, а мы заряжали, смеясь, мушкетоны и воздух чертили ударами шпаг,—

рыча и брызгая слюной, выкрикивал птицелов в полупустой, полутемный зал, освещенный стрелами летнего солнца, бившего сквозь дощатые стены и дырочки от выпавших сучков.

Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты, как у борца, косой пробор растрепался, и волосы упали на низкий лоб, бодлеровские глаза мрачно смотрели из-под бровей, зловеще перекошенный рот при слове «смеясь» обнаруживал отсутствие переднего зуба. Слова «чертили ударами шпаг» он подкреплял энергичными жестами, как бы рассекая по разным направлениям балаганный полусвет летнего театра воображаемой шпагой, и даже как бы слышался звук заряжаемых мушкетонов, рыдание церковных звонов с каких-то башен — по всей вероятности, зубчатых — и прочей, как я понял впоследствии, «гумилятины».

Птицелов принадлежал к той элите местных поэтов, которая была для меня недоступна. Это были поэты более старшего возраста, в большинстве своем декаденты и символисты. На деньги богатого молодого человека — сына банкира, мецената и дилетанта — для этой элиты выпускались альманахи квадратного формата, на глянцевой бумаге, с шикарными названиями «Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках» и прочее в этом роде. В эти альманахи, где царили птицелов и эскесс как звезды первой величины, мне с моими реалистическими провинциальными стишками ходу не было.

Еще бы! Они даже свою группу называли «Аметистовые уклоны». Где уж мне!

— Когда наскучат ей лукавые новеллы и надоест лежать в плетеных гамаках, она приходит в порт смотреть, как каравеллы плывут из смутных стран на зыбких парусах,—

читал птицелов с упоением свою знаменитую «Креолку»,—

от палуб кораблей так смутно тянет дегтем...
И прочее.

Видимо, все это он позаимствовал из пиратских романов Стивенсона, которые читал на уроках, пряча под парту журнал «Мир приключений».

Несмотря на всю мою приверженность к русской классической литературе, поэзии Кольцова, Некрасова, Никитина, не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, несмотря на увлечение Фетом, Полонским, впоследствии Буниным, я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу, романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на Ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брема — его любимой книги — на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый, темный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки.

Его стихи казались мне недосягаемо прекрасными, а сам он гением.

— Там, где выступ, холодный и серый, водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис! Дионис! Дионис!—

декламировал он на бис свое коронное стихотворение...

— Утомясь после долгой охоты, запылив свой пурпурный наряд, ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград.

Эти стихи были одновременно и безвкусны и необъяснимо прекрасны.

Казалось, птицелов сейчас захлебнется от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как бы гладиаторская внешность — не что иное как не без труда давшаяся поза.

Даже небольшой шрам на его мускулисто напряженной щеке — след детского пореза осколком оконного стекла — воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги.

Откуда он выкопал Диониса, его пурпурный наряд, запылившийся во время охоты? Откуда взялись какие-то бирюзовые гроты и выступ мало того что холодный и серый, но еще и «водопадом свергающийся вниз»?

Необъяснимо.

Впоследствии он стал писать по-другому, более реалистично, и, медленно созревая, сделался тем прославленным поэтом, имя которого — вернее, его провинциальный псевдоним — принимается как должное: к нему просто привыкли.

Прошло более полувека, и однажды я — все в той же погоне за вечной весной — очутился в Сицилии, куда мы прилетели из Рима, предварительно пройдя все зловещие процедуры в аэропорту Фьюмаччино.

Угон самолетов уже стал делом обыкновенным. Воздушное пиратство. Поэтому всех пассажиров тщательно обыскивали и надо было проходить через какую-то электромагнитную раму, реагирующую на присутствие всякого металлического предмета, например ручного пулемета или бомбы. Так как Сицилия считается центром всемирной мафии, то осмотр производился особенно строго.

Единственное исключение агенты полиции сделали для пожилой монахини с тяжелым саквояжем в руках. Ее пропустили без осмотра. По всем законам авантюрного жанра именно эта монахиня и была наиболее опасным членом мафии и в ее саквояже, конечно, должен был находиться автомат или какое-нибудь взрывное устройство.

Во время всего короткого перелета Рим — Палермо я не спускал глаз с монахини, равнодушно перебиравшей четки, а когда она открыла свой чемодан и, надев очки, стала в нем копаться, я проклял судьбу, угораздившую посадить нас именно в этот проклятый самолет, который могут угнать куда-нибудь к черту на рога — в Африку — или даже взорвать в воздухе.

Я не обращал внимания на красоту расстилавшегося под самолетом Тирренского моря и перестал волноваться лишь после того, как наш самолет «алиталия» пошел на посадку, и мимо нас побежали прибрежные скалы, холмы, покрытые апельсиновыми рощами, желтая полоса пляжа на кружевной кромке до слез синего моря, и мы покатились по бетонной полосе небольшого провинциального аэродрома.

Не помню, был ли я прежде в Палермо, но этот город показался мне знакомым. Не буду его описывать. В памяти сохранился лишь какой-то людный перекресток с раковиной фонтана, вделанной в угол старого итальянского дома. Из львиной пасти в эту мраморную раковину лилась не слишком обильная струя воды. Но раковина была переполнена — видно, что-то засорилось. Водопровод был дряхлый, вероятно его чинили в последний раз в начале двадцатого века. Из раковины на тротуар изливалась вода; натекла большая лужа, по которой шлепали прохожие, проклиная отдел коммунального хозяйства. Весь перекресток был покрыт синей утренней тенью.

Перед входом в дряхлый величественный собор росла целая роща африканских пальм. Пахло светильным газом, горячим кофе, ванилью, и во всем этом было столько староитальянского, сицилианского, что я вспомнил давнее-предавнее время и наше путешествие с папой и маленьким моим братом, братиком, на пароходе из Одессы в Неаполь с заходом в разные порты. В Палермо, кажется, не заходили. Заходили в Катанию и Мессину. Но все равно — теперь, когда в памяти все смешалось, я перенесся в ту неизмеримо далекую пору своей жизни, когда впервые увидел Италию, старую, королевскую с осликами или даже мулами с красными чехольчиками на ушах и черными шорами, что делало их как бы слепыми; с тесными лавчонками, где продавался вкусный ледяной оранжад и шипучий лимонад в бутылочках, закупоренных вместо пробок маленькими матово-стеклянными шариками, которые нужно было протолкнуть внутрь...

Теперь, как и тогда, переходя по диагонали перекресток (не все ли равно, где это было — в Катании или Палермо) из синей тени на залитую почти африканским солнцем сторону, я промочил туфли возле раковины уг-

лового фонтана с мадонной в нише, украшенной цветами и разноцветными лампадками.

Но это не важно. Извините, я отвлекся. Важно то, что в туристском автобусе мы объехали треугольник Сицилии, окруженный со всех сторон ализариновой синевой Средиземного моря, останавливаясь по дороге возле древнегреческих храмов, но не из белого мрамора, как в Греции, а из местного желтого камня, возле мраморных развалин римских городов, поверженных в прах войсками карфагенян,— ужасный след Ганнибала, шагнувших под трубный рев боевых слонов через Сицилию на Апеннинский полуостров по дороге к золотым воротам Рима,— а может быть, разрушенных землетрясениями в те дни, когда вдруг просыпалась Этна, извергая из своих семи кратеров огонь и дым и швыряя в небо раскаленные каменные бомбы, заставляя трескаться землю, обжигая лавой виноградники и обволакивая остров клубами сернистых газов, озаренными снизу отсветами преисподней...

Кто знает, какая нечеловеческая сила разрушила циклопические постройки древней Сицилии? И почему иные из них остались почти нетронутыми, не поверженными во прах?

Но теперь громадные кубические камни разрушенных городов заросли кустами одуряюще-душистой седой полыни, такой зловеще серебряной на фоне пустынного моря, почерневшего от дождевых туч, надвигавшихся откуда-то из Ливии, из Туниса, из Карфагена, от которого почти ничего не осталось, кроме легенды, кроме флоберовской «Саламбо».

Здесь под ливнем, внезапно обрушившимся на мраморные развалины, в толпе американских туристов, как стадо испуганных лошадей, бегущих к автобусу, я ощутил страшное одиночество, тщету человеческих цивилизаций, поглощаемых одна за другой непознаваемой бездной тысячелетий, по сравнению с которыми моя жизнь не более чем мгновенное сновидение.

...Перечитываю написанное. Мало у меня глаголов. Вот в чем беда. Существительное — это изображение. Глагол — действие. По соотношению количества существительных с количеством глаголов можно судить о качестве прозы. В хорошей прозе изобразительное и повест-

вовательное уравновешено. Боюсь, что я злоупотребляю существительными и прилагательными. Существительное, впрочем, включает в себя часто и эпитет. К слову «бриллиант», например, не надо придавать слово «сверкающий». Оно уже заключено в самом существительном. Излишества изображений — болезнь века, мовизм. Почти всегда в хорошей современной прозе изобразительное превышает повествовательное.

Нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования.

Писатели восемнадцатого века — да и семнадцатого — были в основном повествователи. Девятнадцатый век украсил голые ветки повествования цветными изображениями.

Наш век — победа изображения над повествованием. Изображение присвоили себе таланты и гении, оставив повествование остальным.

Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое. Мы стали язычниками. Наш бог — материя... Вещество...

Но не пора ли вернуться к повествованию, сделав его носителем великих идей? Несколько раз я пытался это сделать. Увы! Я слишком заражен прекрасным недугом мною же выдуманного мовизма. Ведь даже Библия сплошь повествовательна. Она ничего не изображает. Библейские изображения появляются в воображении читателя из голых ветвей повествования. Повествование каким-то необъяснимым образом вызывает картину, портрет. В Библии не описана внешность Каина. Но я его вижу как живого.

Единственно, что меня утешает — это Гомер, который был великим изобразителем, изображение у него несет службу повествования. Он даже эмпиричен, как и подобает подлинному мовисту: что увидел, то и нарисовал, не стараясь вылизать свою картину.

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины»...

Оказывается, простой список кораблей — это не статистика, а поэзия.

А вообще ничего не поделаешь. Каждый пишет как может, а главное, как хочет. Терпение! И знайте, что все мои изображения в конце концов лишь элементы повествования, которое я продолжаю:

...в конце концов мы очутились в Сиракузах. Распахнув окно с решетчатыми жалюзи, мы увидели все то же Средиземное море и порт, куда как раз в это время входил длинный старомодный пароход моего детства, черного цвета, с суриково-красной полосой ватерлинии, но так как пароход был мало загружен, то красная полоса была довольно широкой; а из-за горизонта, из Африки, дул все тот же октябрьский теплый ветер и гнал, все гнал, все гнал синие до черноты средиземноморские волны.

Мы ходили в стаде туристов по ярусам знаменитого на весь мир древнегреческого театра, удивляясь, как хорошо сохранился его полуциркульный амфитеатр, вырубленный из одного гигантского каменного монолита. Перепрыгивая со ступени на ступень как по каменной лестнице его рядов, мы спустились вниз и ходили по плитам сценической площадки, и наши голоса отчетливо слышались в самых верхних рядах, где камень уже соприкасался с ярким, безоблачным античным небом, так что — чудо акустики! — текст древних трагедий, произносимый актерами на котурнах и в большеротных масках, доходил до всех зрителей одинаково ясный, не искаженный пространством, непреложный, как ужасные веления рока. Здесь умирали герои, но это была не настоящая смерть, а лишь ее театральное изображение, в то время как рядом, в древнеримском цирке,— так же удивительно сохранившемся — грубо, варварски, дико властвовала подлинная смерть, лишенная поэтической оболочки: из каменных загонов на арену выпускали диких зверей. Под рев низменной римской черни львы разрывали на части рабов-гладиаторов или христиан, простиравших к небу свои белые окровавленные руки:

наглядное свидетельство того, как некогда высокогуманная древнегреческая культура была попрана и поглощена низменной культурой завоевателей-римлян, превративших Сицилию в дачную местность Рима, куда патриции, богачи, приезжали на каникулы на своих триремах с красными парусами и золочеными мачтами целыми семьями, вместе с рабами, и блаженствовали на своих виллах, от которых до наших дней сохранились

лишь мозаичные полы многочисленных комнат. Рисунок каждого пола соответствовал назначению комнаты. На полу столовой были изображения рыб, фазанов, лангуст, мурен, блюда дичи, амфоры вина... На полу комнаты для гимнастических упражнений можно было рассмотреть изображения молодых девушек в коротких туниках, делающих, быть может, утреннюю зарядку, некоторые даже держали в руках гантели и гимнастические палки... Особая комната для любви имела пол с изображением высокого ложа, окруженного амурами... В детской — мозаичные изображения игрушек... Видимо, и в самой жизни все у них было строго регламентировано, как в государстве.

Но все эти туристские впечатления не трогали моей души и оказались пустяком в сравнении с тем, что ожидало меня через несколько минут.

...Пройдя сквозь субтропический сад с померанцевыми деревьями, смоковницами, странными невиданными цветами, мы почувствовали сырую теплоту застоявшегося воздуха и очутились перед естественной каменной стеной необыкновенной высоты. Можно было подумать, что это навсегда окаменевший гладкий серый водопад, неподвижно свергающийся откуда-то с высот безоблачного сицилийского неба. В этот миг мне показалось, что я уже когда-то видел эту серую стену или, по крайней мере, слышал о ней...

Но где? Когда?

В стене сверху донизу темнела трещина, глубокая щель, естественный вход в некую пещеру — даже, может быть, сказочную,— откуда тянуло подземным холодом. Пол этого таинственного коридора, уводящего во мрак, был покрыт тонким неподвижным слоем бирюзовой воды, из которой росли какие-то странные, я бы даже сказал малокровные, растения декадентски изысканных форм, неестественно бледного болотно-бирюзового цвета. Цветы мифического подземного царства, откуда нет возврата.

...нет возврата!..

Этой картине должна была сопутствовать какая-то не-

земная, печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из памяти.

Но какие?

Выпадение из памяти всегда мучительно. Вы слышите хорошо знакомую музыку, но как она называется — забыли. Идет хорошо вам знакомый человек, но его имя выпало из памяти. Распалась ассоциативная связь, которую так мучительно трудно наладить.

Я окаменел от усилия вернуть забытые, но некогда хорошо известные слова, вероятно даже стихи.

Вдруг все объяснилось. Наш гид произнес:

— Синьоры, внимание. Перед вами гротто Дионисо, грот Диониса.

...в тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния озарила сознание. Да, конечно, передо мной была не трещина, не щель, а вход в пещеру — в грот Диониса. Я услышал задыхающийся астматический голос молодого птицелова — гимназиста, взывающего из балаганной дневной полутьмы летнего театра к античному богу:

«Дионис! Дионис! Дионис!»

«Там, где выступ, холодный и серый, водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис, Дионис, Дионис!»

Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда.

— Здесь, синьоры,— сказал гид в клетчатом летнем костюме, с нафабренными усами,— бог Дионис впервые выжал виноград и научил людей делать вино.

Ну да!

«Он ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград...»

Я не удивился, если бы вдруг тут сию минуту увидел запыленный пурпуровый плащ выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с колчаном и луком за спиной,

с кубком молодого вина в руке — прекрасного и слегка во хмелю, как сама поэзия, которая его породила.

Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни по крашеной деревянной лесенке и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине и, наклонив лохматую нечесаную голову, запоем читал Стивенсона, Эдгара По или любимый им рассказ Лескова «Шер-Амур», не говоря уж о Бодлере, Верлене, Артюре Рембо, Леконте де Лиле, Эредиа, и всех наших символистов, а потом акмеистов и футуристов, о которых я тогда еще не имел ни малейшего представления,— как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было: телепатия? ясновидение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейсы Одесса — Сиракузы?

Не знаю. И никогда не узнаю, потому что птицелова давно нет на свете. Он первый из нас, левантинцев, ушел в ту страну, откуда нет возврата, нет возврата...

А может быть, есть?

Раз уж я заговорил о птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда я познакомил его с королевичем.

Москва. Двадцатые годы. Тверская.

Кажется, они — птицелов и королевич — понравились друг другу. Во всяком случае, королевич — уже тогда очень знаменитый — доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки.

Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник, который в то время еще стоял на своем законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам.

...До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял.

Привычка.

Недаром же Командор написал, обращаясь к Александру Сергеевичу:

«На Тверском бульваре очень к вам привыкли».

Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря.

Не уверен, что во время свидания двух поэтов — птицелова и королевича — Страстной монастырь еще существовал. Кажется, его уже тогда снесли. Будем считать в таком случае, что в пустоте остался отсвет его бледно-сиреневой окраски.

Для людей моего поколения есть два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом, законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фонарями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта и третий — я, их современник.

А Пушкин сегодняшний для меня лишь призрак.

Желая поднять птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумаги, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил птицелову тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин.

Птицелов взял у королевича карандаш и на обложке толстого журнала «Современник», который был у меня

в руках, написал «Сонет Пушкину» по всем правилам: пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там написал — не помню.

Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке журнала несколько строчек.

— Сонет? — подозрительно спросил птицелов.

— Сонет,— запальчиво сказал королевич и прочитал вслух следующее стихотворение:

— Пил я водку, пил я виски, только жаль, без вас, Быстрицкий! Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя жил Катаев. Потому нам близок Саша, что судьба его как наша.

При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном.

(Фамилию птицелова он написал неточно: Быстрицкий, а надо было...)

Журнал с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам. Но поверьте мне на слово: все было именно так, как я здесь пишу.

...Смешно и трогательно...

Теперь на том месте, где все это происходило,— пустота. С этим мне трудно примириться. Да и улица Горького в памяти навсегда осталась Тверской из «Евгения Онегина».

...«вот уж по Тверской возок несется сквозь ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачужки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах»...

Почти такой увидел я Москву, когда после гражданской войны приехал с юга. Впрочем, Москва уже была не вполне онегинская. Хотя львы на воротах и стаи галок на крестах, а также аптеки, фонари, бульвары и прочее еще имелись в большом количестве. Но, конечно, трамваи были уже не онегинские.

Москва пушкинская превращалась в Москву Командора.

«Проезжие прохожих реже. Еще храпит Москва деляг, Тверскую жрет, Тверскую режет сорокасильный кадилляк».

Это тоже призрак.

Память разрушается, как старый город. Пустоты перестраиваемой Москвы заполняются новым архитектурным содержанием. А в провалах памяти остаются лишь призраки ныне уже не существующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков...

Но как устойчивы эти призраки некогда существовавших здесь церквей, особнячков, зданий... Иногда эти призраки более реальны для меня, чем те, которые их заменили: эффект присутствия!

Я изучал Москву и навсегда запомнил ее в ту пору, когда еще был пешеходом. Мы все были некогда пешеходами и основательно, не слишком торопясь, вглядывались в окружающий нас мир Города во всех его подробностях.

Это была география Столицы, еще так недавно пережившей уличные бои Октябрьской революции.

Два многоэтажных обгоревших дома с зияющими окнами на углу Тверского бульвара и Большой Никитской, сохранившаяся аптека, куда носили раненых, несколько погнутых трамвайных столбов, пробитых пулями, поцарапанные осколками снарядов стены бывшего Александровского военного училища — здание Реввоенсовета республики,— две шестидюймовки во дворе Музея Революции, бывшего Английского клуба, еще так недавно обстреливавшие с Воробьевых гор Кремль, где засели юнкера.

Множество стареньких, давно не ремонтируемых церквушек неописуемо прекрасной древнерусской архитектуры, иные со снятыми крестами, как бы обезглавленные.

Каждый новый день открывал для пешехода новые подробности города, ставшего центром мировой революции.

Я давно уже перестал быть пешеходом. Езжу на машине. Московские улицы, по которым я некогда проходил, останавливаясь на перекрестках и озирая дома, теперь мелькают мимо меня, не давая возможности всматриваться в их превращения.

Командор был тоже прирожденным пешеходом, хотя у него у первого из нас появился автомобиль — вывезенный из Парижа «рено», но он им не пользовался. На «рено» разъезжала по Москве та, которой он посвятил потом свои поэмы. А он ходил пешком, на голову выше всех прохожих, изредка останавливаясь среди толпы, для того чтобы записать в маленькую книжку только что придуманную рифму или строчку.

Город начал заново отстраиваться с пригородов, с подмосковных бревенчатых деревенек, с пустырей, со свалок, с оврагов, на дне которых сочились сточные воды, поблескивали болотца, поросшие ряской и всякой растительной дрянью. На их месте выстроены новые кварталы, районы, целые города клетчатых, ребристых домов-транзисторов, домов-башен, издали ни дать ни взять напоминающие губную гармонику, поставленную вертикально...

Я люблю проезжать мимо них, среди разноцветных пластмассовых балконов, гордясь торжеством своего государства, которое с неслыханной быстротой превратило уездную Россию в мировую индустриальную сверхдержаву, о чем в нашей юности могло только мечтаться.

Теперь это кажется вполне естественным.

До поры до времени старую Москву, ее центральную часть не трогали. Почти все старые московские уголки и связанные с ними воспоминания оставались примерно прежними и казались навечно застывшими, кроме, конечно, Тверской, превратившейся в улицу Горького и совершенно переменившейся. Впрочем, к улице Горького я почему-то скоро привык и уже с трудом мог восстановить в памяти, где какие стояли церкви, колокольни, ма-

газины, рестораны. Преображение Тверской не слишком задевало мои чувства, хотя я часто и грустил по онегинской Тверской, по ее призраку.

Я был житель другого района.

Другой район являлся, в сущности, совсем другим миром.

Я почти неощутимо пережил эпоху новых мостов через Москву-реку и передвижение громадных старых домов с одного места на другое, эпоху строительства первых линий метрополитена, исчезновение храма Христа Спасителя, чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят.

Теперь вместо него плавательный бассейн с вечной шапкой теплого пара над его изумрудной водой, теплой — можно купаться даже в лютые морозы.

...Но на месте плавательного бассейна я до сих пор вижу призрак храма Христа Спасителя, на ступенях которого перед бронзовой дверью сижу я, обняв за плечи синеглазку, и мы оба спим, а рассвет приливает, где-то вверху жужжит аэроплан, и мне кажется, что все вокруг, весь город умерщвлен каким-то новым газом так, как якобы уже началась новая война, и мы с синеглазкой тоже уже умерщвлены, нас уже нет в живых, а мы только две обнявшиеся тени...

Потом наступила более тягостная эпоха перестановки и уничтожения памятников. Незримая всевластная рука переставляла памятники, как шахматные фигуры, а иные из них вовсе сбрасывала с доски.

Она переставила памятник Гоголю работы гениального Андреева, тот самый памятник, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувши свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели — почти весь потонув в этой шинели,— с Арбатской площади во двор особняка, где по преданию сумасшедший писатель сжег в камине вторую часть «Мертвых душ», а на его место водрузила другого Гоголя — во весь рост, в коротенькой пелеринке, на скучном официальном пьедестале, не то водевильный артист, не то столоначальник, лишенный всякой индивидуальности и поэзии.

Когда я приехал впервые в Москву, улица Кирова была еще Мясницкой и по ней, кривой и извилистой, я ехал с Курского вокзала на извозчичьих санках, на так называемом «ваньке» из числа тех, на которых еще езживал Антон Чехов, застегнувшись суконкой — проеденной молью полостью на рыбьем меху.

Москва еще казалась мне непознаваемой, как страшный сон.

Несмотря на мартовский снег, кружившийся среди не знакомых мне столичных домов, я уже слышал в воздухе что-то, обещающее весну.

Сани ныряли с ухаба на ухаб, увозя меня по неведомым улицам неведомо куда — в метель, в только что зажегшиеся страусовые яйца голубоватых электрических фонарей на Лубянской площади, посередине которой возвышался засыпанный снегом итальянский фонтан, а извозчик в касторовой шляпе-цилиндре с металлической пряжкой время от времени почмокивал губами, понукая свою клячу, и приговаривал традиционную извозчичью присказку:

— С горки на горку, барин даст на водку.

А барин-то был в потертом пальтишке, перешитом из солдатской шинели, и в ногах у него стояла плетеная корзинка, запертая вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья.

Начинался третий год революции.

Впоследствии Мясницкую переименовали в улицу Первого мая, потом как-то незаметно в шуме нэпа она опять стала Мясницкой и оставалась ею до тех пор, пока не получила окончательное название — улица Кирова, вероятно, в память того сумрачного декабрьского денька, когда посередине улицы по неубранному снегу, издавая тягостный звук мельничного жернова, поворачивались колеса пушечного лафета с низко установленным гробом с телом убитого Кирова, перевозившегося с Ленинградского вокзала в Колонный зал Дома Союзов, а за лафетом темной толпой шли провожающие, наступая на хвойные крестики и матерчатые цветочки, падающие с венков на свинцовый декабрьский снег.

...по воле случая я шел в похоронной процессии, ужасаясь зрелищу, свидетелем которого мне довелось стать...

Эту картину память принесла мне из сравнительно недавнего прошлого, а еще раньше, в то время, когда улица называлась Мясницкой, мне суждено было судьбой жить в ее районе...

...вдруг тормоза взвизгнули, машина резко затормозила перед красным светофором. Если бы не пристегнутые ремни, я бы мог стукнуться головой о ветровое стекло. Это, несомненно, был перекресток Кировской и Бульварного кольца, но какая странная пустота открылась передо мной на том месте, где я привык видеть Водопьяный переулок. Его не было. Он исчез, этот Водопьяный переулок. Он просто больше не существовал. Он исчез вместе со всеми домами, составлявшими его. Как будто их всех вырезали из тела города. Исчезла библиотека имени Тургенева. Исчезла булочная. Исчезла междугородная переговорная. Открылась непомерно большая площадь — пустота, с которой трудно было примириться. Пустота казалась мне незаконной, противоестественной, как то непонятное, незнакомое пространство, которое иногда приходится преодолевать во сне: все вокруг знакомо, но вместе с тем совсем незнакомо и не знаешь, куда надо идти, чтобы вернуться домой, и ты забыл, где твой дом, в каком направлении надо идти, и ты идешь одновременно по разным направлениям, но каждый раз оказываешься все дальше и дальше от дома, а между тем ты отлично знаешь, что твой дом где-то совсем рядом, рукой подать, он есть, существует, но его не видно, он как бы в другом измерении. Он стал невидимкой.

Реконструкция знакомого перекрестка была сродни выпадению из памяти. В Москве уже стали выпадать целые кварталы. Выпала добрая половина перекрестка, к которому издавна тяготел тот особый старомосковский мир поэтов и художников, куда меня случайно занесло в первый же день пребывания в Москве и долго потом держало в плену.

Пока мы стояли у красного светофора, пропуская поперечный транспорт, я все никак не мог смириться с мыслью, что Водопьяного переулка больше не существует.

Не существует дома, где проходила большая часть

жизни Командора в той странной нигилистической семье, где он был третий и где помещался штаб лефов, гонявших чаи с вареньем и пирожными, покупавшимися отнюдь не в Моссельпроме, который они рекламировали, а у частников — известных еще с дореволюционных времен кондитеров Бартельса с Чистых прудов и Дюваля с Покровки, угол Машкова переулка.

Не существует и входной двери, ведущей с грязноватой лестницы в их интеллигентное логово со стеллажами, набитыми книгами, и с большим чайным столом, покрытым камчатной скатертью.

Дверь эта, выбеленная мелом, была исписана вдоль и поперек автографами разных именитых и неименитых посетителей, тяготевших к ЛЕФу, среди которых какая-то коварная рука умудрилась отчетливо вывести анилиновым карандашом стихотворный пасквиль.

Командор в одной из своих поэм описал эту часть Москвы следующими скупыми словами. Он тогда стремился к простоте и лаконизму и даже однажды сказал: «Язык мой гол».

«Лубянский проезд. Водопьяный. Вид вот. Вот фон».

Он делил свою жизнь между Водопьяным переулком, где принужден был наступать на горло собственной песне, и Лубянским проездом, где в многокорпусном доходном, перенаселенном доме, в коммунальной квартире у него была собственная маленькая холостяцкая комнатка с почерневшим нетопленым камином, шведским бюро с задвигающейся шторной крышкой и на белой стене вырезанная из журнала и прикрепленная кнопкой фотография Ленина на высокой трибуне, подавшегося всем корпусом вперед, с протянутой в будущее рукой.

Здесь, оставаясь наедине сам с собой, он уже не был главнокомандующим Левым фронтом, отдающим гневные приказы по армии искусств:

«А почему не атакован Пушкин? А прочие генералы классики?»

Здесь он не писал, «нигде кроме, как в Моссельпроме» и «товарищи девочки, товарищи мальчики, требуйте у мамы эти мячики», подаваемые теоретиками из Водопьяно-

го переулка чуть ли не как сверхновая форма классовой борьбы, чуть ли не как революционная пропаганда нового мира и ниспровержение старого, от которого «нами оставляются только папиросы „Ира"».

Здесь он писал:

«...я себя под Лениным чищу».

Здесь же он поставил и точку в своем конце.

И сейчас еще слышатся мне широкие, гулкие шаги Командора на пустынной ночной Мясницкой между уже не существующим Водопьяным и Лубянским проездом, переименованным в проезд Серова.

К перекрестку Мясницкая — Бульварное кольцо тяготело несколько зданий, ныне исторических.

Не говоря уже о Главном почтамте, географическом центре Москвы, откуда отсчитывались версты дорог, идущих в разные стороны от белокаменной, первопрестольной, здесь находился Вхутемас, в недавнем прошлом Школа ваяния и зодчества, прославленная именами Серова, Врубеля, Левитана, Коровина.

Сюда захаживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими живописцами, своими сверстниками.

Здесь обитал художник Л. Пастернак и рос его сын, который, вспоминая свою юность, впоследствии написал:

«Мне четырнадцать лет. Вхутемас еще школа ваянья... Звон у Флора и Лавра сливается с шарканьем ног... Раздается звонок, голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

Помню маленькую церквушку Флора и Лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к ампирным колоннам полукруглого крыла Вхутемаса. Церковка эта вдруг как бы на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода Метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли.

Да, еще рядом с Вхутемасом, против Почтамта, чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской, с фигурами двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор, и до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая.

...А потом уже не помню что...

...во дворе Вхутемаса, куда можно было проникнуть с Мясницкой через длинную темную трубу подворотни, было, кажется, два или три высоких кирпичных неоштукатуренных корпуса. В одном из них находились мастерские молодых художников. Здесь же в нетопленой комнате существовал как некое допотопное животное — мамонт! — великий поэт, председатель земного шара, будетлянин, странный гибрид панславизма и Октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которые без всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее к груди.

Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитами, он жил в своей запущенной комнате.

Тут же рядом гнездился левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, вьюн по природе, автор легендарной строчки «Дыр, бул, щир». Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в десятифунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Вьюн — так мы будем его называть — промышлял перекупкой книг, мелкой картежной игрой, собирал автографы никому не известных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся, внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно-крикливым детским голосом свои стихи, причем приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кривлялся своим остроносым лицом мальчика-старичка.

У него было пергаментное лицо скопца.

Он весь был как бы заряжен неким отрицательным током антипоэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии.

По сравнению с ним сам великий будетлянин иногда казался несколько устаревшим, а Командор просто архаичным.

В общежитии обитали ученики Вхутемаса, которым

Октябрьская революция открыла двери в искусство, «принадлежавшее народу». Все эти обросшие бородами молодые провинциалы оказались в живописи крайне левыми. Даже кубизм казался им слишком буржуазно-отсталым. Перемахнув через Пикассо голубого периода и через все его эксперименты с разложением скрипки в разных плоскостях, молодые вхутемасовцы вместе со своим же собратом московским художником Кандинским изобрели новейшее из новейших течений в живописи — абстракционизм, который впоследствии перекочевал в Париж, обосновался на Монпарнасе, где, к общему удивлению, держится до сих пор, доживая, впрочем, свои последние дни.

Но тогда, в нищей, голодной, зажатой в огненном кольце наступающей со всех сторон контрреволюции Советской России, в самом ее сердце, в красной Москве, в центре Москвы, против Главного почтамта, в общежитии Вхутемаса это сверхреволюционное направление буйно процветало. Все стены были увешаны полотнами и картинами без рам с изображениями различных плоскостных геометрических фигур: красных треугольников на зеленом фоне, лиловых квадратов на белом фоне, интенсивно оранжевых полос и прямоугольников, пересекающихся на фоне берлинской лазури.

Царили Лавинский, Родченко, Клюн...

К этому времени относится посещение Лениным Вхутемаса, о котором только и шло разговоров в ту раннюю весну, когда я приехал в Москву.

Говорили, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна в вязаном платке поверх меховой шапочки приехали во Вхутемас на извозчичьих санях. Воображаю, какое было выражение лица у Ленина, когда он увидел на стенах картины с разноцветными треугольниками и квадратиками!

Теперь это уже стало общеизвестным фактом, историей. А тогда еще ходило среди жителей перекрестка как легенда.

Но один лишь факт, что где-то здесь совсем недавно и совсем недалеко от угла Мясницкой и Бульварного кольца, в доме, знакомом всем, побывал сам Ленин,— уже одно это казалось мне чудом и как бы еще больше приобщало меня к революции.

Во дворе Вхутемаса, в другом скучном, голом, кирпичном корпусе, на седьмом этаже, под самой крышей жил со своей красавицей женой Ладой бывший соратник и друг мулата по издательству «Центрифуга», а ныне друг и соратник Командора — замечательный поэт, о котором Командор написал:

«...есть у нас еще Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько! Маленькая, но семья».

...но мы еще с вами поднимемся на седьмой этаж, в комнату соратника.

Справа от упомянутого перекрестка, если стать лицом к Лубянке, за маленькой площадью с библиотекой имени Тургенева, прямо на Сретенский бульвар выходили громадные оранжевокирпичные корпуса бывшего страхового общества «Россия», где размещались всякие лито-, тео-, музо-, киноорганизации того времени, изображенные Командором в стихотворении «Прозаседавшиеся», так понравившемся Ленину. В том же доме в Главполитпросвете работала Крупская по совместительству с работой в Наркомпросе РСФСР — по другую сторону перекрестка, в особняке на Чистых прудах, под началом Луначарского.

Крупскую и Луначарского можно было в разное время запросто встретить на улице в этих местах: ее — серебряно поседевшую, гладко причесанную, в круглых очках с увеличительными стеклами, похожую на пожилую сельскую учительницу; его — в полувоенном френче фасона Февральской революции, с крупным дворянским носом, как бы вырубленным из дерева, на котором сидело сугубо интеллигентское пенсне в черной оправе, весьма не подходившее к полувоенной фуражке с мягким козырьком вроде той, которую так недолго нашивал Керенский, но зато хорошо дополняющее темные усы и эспаньолку а-ля «Анри катр»,— типичного монпарнасского интеллектуала, завсегдатая «Ротонды» или «Клозери де Лила», знатока всех видов изящных искусств, в особенности итальянского Возрождения, блестящего оратора, умевшего без подготовки, экспромтом, говорить на любую тему подряд два часа, ни разу не запнувшись и не запутавшись в слишком длинных придаточных предложениях.

Рядом с Наркомпросом находился товарный двор Главного почтамта, куда въезжали в то время еще не грузовики, а ломовики, нагруженные почтовыми посылками, и оттуда потягивало запахом сургуча, пенькового шпагата, рогож, конского навоза, крупными дымящимися яблоками валившегося из-под хвостов першеронов к неописуемой радости откормленных чистопрудных, вполне старорежимных воробьев.

Напротив же, если по прямой линии пересечь Чистопрудный бульвар, где в июне густоцветущие липы разливали медовый, глубоко провинциальный аромат вечной весны, можно было попасть в тот самый Харитоньевский переулок, куда некогда из деревни привезли бедную Таню Ларину на московскую ярмарку невест.

В Харитоньевский переулок выходило еще несколько других переулков, в одном из которых — Мыльниковом — поселился я, приехав в Москву, а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья, ринувшиеся с юга, едва только кончилась гражданская война, на завоевание Москвы: ключик, брат и друг, птицелов, наследник и прочие.

Мыльников переулок был известен тем, что в другом его конце от Харитония находилось здание бывшего училища Фидлера, хранившее на своих стенах следы артиллерийского обстрела еще времен первой революции 1905 года, когда здесь был штаб боевых дружин и его обстреливали из пушек карательные войска полковника Римана.

Следующим за Мыльниковым в Харитоньевский выходил Машков переулок. Здесь в высоком, многоквартирном, богатом доме предреволюционной постройки в несколько скандинавском стиле, что было тогда модно, в барских апартаментах Екатерины Павловны Пешковой, жены Максима Горького, в самый разгар гражданской войны, отвлекшись на часок от своих дел, Ленин слушал «Апассионату» Бетховена, опустив голову на руку и полузакрыв узкие глаза — весь отдавшийся во власть музыки, тревожившей и вместе с тем усыплявшей воображение.

Вероятно, очень много выпало из моей памяти.

Запомнилось, как однажды по Харитоньевскому переулку ехал старомодно высокий открытый автомобиль и

на заднем сиденье среди каких-то полувоенных заметно возвышалась худая фигура Максима Горького, с любопытством посматривавшего вокруг. Он был в своей общеизвестной шляпе. Из его пшеничных солдатских усов над бритым подбородком торчал мундштук с дымящейся египетской сигареткой.

Великий пролетарский писатель только что вернулся на родину после долгого пребывания в Сорренто и, пережив волнение и восторг всенародной встречи на площади Белорусско-Балтийского вокзала, уже став национальным героем, ехал к себе домой, на старую квартиру в Машков переулок.

Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара.

Обо многом мог бы еще поведать — и, надеюсь, поведает в этом сочинении — перекресток Мясницкой и Бульварного кольца, по которому, рассыпая из-под колес искры, катились провинциальные вагончики трамвая буквы А, в просторечии «Аннушки».

Но лучше всего запомнился мне Архангельский переулок, выходивший рядом с Наркомпросом на Чистые пруды, которые в ту пору я считал как бы своей вотчиной.

Архангельский переулок впадал в Кривоколенный. В Кривоколенном, в этом самом изломанном, длиннейшем и нелепейшем переулке во всей Москве, помещалась редакция первого советского толстого журнала «Красная новь», основанного по совету самого Ленина. Туда часто захаживали почти все писатели тогдашней Москвы.

Захаживал, вернее забегал, также и я.

И вот однажды по дороге в редакцию в Архангельском переулке я и познакомился с наиболее опасным соперником Командора, широкоизвестным поэтом — буду его называть с маленькой буквы королевичем,— который за несколько лет до этого сам предсказал свою славу:

«Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт».

Он не ошибся, он стал знаменитым русским поэтом.

Я еще с ним ни разу не встречался. Со всеми знаменитыми я уже познакомился, со многими подружился, с некоторыми сошелся на ты. А с королевичем — нет. Он был в своей легендарной заграничной поездке вместе с прославленной на весь мир американской балериной-босоножкой, которая была в восхищении от русской революции и выбегала на сцену московского Большого театра в красной тунике, с развернутым красным знаменем, исполняя под звуки оркестра свой знаменитый танец «Интернационал». У нее в Москве в особняке на Пречистенке была студия молоденьких балерин-босоножек, и ее слава была безгранична. Она как бы олицетворяла собой вторжение советских революционных идей в мир увядающего западного искусства.

В области балета она, конечно, была новатором. Луначарский был от нее в восторге. Станиславский тоже.

Бурный роман королевича с великой американкой на фоне пуританизма первых лет революции воспринимался в московском обществе как скандал, что усугубилось довольно значительной разницей лет между молодым королевичем и босоножкой бальзаковского возраста. В совсем молодом мире московской богемы она воспринималась чуть ли не как старуха. Между тем люди, ее знавшие, говорили, что она была необыкновенно хороша и выглядела гораздо моложе своих лет, слегка по-англосаксски курносенькая, с пышными волосами, божественно сложенная.

Так или иначе, она влюбила в себя рязанского поэта, сама в него влюбилась без памяти, и они улетели за границу из Москвы на дюралевом «юнкерсе» немецкой фирмы «Люфтганза». Потом они совершили турне по Европе и Америке.

Один из больших остряков того времени пустил по этому поводу эпиграмму, написанную в нарочито архаической форме александрийского шестистопника:

«Такого-то куда вознес аэроплан? В Афины древние, к развалинам Дункан».

Это было забавно, но несправедливо. Она была далеко не развалина, а еще хоть куда!

Изредка доносились слухи о скандалах, которые время от времени учинял русский поэт в Париже, Берлине, Нью-Йорке, о публичных драках с эксцентричной американкой, что создало на Западе громадную рекламу бесшабашному крестьянскому сыну, рубахе-парню, красавцу и драчуну с загадочной славянской душой.

Можно себе представить, до каких размеров вырастали эти слухи в Москве, еще с грибоедовских времен сохранившей славу первой сплетницы матушки России.

Но вот королевич окончательно разодрался со своей босоножкой и в один прекрасный день снова появился в Москве — «как денди лондонский, одет».

Все во мне вздрогнуло: это он!

А рядом с ним шел очень маленький, ростом с мальчика, с маленьким носиком, с крупными передними зубами, по-детски выступающими из улыбающихся губ, с добрыми, умными, немного лукавыми, лучистыми глазами молодой человек. Он был в скромном москошвеевском костюме, впрочем при галстуке, простоватый на вид, да себе на уме. Так называемый человек из народа, с которым я уже был хорошо знаком и которого сердечно любил за мягкий характер и чудные стихи раннего революционного периода, истинно пролетарские, без подделки; поэзия чистой воды: яркая, весенняя, как бы вечно первомайская.

«Мой отец — простой водопроводчик, ну, а мне судьба судила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, я стихов вызваниваю сеть».

Вот как писал этот поэт — сын водопроводчика из Немецкой слободы:

«Живей, рубанок, шибче шаркай, шушукай, пой за верстаком, чеши тесину сталью жаркой, стальным и жарким гребешком... И вот сегодня шум свиданья — и ты, кудрявясь второпях, взвиваешь теплые воспоминанья о тех возлюбленных кудрях»...

Как видите, он уже не только был искушен в ассонансах, внутренних рифмах, звуковых повторах, но и позво-

лял себе разбивать четырехстопный ямб инородной строчкой, что показывало его знакомство не только с обязательным Пушкиным, но также с Тютчевым и даже Андреем Белым.

Окинувши нас обоих лучезарным взглядом, он не без некоторой торжественности сказал:

— Познакомьтесь.

Мы назвали себя и пожали друг другу руки. Я не ошибся. Это был *он*. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта, самородка, образ которого давно уже сложился в моем воображении, когда я читал его стихи: молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых березок легкой стопой идущий с котомкой за плечами в глухой, заповедный скит, сочинитель «Радуницы». Или бесшабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо. Или даже Ванька-ключник, злой разлучник, с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел:

молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого по последней парижской моде, в габардиновый светлый костюм — пиджак в талию,— брюки с хорошо выглаженной складкой, новые заграничные ботинки, весь с иголочки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щечками и по-девичьи нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чертиков, нечто настороженное: он как бы пытался понять, кто я ему буду — враг или друг? И как ему со мной держаться? Типичная русская, крестьянская черта.

Я это сразу почувствовал и, сердечно пожимая ему руку, сказал, что полюбил его поэзию еще с 1916 года, когда прочитал его стихотворение «Лисица».

— Вам понравилось? — спросил он, оживившись.— Теперь мало кто помнит мою «Лисицу». Всё больше восхищаются другим — «Плюйся, ветер, охапками листьев,— я такой же, как ты, хулиган». Ну и, конечно, «с бандитами жарю спирт...»

Он невесело усмехнулся.

— А я помню именно «Лисицу». Какие там удивительные слова, определения.

«Тонкой прошвой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо».

У подстреленной лисицы дремучее лицо! Во-первых, замечательный эпитет «дремучее», а во-вторых, не морда, а лицо. Это гениально! А как изображен выстрел из охотничьего ружья!

«Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалася в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь».

Что ни слово, то находка!

Я вспомнил январь 1916 года, прифронтовую железнодорожную станцию Молодечно. Неслыханная красота потонувшего в снегах Полесья. В нетопленом станционном помещении я купил в киоске несколько иллюстрированных журналов, с тем чтобы было что почитать в землянке на позициях, куда я ехал добровольцем. Уже сидя в бригадных санях, под усыпляющий звон валдайского колокольчика я развернул промерзший номер журнала «Нива» и сразу же наткнулся на «Лисицу» — небольшое стихотворение, подписанное новым для меня именем, показавшимся мне слишком бедным, коротким и невыразительным.

Но стихи были прекрасны.

Я увидел умирающую на снегу подстреленную лисицу.

«Как желна, над нею мгла металась, мокрый вечер липок был и ал. Голова тревожно подымалась и язык на ране застывал».

Я был поражен достоверностью этой живописи, удивительными мастерскими инверсиями: «...мокрый вечер липок был и ал». И наконец — «желтый хвост упал в метель пожаром, на губах — как прелая морковь»...

Прелая морковь доконала меня. Я никогда не представлял, что можно так волшебно пользоваться словом.

Я почувствовал благородную зависть — нет, мне так никогда не написать! Незнакомый поэт запросто перешагнул через рубеж, положенный передо мной Буниным и казавшийся окончательным.

Самое же главное было то, что я ехал на фронт, быть может на смерть. Вокруг меня розовели, синели, голубели предвечерние снега, завалившие белорусский лес. Среди векового бора, к которому я неумолимо приближался, сочилось кровью низкое закатное солнце, и откуда-то доносились приглушенные пространством редкие пушечные выстрелы...

...я мог бы назвать моего нового знакомого как угодно: инок, мизгирь, лель, царевич... Но почему-то мне казалось, что ему больше всего, несмотря на парижскую шляпу и лайковые перчатки, подходит слово «королевич»... Может быть, даже королевич Елисей...

Но буду его называть просто королевич, с маленькой буквы.

Пока я объяснялся ему в любви, он с явным удовольствием, даже с нежностью смотрел на меня. Он понимал, что я не льщу, а говорю чистую правду. Правду всегда можно отличить от лести. Он понял, что так может говорить только художник с художником.

— А я,— сказал он, отвечая любезностью на любезность,— только недавно прочитал в «Накануне» замечательный рассказ «Железное кольцо», подписанный вашей фамилией. Стало быть, будем знакомы.

Мы еще раз обменялись рукопожатием и с этой минуты стали говорить друг другу ты, что очень понравилось сыну водопроводчика. Он сиял своими лучистыми глазами и сказал, как бы навек скрепляя нашу дружбу:

— Вот так — очень хорошо. А то я боялся, что вы не сойдетесь: оба вы уж больно своенравны. Но, слава богу, обошлось.

Теперь, застрявши перед красным светофором на перекрестке Кировская — Бульварное кольцо, я так ясно представил себе тротуар короткого Архангельского переулка, вижу рядом странную, какую-то нерусскую колокольню — круглую башню и церковь, как говорят, по-

сещавшуюся масонами соседней ложи, и зеленоватые стволы деревьев, которые в моей осыпающейся памяти запечатлелись как платаны со стволами, пятнистыми, как легавые собаки, чего никак не могло быть на самом деле: где же в Москве найдешь платаны? Вероятно, это были обыкновенные тополя, распускавшие по воздуху хлопья своего пуха.

А в начале Чистых прудов, как бы запирая бульвар со стороны Мясницкой, стояло скучное двухэтажное здание трактира с подачей пива, так что дальнейшее не требует разъяснений.

Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я не стесняясь спросил королевича, какого черта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить, на что он, ничуть на меня не обидевшись, со слезами на хмельных глазах, с чувством воскликнул:

— Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест! — Он поискал глазами и перекрестился на старую трактирную икону.— Хошь верь, хошь не верь: я ее любил. И она меня любила. Мы крепко любили друг друга. Можешь ты это понять? А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!

Он положил свою рязанскую кудрявую голову на мокрую клеенку и заплакал, бормоча:

— ...и какую-то женщину сорока с лишним лет... называл своей милой...

Вероятно, это были заготовки будущего «Черного человека».

Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я видел станцию метро «Кировская» и памятник Грибоедову, я предчувствовал его ужасный конец. Почему? Не знаю!

Примерно года за полтора до самоуничтожения королевича мне удалось вытащить в Москву птицелова. Казалось, что, подобно эскессу, он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом.

Он уже был женат на вдове военного врача. У него недавно родился сын. Он заметно пополнел и опустился. Жена его, добрая женщина, нежно его любила, берегла, шила из своих старых платьев ему толстовки — так назывались в те времена длинные верхние рубахи вроде тех дворянских охотничьих рубах, которые носил Лев Толстой, но только со складками и пояском. Он жил стихотворной, газетной поденщиной в тех немногочисленных русских изданиях, которые еще сохранились. Украинский язык ему не давался. Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с надсадой вдыхал его селитренный дым.

Но стихи «для души» писать не бросил.

По-прежнему в небольшой комнате с крашеным полом, среди сохнувших детских пеленок и стука швейной машинки, среди птичьих клеток его окружали молодые поэты, его страстные и верные поклонники, для которых он был божеством. Он читал им свои и чужие стихи, тряся нестриженой, обросшей головой со следами былого пробора, и по-борцовски напрягал бицепсы полусогнутых рук.

Приехав из Москвы и увидев эту картину, я понял, что оставаться птицелову в Одессе невозможно. Он погибнет. Ему надо немедленно переезжать в Москву, где уже собрался весь цвет молодой русской советской литературы, где гремели имена прославленных поэтов, где жизнь била ключом, где издавались русские книги и журналы.

На мое предложение ехать в Москву птицелов ответил как-то неопределенно: да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже недурно, хотя, в общем, паршиво, но я привык. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка... и вообще есть литературный кружок «Потоки», ну и, сам понимаешь...

— К черту! — сказал я.— Сейчас или никогда!

К счастью, жена птицелова поддержала меня:

— В Москве ты прославишься и будешь зарабатывать.

— Что слава? Жалкая зарплата на бедном рубище певца,— вяло сострил он, понимая всю несостоятельность этого старого жалкого каламбура. Он произнес его наро-

чито жлобским голосом, как бы желая этим показать себя птицеловом прежних времен, молодым бесшабашным остряком и каламбуристом.

— За такие остроты вешают,— сказал я с той беспощадностью, которая была свойственна нашей компании.— Говори прямо: едешь или не едешь?

Он вопросительно взглянул на жену. Она молчала. Он посмотрел на увеличенный фотографический портрет военного врача в полной парадной форме — покойного мужа его жены.

Птицелов чрезвычайно почтительно относился к своему предшественнику и каждый раз, глядя на его портрет, поднимал вверх указательный палец и многозначительным шепотом произносил:

— Канцлер!

Он вопросительно посмотрел на портрет «канцлера». Но канцлер — строгий, с усами, в серебряной портупее через плечо и с узкими серебряными погонами — молчал.

Птицелов подумал, потряс головой и солидно сказал:

— Хорошо. Еду. А когда?

— Завтра,— отрезал я, понимая, что надо ковать железо, пока горячо.

— А билеты? — спросил он, сделав жалкую попытку отдалить неизбежное.

— Билеты будут,— сказал я.

— А деньги? — спросил он.

— Деньги есть.

— Покажи.

Я показал несколько бумажек.

Птицелов еще более жалобно посмотрел на жену.

— Поедешь, поедешь, нечего здесь...— ворчливо сказала она.

— А что я надену в дорогу?

— Что есть, в том и поедешь,— грубо сказал я.

— А кушать? — уже совсем упавшим голосом спросил он.

— В поезде есть вагон-ресторан.

— Ну это ты мне не заливай. Дрельщик! — сказал он, искренне не поверив в вагон-ресторан. Это показалось ему настолько фантастичным, что он даже назвал меня этим жаргонным словом «дрельщик», что обозначало фантазер, выдумщик, врунишка.

— Вообрази! — сказал я настолько убедительно, что ему ничего не оставалось как сдаться, и мы условились встретиться завтра на вокзале за полчаса до отхода поезда.

...Солнце жгло крашеный пол, и на крашеных подоконниках выскочили волдыри...

Я хорошо изучил характер птицелова. Я знал, что он меня не обманет и на вокзал придет, но я чувствовал, что в последний момент он может раздумать. Поэтому я приготовил ему ловушку, которая, по моим расчетам, должна была сработать наверняка.

Незадолго до отхода поезда на перроне действительно появился птицелов в сопровождении супруги, которая несла узелок с его пожитками и едой на дорогу. По его уклончивым взглядам я понял, что в последнюю минуту он улизнет.

Мы прохаживались вдоль готового отойти поезда. Птицелов кисло смотрел на зеленые вагоны третьего класса, бормоча что-то насчет мучений, предстоящих ему в жестком вагоне, в духоте, в тряске и так далее, он даже вспомнил при сей верной оказии Блока:

«...молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели»...

Он не хотел ехать среди пенья и плача.

— Знаешь,— сказал он, надуваясь, как борец-тяжеловес,— сделаем лучше так: ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно. Даю честное слово. Бенимунис,— не мог не прибавить он еврейскую клятву и посмотрел на свою жену.

Она, в свою очередь, посмотрела на птицелова, на его угнетенную фигуру, и ее нежное сердце дрогнуло.

— Может быть, действительно...— промямлила она полувопросительно.

Ударил первый звонок.

Тогда я выложил свою козырную карту.

— А ты знаешь, в каком вагоне мы поедем?

— А в каком? Наверное, в жестком, бесплацкартном.

— Мы поедем вот в этом вагоне,— сказал я и пока-

зал пальцем на сохранившийся с дореволюционного времени вагон международного общества спальных вагонов с медными британскими львами на коричневой деревянной обшивке, натертой воском, как паркет.

О существовании таких вагонов — «слипинг кар» — птицелов, конечно, знал, читал о них в книжках, но никак не представлял себе, что когда-нибудь сможет ехать в таком вагоне. Он заглянул в окно вагона, увидел двухместное купе, отделанное красным полированным деревом на медных винтах, стены, обтянутые зеленым рытым бархатом, медный абажур настольной электрической лампочки, тяжелую пепельницу, толстый хрустальный графин, зеркало и все еще с недоверием посмотрел на меня.

Я показал ему цветные плацкартные квитанции международного общества спальных вагонов, напечатанные на двух языках, после чего, печально поцеловавшись с женой и попросив ее следить за птичками и за сыном, неуклюже протиснулся мимо проводника в коричневой форменной куртке в вагон, где его сразу охватил хвойный запах особой лесной воды, которой регулярно пульверизировался блистающий коридор спального вагона с рядом ярко начищенных медных замков и ручек на лакированных, красного дерева дверях купе.

Чувствуя себя крайне сконфуженным среди этого комфорта в своей толстовке домашнего шитья, опасаясь в глубине души, как бы все это не оказалось мистификацией и как бы нас с позором не высадили из поезда на ближайшей станции, где-нибудь на Раздельной или Бирзуле, птицелов вскарабкался на верхнюю полку с уже раскрытой постелью, белеющей безукоризненными скользкими прохладными простынями, забился туда и первые сто километров сопел, как барсук в своей норе, упруго подбрасываемый международными рессорами.

До Москвы мы ехали следующим образом:

я захватил с собой несколько бутылок белого сухого бессарабского, в узелке у птицелова оказались хлеб, брынза, завернутые в газету «Моряк», и в течение полутора суток, ни разу не сомкнув глаз, мы читали друг другу свои и чужие стихи, то есть занимались тем, чем привыкли заниматься всегда, и везде, и при любых обстоятельствах: дома, на Дерибасовской, на Ланжероне, в Отраде и даже на прелестной одномачтовой яхте английской постройки «Чайка», куда однажды не без труда уда-

лось затащить птицелова, который вопреки легенде ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе чем на двадцать шагов.

Я уж не говорю о купании в море: это исключалось.

...на «Чайку» налетел с Дофиновки внезапный шквал. Яхту бросало по волнам. Наши девушки спрятались в каюте. А птицелов лежал пластом на палубе лицом вниз, уцепившись руками за медную утку, проклиная все на свете, поносил нас последними словами, клялся, что никогда в жизни не ступит на борт корабля, и в промежутках читал, кажется, единственное свое горькое любовное стихотворение, в котором, сколько мне помнится, «металась мокрая листва» и было «имя Елены строгое» или нечто подобное.

Значит, и он тоже перенес некогда неудачную любовь, оставившую на всю жизнь рубец в его сердце, в его сознании, что, может быть, даже отразилось на всей его поэзии. Недаром же в его стихах о Пушкине были такие слова:

«...рассыпанные кудри Гончаровой и тихие медовые глаза».

Не думаю, чтобы у Натальи Николаевны были рассыпанные кудри и медовые глаза. Судя по портретам, у нее были хорошо причесанные волосы а-ля директуар, а глаза были отнюдь не тихие медовые, а черносмородинные, прелестные, хотя и слегка близорукие.

...А рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую однажды в юности так страстно полюбил птицелов и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером...

Я думаю, у всех нас, малых гениев, в истоках нашей горькой поэзии была мало кому известная любовная драма — чаще всего измена любимой, крушение первой любви,— рана, которая уже почти никогда не заживала, кровоточила всю жизнь.

У ключика тоже. Об этом я еще расскажу, хотя это скорее материал для психоанализа, а не для художественной прозы.

...в купе международного вагона, попивая горьковатое белое бессарабское, налитое в тяжелые стаканы с подстаканниками, которые дробно позванивали друг о друга в темпе мчавшегося курьерского, птицелов читал свои новые, еще не известные мне стихи.

...слышу его задыхающийся голос парнасца, как бы восхищенного красотой созданных им строф. Отрывки стихов сливались с уносящимися телеграфными столбами и пропадали среди искалеченных еще во время гражданской войны станционных водокачек, степных хуторов, местечек, черноземных просторов, где некогда носилась конница Котовского,— словом, там, где сравнительно недавно гремела революция, в которую мы так страстно были влюблены.

Строфы разных стихотворений смешивались между собой, превращаясь в сумбурную, но прекрасную поэму нашей молодости.

...«Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалясь на корме, да видеть звезду над бушпритом склоненным, да голос ломать черноморским жаргоном, да слушать сквозь ветер холодный и горький мотора дозорного скороговорку... и петь, задыхаясь на страшном просторе: «Ай, Черное море, хорошее море!..»

«За проселочной дорогой, где затих тележный грохот, над прудом, покрытым ряской, Дидель сети разложил. И пред ним, зеленый снизу, голубой и синий сверху,— мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит. Так идет веселый Дидель с палкой, птицей и котомкой через Гарц, поросший лесом, вдоль по рейнским берегам. По Тюрингии дубовой, по Саксонии сосновой, по Вестфалии бузинной, по Баварии хмельной, Марта, Марта, надо ль плакать, если Дидель ходит в поле, если Дидель свищет птицам и смеется невзначай!»

...ему хотелось быть и контрабандистом, и чекистом, и Диделем... Ему хотелось быть Виттингтоном...

«Мы сваи поднимали в ряд, дверные прорубали ниши, из листьев пальмовых накат накладывали вместо крыши. Мы балки поднимали ввысь, лопатами срывали скалы... «О, Виттингтон, вернись, вернись»,— вода у взморья ворковала. Прокладывали наугад дорогу средь степ-

ных прибрежий. «О, Виттингтон, вернись назад»,— нам веял в уши ветер свежий. И с моря доносился звон, гудевший нежно и невнятно: «Вернись обратно, Виттингтон, о Виттингтон, вернись обратно!»

Он был каким-то Виттингтоном, которого нежный голос жены звал вернуться обратно. Но время было необратимо. Он мчался к славе, и возврата к прошлому не было.

Никогда он больше не увидит крашеный подоконник, раскаленный южным солнцем до пузырей.

Никогда уже больше мы не были с птицеловом так душевно близки, как во время этой поездки. Во времена Пушкина о нас бы сказали, наверное, так:

«Пленники Бахуса и Феба».

На горизонте, за подмосковными лесами нам уже блеснула на солнце звезда золотого купола Христа Спасителя и две тени — ее и моя,— сидевшие на ступенях храма, а за нами величественно возвышалась массивная бронзовая дверь.

Она прижалась ко мне так доверчиво, так печально. Она положила на мое плечо свою голову в самодельной шелковой шляпке с большими полями на проволочном каркасе. Шляпа мешала и ей и мне: она не позволяла нам поцеловаться. Почему-то ей не пришло в голову снять и положить шляпу на гранитные ступени.

Мы не спали почти целые сутки, навсегда прощались и все никак не могли оторваться друг от друга. Нам казалось невероятным, что мы уже никогда не увидимся. В этот мучительно длинный летний день мы любили друг друга сильнее, чем за все время нашего знакомства. Казалось, мы не сможем прожить и одного дня друг без друга. И в то же время мы знали, что между нами навсегда все кончено.

Какая же страшная сила разлучала нас?

Не знаю. Не знал ни тогда, ни теперь, когда пишу эти строки. Она тоже не знала. И никогда не узнает, потому что ее уже давно нет на свете. Никто не знал. Это было вмешательство в человеческую жизнь роковой силы как бы извне, не подвластной ни человеческой логике, ни простым человеческим чувствам.

Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы.

Мы старались как могли отдалить минуту разлуки. Держась за руки, как играющие дети, мы ходили по городу, садились в трамваи, ехали куда-то, пили чай в трактирах, сидели на деревянных скамейках вокзалов, заходили на дневные сеансы кинематографов, смотрели картины, ничего не понимая, кроме того, что скоро будем навеки разлучены.

Каким-то образом мы очутились в самый разгар палящего дня этого московского, как сказал бы щелкунчик — буддийского, лета в Сокольническом запущенном парке, в самой глуши леса, в безлюдье, в высокой траве, в бурьяне, пожелтевшем от зноя, среди поникших ромашек, по которым ползали муравьи, трудолюбиво выполняя свою работу.

Она сняла и отбросила в сторону шляпу, портившую ее прелестное круглое личико восемнадцатилетней девушки. Лежа на спине, она неподвижно смотрела синими невинными глазами в небо. Совсем девочка, прилежная школьница с немного выдающимся кувшинчиком нижней губы, что придавало выражению ее милого, мягко сточенного лица, неуловимо похожего на лицо старшего брата, нечто насмешливое, но не ироничное, а скорее светящееся умным юмором, свойственным интеллигентным южным семьям, выписывающим «Новый Сатирикон» и любящим Лескова и Гоголя.

Я подсунул руку под ее нежную шею. Она полуоткрыла жаркие губы, как бы прося напиться: над нами парами летали некрасивые московские бабочки. И я не знаю, как бы сложилась в дальнейшем наша жизнь, если бы вдруг мимо нас, с трудом пробираясь по плечи в траве, под звуки барабана не прошел маленький отряд пионеров в белых рубашках и красных гастуках.

Мы отпрянули друг от друга.

И когда пионеры скрылись в зарослях Сокольнического леса, мы поняли, что бессильны противостоять той злой таинственной силе, которая не хотела, чтобы мы навсегда принадлежали друг другу.

Она поправила шелковую подвязку, надела шляпу, села.

А знойный день все продолжался и продолжался, переходил в вечер, потом в душную ночь с зарницами, и

мы ходили по Москве, по ее Садовому кольцу, которое в то время было еще действительно садовым, так как сплошь состояло из садиков перед маленькими домиками, потом по Бульварному кольцу, мимо Пушкина, Тимирязева с голубем на голове, мимо Гоголя, потонувшего в своей бронзовой шинели, потом по древним переулкам, мимо особняков Сивцева Вражка и Собачьей площадки, иногда целовались, плакали, пока наконец не очутились возле храма Христа Спасителя и сели, измученные, на его гранитные ступени, еще не остывшие после дневной жары, прижались друг к другу, немного вздремнули...

Близился рассвет. Город был пуст и мертв. Только где-то очень далеко и очень высоко слышался звук невидимого самолета, и мне показалось, что уже произошла непоправимая катастрофа, началась всемирная война и город вокруг нас был уже умерщвлен какими-то бесшумными химическими или физическими средствами, что нас — ни ее, ни меня — уже нет в живых, наши души отлетели и только остались два неподвижных тела, прижавшихся друг к другу в вечном сне на гранитной лестнице мертвого храма, лишенного божества, хотя мертвый золотой купол в лучах только что взошедшего мертвого солнца все еще продолжал жарко сиять над вымершей Москвой, над вымершими лесами Подмосковья, тот самый легендарный купол храма Христа Спасителя, который мы с птицеловом уже видели из окна международного вагона.

Легко представить то удовольствие, с которым я, считая себя старым москвичом, показывал приезжему провинциалу все достопримечательности столицы молодого Советского государства.

Сломивши сопротивление птицелова, я повел его сначала на Сухаревку, где купил ему более или менее приличные ботинки на картонной подошве — изделие известных кимрских сапожников,— а потом повел на Тверскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья, откуда птицелов вышел в тесноватом костюме с длинноватыми брюками.

Мне удалось заставить его постричься в парикмахерской, вымыть голову шампунем, и он ходил со мной по Москве сравнительно прилично одетый, стуча по тротуарам новыми ботинками.

Я водил его по редакциям, знакомил с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще мало известным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы.

Птицелов был молчалив, исподлобья посматривал по сторонам, многозначительно тряс головой, как бы поддакивая и желая сказать:

«Так-так... Да, да... очень хорошо... Прекрасно... Посмотрим, посмотрим»...

Впрочем, он принадлежал к тем счастливчикам, которым не приходится гоняться за славой. Слава сама гонялась за ними.

Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе. Молва о нем покатилась широкой волной. И моя слабенькая известность сразу же померкла рядом со славой птицелова.

Однако когда мы сидели на бронзовой цепи возле памятника Пушкину и сочиняли сонеты, молва о птицелове еще не дошла до ушей знаменитого королевича.

Беседа наша была душевной. Королевич, ничуть не кичась своей всероссийской известностью, по-дружески делился с нами, как теперь принято выражаться, творческими планами и жаловался на свою судьбу, заставившую его, простого деревенского паренька, жить в городе, лишь во сне мечтая о родной рязанской деревне.

Тут он, конечно, немного кокетничал, так как не таким уж простым был он парнем, успел поучиться в университете Шанявского, немного знал немецкий язык, потерся еще в Санкт-Петербурге среди знаменитых поэтов, однако время от времени в нем вспыхивала неодолимая жажда вернуться в Константиново, где на пороге рубленой избы с резными рязанскими наличниками на окошках ждала его старенькая мама в ветхом шушуне и шустрая сестренка, которую он очень любил.

...мы очутились в пивной, где жажда родной рязанской земли вспыхнула в королевиче с небывалой силой...

Стихи, которые мы, перебивая друг друга, читали, вдруг смолкли, и королевич, проливая горькие слезы и обнимая нас обеими руками, заговорил своим несколько надсадным голосом как бы даже с некоторым иностран-

ным акцентом (может быть, чуть-чуть немецким), неточно произнося гласные: «э» вместо «а», «е» вместо «и», «ю» вместо «у» и так далее. Акцент этот был еле заметен и не мешал его речи звучать вполне по-рязански.

— Братцы! Родные! Соскучился я по своему Константинову. Давайте плюнем на все и махнем в Рязань! Чего там до Рязани? Пустяки. По железке каких-нибудь три часа. От силы четыре. Ну? Давайте! А? Я вас познакомлю с моей мамой-старушкой. Она у меня славная, уважает поэтов. Я ей все обещаюсь да обещаюсь приехать, да все никак не вырвусь. Заел меня город, будь он неладен...

...несмотря на наши возражения, что, мол, как же это так вдруг, ни с того ни с сего ехать в Рязань?.. А вещи? А деньги? А то да се?

Королевич ничего и слышать не хотел. У него уже выработался характер капризной знаменитости: коли чего-нибудь захочется, то подавай ему сию же минуту. Никаких препятствий его вольная душа не признавала.

Вынь да положь!

Деньги на билеты туда, если скинуться, найдутся. До Рязани доедем. А от Рязани до Константинова каким образом будем добираться? Ну, это совсем пустое дело. На базаре в Рязани всегда найдется попутная телега до Константинова. И мужик с нас ничего не возьмет, потому что меня там каждый знает. Почтет за честь. Поедем на немазаной телеге по лесам, по полям, по березнячку, по родной рязанской земле!.. С шиком въедем в Константиново! А уж там не сомневайтесь. Моя старушка примет вас как родных. Драчен напечет. Самогону выставит на радостях. А назад как? Да очень просто: тут же я ударю телеграмму Воронскому в «Красную новь». Он мне сейчас же вышлет аванс. За это я вам ручаюсь! Ну, братцы, поехали!

Он был так взволнован, так настойчив, так убедительно рисовал нам жизнь в своем родном селе, которое уже представлялось нам чем-то вроде русского рая, как бы написанного кистью Нестерова. Мы с птицеловом заколебались, потеряв всякое представление о действитель-

ности, и вскоре очутились перед билетной кассой Казанского вокзала, откуда невидимая рука выбросила нам три картонных проездных билета, как бы простреленных навылет дробинкой, и королевич сразу же устремился на перрон, с тем чтобы тут же, не теряя ни секунды, сесть в вагон и помчаться в Рязанскую губернию, Рязанский уезд, Кузьминскую волость, в родное село, к маме.

Однако оказалось, что поезд отходит лишь через два часа, а до этого надо сидеть в громадном зале, расписанном художником Лансере.

Лицо королевича помрачнело.

Ждать? Это было не в его правилах. Все для него должно было совершаться немедленно — по щучьему веленью, по его хотенью.

Полет его поэтической фантазии не терпел преград. Однако законы железнодорожного расписания оказались непреодолимыми даже для его капризного гения.

Что было делать? Как убить время? Не сидеть же здесь, на вокзале, на скучных твердых скамейках.

В то время возле каждого московского вокзала находилось несколько чайных, трактиров и пивных. Это были дореволюционные заведения, носившие особый московский отпечаток. Они ожили после суровых дней военного коммунизма — первые, еще весьма скромные порождения нэпа.

После покупки билетов у нас еще осталось немного денег — бутылки на три пива.

Мы сидели в просторной прохладной пивной, уставленной традиционными елками, с полом, покрытым толстым слоем сырых опилок. Половой в полотняных штанах и такой же рубахе навыпуск, с полотенцем и штопором в руке, трижды хлопнув пробками, подал нам три бутылки пива завода Корнеева и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными закусками: виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками тараньки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй старой, дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникла такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количе-

ство холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зеленое бутылочное стекло.

Снова началось безалаберное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь.

Время от времени королевич выбегал на вокзальную площадь и смотрел на башенные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего Казанского.

Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оказывалось около полутора часов.

Между тем наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки. Тогда птицелов предложил вернуть обратно в кассу его билет, так как он хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы и лучше ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъем.

Мы охотно согласились, и билет птицелова был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на двадцать. Тогда королевич, который начал читать нам свою длиннейшую поэму «Анна Снегина», печально махнул рукой и отправился в кассу сдавать остальные два билета, после чего камень свалился с наших душ: слава богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город, и королевич, забыв свою старушку-маму в ветхом шушуне и шуструю сестренку и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви, продолжал прерванное чтение поэмы со всхлипами и надсадными интонациями:

— Когда-то у той вон калитки мне было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково: «Нет!» Далекие, милые были. Тот образ во мне не угас...

При этих щемящих словах королевич всхлипнул, заплакал горючими слезами, по моим щекам тоже потекли ручейки, потому что и я испытывал горечь своей первой любви, повторял про себя такие простые и такие пронзительно-печальные строчки:

«Мы все в эти годы любили, но мало любили нас».

Даже холодный парнасец птицелов, многозначительно поддакивающий каждой строфе «Анны Снегиной»,

опустил свою лохматую голову и издал носом горестное мычание: видно, и его пронзили эти совсем простые, но такие правдивые строчки, напомнив ему «тихие медовые глаза», давно уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого, не совсем, впрочем, далекого, но невозвратимого, невозвратимого, невозвратимого...

Одним словом, вместо Константинова мы, уже глубокой ночью брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились, очутились в глухом переулке, где у королевича всюду находились друзья — никому не известные простые люди.

Мы разбудили весь дом, но королевича приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнатке какого-то многосемейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как арлекин, ну и так далее.

А потом скрежет первых утренних трамваев, огибающих бульвары кольца А и тогда еще не вырубленные палисадники кольца Б, в которых весной гнездились соловьи, будя на рассвете разоспавшихся москвичей, и где рядом с садом «Аквариум» возвышался громадный, многоквартирный доходный дом, принадлежавший до революции крупному московскому домовладельцу по фамилии Эльпит. После революции этот дом был национализирован и превращен в рабочую коммуну, которая все же сохранила имя прежнего владельца, и стал называться «дом Эльпит-рабкоммуна».

...не так-то легко расставались дома с фамилиями своих владельцев. Десятиэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке, казавшийся некогда чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскребом, с крыши которого открывалась панорама низкорослой старушки Москвы, долго еще назывался «дом Нирнзее» — по имени его бывшего владельца. Гастроном № 1 на улице Горького еще до сих пор кое-кто называет «магазин Елисеева», а булочную невдалеке от него — «булочной Филиппова», хотя сам Филиппов давно уже эмигрировал и, говорят, мечтал о возвращении ему советской властью реквизированной булочной и даже писал из Парижа своим бывшим пекарям просьбу выслать ему хотя

бы немножко деньжонок, о чем Командор написал стишок, напечатанный в «Красном перце»:

«...в архив иллюзии сданы, живет Филиппов липово, отощал Филиппов, и штаны протерлись у Филиппова»...

Хотя штаны и протерлись, но булочная долго называлась булочной Филиппова.

Что касается дома «Эльпит-рабкоммуна», то о нем был напечатан в газете «Накануне» весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем, которого я впредь буду называть синеглазым — тоже с маленькой буквы, как простое прилагательное.

Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом...

...а тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной газете «Гудок», писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная Манишка. Он проживал в доме «Эльпит-рабкоммуна» вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а иногда даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье.

Он был настолько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице.

В области искусств для нас существовало только два авторитета: Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин, конструктор легендарной «башни Татлина»,

о которой говорили все, считая ее чудом ультрасовременной архитектуры.

Синеглазый же, наоборот, был весьма консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты, терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина и никогда не позволял себе, как любил выражаться ключик,

«колебать мировые струны».

А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно, низвергали авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма коробило синеглазого, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не мешало нашей дружбе.

В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом.

Он любил поучать — в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.

Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти.

Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален.

Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом.

Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно неве-

роятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской».

Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси.

Но тогда до этого было еще довольно далеко.

Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сблизила с синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим, полтавским, даже как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение Гофманом.

Эти два магических Г — Гофман и Гоголь — стали нашими кумирами. Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гофмановской фантазии.

А мир, в котором мы тогда жили, как нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал — противоестественном, мире нэпа, населенном призраками.

Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда называлось «гримасами нэпа» и что стало главной пищей для сатирического гения синеглазого.

...Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское.

Это он пустил в ход словечко «гофманиада», которым определялось каждое невероятное происшествие, свидетелем или даже участником коего мы были.

Нэп изобиловал невероятными происшествиями.

В конце концов из нашего узкого кружка слово «гофманиада» перешло в более широкие области мелкой газетной братии. Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей за кружкой пива выразился приблизительно так:

— Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то гофманиада!

Впоследствии один из биографов синеглазого написал следующее:

«Он поверил в себя как в писателя поздно — ему было около тридцати, когда появились первые его рассказы».

Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не написавши еще ни одного рассказа.

Уверенность в себе как в будущем писателе была свойственна большинству из нас; когда, например, мне было лет девять, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем.

Хотя синеглазый был по образованию медик, но однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя. Одна из его сатирических книг по аналогии с гофманиадой так и называлась «Дьяволиада», что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски «Чертовщина»: история о двух братьях Кальсонерах в дебрях громадного учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая «гофманиада», обильно посыпанная гоголевским перцем.

Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями ада.

Ненависть наша к нэпу была так велика, что однажды мы с синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде «Сатирикона». Когда мы выбирали для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы, и он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал:

— Наш журнал будет называться «Ревизор»!

Издатель нашелся сразу: один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом

количестве и шныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией синеглазого, автора нашумевшей «Дьяволиады»?

(Впрочем, не ручаюсь, возможно это было еще до появления «Дьяволиады».)

Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мною, я цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже — могу сказать — изобрел.

Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не мемуары, не лирический дневник...

Но что же? Не знаю!

Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда, и в то же время чистейшая фантазия.

И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга.

...Мы с синеглазым быстро накатали программу будущего журнала и отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель...

Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий — например,

журнальчик «Рупор», юмористическая газетка «Тачка» и многие другие,— так что я не сомневался, что Сергей Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный фельетонист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия.

Мы стояли перед Ингуловым — оба в пальто — и мяли в руках шапки, а Ингулов, наклонивши к письменному столу свое красное лицо здоровяка-сангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того как он читал, лицо синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял свой аккуратный пробор прилежного блондина, искоса посматривая на меня, и я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка — нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как у его сестренки-синеглазки.

— Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли, гениально? — воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова.

— Гениально-то оно, конечно, гениально,— сказал Сергей Борисович,— но что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы возьмете деньги на издание?

Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание.

Ингулов расстегнул ворот своей вышитой рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распахнутую в бане грудь и тяжело вздохнул.

— Идите домой,— сказал он совсем по-родственному и махнул рукой.

— А журнал? — спросил я.

— Журнала не будет,— сказал Ингулов.

— Да, но ведь какое название! — воскликнул я.

— Вот именно,— сказал Ингулов.

— Странно,— сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице.

Синеглазый нежно, но грустно назвал меня моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил:

— Ай-яй-яй! Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике «Ревизоре», а лучше пойдем к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный? — участливо спросил он.

Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков.

Об этих трудных минутах написал привезенный мною в Москву птицелов:

«И пылкие буквы «МСПО» расцветают сами собой над этой оголтелой жратвой (рычи, желудочный сок!)... и голод сжимает скулы мои, и зудом ноет в зубах, и мыльною мышью по горлу вниз падает в пищевод... и я содрогаюсь от скрипа когтей, от мышьей возни — хвоста, от медного запаха слюны, заливающего гортань... И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим?! Лишь ноет нищета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча — и луна плывет в замерзающем стекле...»

Это было, конечно, написано птицеловом со свойственной ему гиперболичностью.

У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако... Однако...

Не могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее наваристый борщ, крепкий чай внакладку из семейного самовара, который мне выпадало счастье ставить в холодной, запущенной кухне вместе с приехавшей на зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой, которая, как и ее брат, тоже была синеглазой, синеглазкой.

Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен первой мировой войны квартиры в доме «Эльпит-рабкоммуна».

У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.

Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.

На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуненака».

В Москве находилась контора «Накануне», куда мы и сдавали свои материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом «юнкерсе» или «дорнье комет», а потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатанными в этой сменовеховской газете.

Мы все подрабатывали в «Накануне», в особенности синеглазый, имевший там большой успех и шедший, как говорится, «первым номером».

Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю, хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем прочим просто так, в стаканах.

Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:

синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки. Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам и даже миллиардам военного коммунизма, называвшимися просто «лимонами», мы должны были идти играть в рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец — могучую советскую

десятку, которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского фунта стерлингов: блистательный результат недавно проведенной валютной реформы.

Мы с синеглазым быстро одевались и, так сказать, «осенив себя крестным знамением», отправлялись в ночь.

Современному читателю может показаться странным, даже невероятным, что два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но не забудьте, что ведь это был нэп,— и верьте не верьте! — в столице молодого Советского государства, центре мировой революции, имелось два игорных дома с рулеткой: одно казино в саду «Эрмитаж», другое на теперешней площади Маяковского, а тогда Триумфальной, приблизительно на том месте, где сейчас находятся Зал имени Чайковского, Театр сатиры и сад «Аквариум», а тогда был цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил синеглазый.

Вот, братцы, какие дела!

Над Триумфальной площадью с уютным садиком, трамвайной станцией и светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась вьюжная ночь, цыганская московская ночь.

Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к «Яру», знаменитому еще с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады.

У подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих:

— Пожа, пожа! А вот прокачу на резвой!..

Их рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизаций гражданской войны, перебирали породистыми, то-

чеными ножками, и были покрыты гарусными синими сетками, с капором на голове, и скалились и косились на прохожих, как злые красавицы.

Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили мутные фигуры игроков.

— Прямо-таки гофманиада! — сказал я.

— Не гофманиада, а пушкиниана,— пробурчал синеглазый,— даже чайковщина. «Пиковая дама». Сцена у Лебяжьей канавки. «Уж полночь близится, а Германа все нет»...

Он вообще был большой поклонник оперы. Его любимой оперой был «Фауст». Он даже слегка наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля; иногда грустно напевал: «Я за сестру тебя молю», что я относил на свой счет.

...С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафешантанной ковровой дорожкой, с медными прутьями.

— Эй, господа молодые люди! — кричали нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики в синих поддевках.— Куда же вы прете не раздевшись!

Но мы, делая вид, что не слышим, уже вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским голосом провозглашал:

— Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше нет.

Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более страшными названиями — «частники», «нэпманы» или даже «совбуры», советские буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного, незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со скрытым страхом.

Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брюч-

ки, из-под которых блестели узконосые боксовые полуботинки «от Зеленкина» из солодовниковского пассажа.

Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но нам с синеглазым все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что могло посчитаться большой удачей.

Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся, застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал:

— Пардон. Это мое стуло. Вас здесь не сидело.— И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.

Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались.

— Как вы думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? — озабоченно спросил синеглазый.

(Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш: получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками — таков был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая ставка всегда выигрывает.)

— Ставим на красное,— решительно сказал я.

Синеглазый долго размышлял, а потом ответил:

— На красное нельзя.

— Почему?

— Потому что красное может не выиграть,— сказал он, пророчески глядя вдаль.

— Ну тогда на черное,— предложил я, подумав.

— На черное? — с сомнением сказал синеглазый и задумчиво вздохнул.— Нет, дорогой...— Он назвал мое уменьшительное имя.— На черное нельзя.

— Но почему?

— Потому что черное может не выиграть.

В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых нэпманов.

Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками.

Конечно, мы могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса на выигрыш.

Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого зловещего зеро Помгол — Комиссия помощи голодающим Поволжья — и содержал свои рулетки.

Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна.

Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал свой знаменитый роман.

Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер,— непременно чеддер! — который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна.

Представьте себе, с какой надеждой ожидала нас в доме «Эльпит-рабкоммуна» в комнате синеглазого вся наша гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно влюблен и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавшему мне как-то в ответ на мои любовные излияния:

— Ты напрасно стараешься. Я тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки: девушка в шелковой блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие. Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе это и не делай излишних иллюзий.

С тех пор у меня навсегда сохранился четкий и точный портрет девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки, что лишний раз вызывало во мне ревнивую зависть к моему другу, умевшему увидеть то главное, на что не обращал внимания никто другой.

Ах, моя незабвенная синеглазка!

Как быстро пролетели для нас рождественские каникулы. Мы уже не могли прожить друг без друга ни часа.

Мы ходили по холодным, пустынным залам музеев западной живописи (Морозова и Щукина), два провинциала, внезапно очарованные французскими импрессионистами, доселе нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мери Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине — разве только реснички... И пучок пыльного света, в котором, как в ткацком станке, передвигались черные и белые нити, озаряя нимбом ее распушившиеся, обычно гладко причесанные волосы.

Мы смотрели в Театре оперетты «Ярмарку невест», и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую» уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски, и, гуляя в антракте по фойе рядом с синеглазкой, я не мог оторвать взгляда от раковинки ее ушка, розовевшего среди русых волос, а вокруг нас ходили зрители того времени — нэпманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые «цейсы» в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом Боевого Красного Знамени на алой шелковой розетке.

...и мы слушали «Гугенотов» в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до озноба холодной снаружи и по-девичьи горячей внутри, и я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила и на всю жизнь любит только меня, и в ожидании следующего свидания я как одержимый писал ночью в Мыльниковом переулке:

«Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного замка, конечно, корь: бредят окна, коробит пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках Рауль. Заблудилась в небрежной прическе бровь, и запутался такт в виске. Королева, перчатка, Рауль, любовь — все повисло на волоске. А над темным партером повис балкон и барьер, навалясь, повис,— но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз. И висят... и не рушатся... Бредит пульс... скрипка скрипке доносит весть: «Мне одной бу-

дет скучно без вас, Рауль». «До свиданья: я буду в шесть»...»

Из всех этих строф, казавшихся мне такими горькими и такими прекрасными, щелкунчик признал достойной внимания только одну-единственную строчку:

«...и барьер, навалясь, повис...»

Остальное же с учтивым презрением он отверг, сказав, что это — вне литературы.

...Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре, 25, во флигеле дома, где некогда жил Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову» и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбило его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком.

Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто, и щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акменстическими завываниями:

— ...свой благородный груз...— Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк.

Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например мне, из Воронежа.

— ...свой благородный груз,— шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки.— С чего начать? — продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев садика перед домом Герцена, шевелящихся за маленьким окном.

«...Все трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого, земля гудит мета-

форой, и легкие двуколки, в броской упряжи густых от натуги птичьих стай, разрываются на части, соперничая с храпящими любимцами ристалищ»...

Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью.

Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое. Может быть:

«...И военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел слюдяной перепончатый лес... И, с трудом пробиваясь вперед, в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил...»

Не эти ли стихи погрузили меня тогда, на рассвете, на ступеньках храма Христа Спасителя, в смертельное оцепенение, в предчувствие неизбежной мировой катастрофы...

Но нет! Тогда были не эти стихи. Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Стансы:

«Холодок щекочет темя, и нельзя признаться вдруг,— и меня срезает время, как скосило твой каблук. Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук, все чего-то не хватает, что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде шелестила, кровь, как нынче шелестишь. Видно, даром не проходит шевеленье этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб».

Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно-отчаянных стихов.

Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальные страдания молодого безвестного поэта, почти нищего, «гуляки праздного», с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе у десятого дерева с краю Чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка и по кругу как заводные резали лед конькобежцы с развевающимися

за спиной шерстяными шарфами, под косым светом качающихся электрических ламп; с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала; с отчаянными письмами; с клятвами; с бессонницей и нервами, натянутыми как струны; и, наконец, с ничем не объяснимым разрывом — сжиганием пачек писем, слезами, смехом,— как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только «все или ничего».

А потом продолжение жизни, продолжение все той же бесконечной зимы, все тех же Чистых прудов с музыкой, с конькобежцами, но уже без нее — маленькой, прелестной, в теплом пальто, с детски округлым, замерзшим, как яблоко, лицом,— с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма, в узенькой девичьей комнатке в Киеве на каком-то — кажется, на Владимирском — спуске, в запущенной старой квартире, где, может быть, синеглазый делал первые наброски «Белой гвардии»...

...и на хрупком письменном столике в образцовом порядке были разложены толстые словари прилежной курсистки, освещенные трепещущими крыльями отсветов пламени, сжигавшего пачку нашей любовной переписки...

Как, должно быть, мое душевное волнение было не похоже на душевное волнение щелкунчика.

Щелкунчик уже вступил в тот роковой возраст, когда человек начинает ощущать отдаленное, но уже заметное приближение старости: поредевшие волосы, не защищающие от опасного холодка, женский каблук, косо сточенный временем...

...Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель... Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные сны и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на сруб, верхушки, которая все еще продолжает колобродить...

Щелкунчик всегда «колобродил».

Я смотрел на него, несколько манерно выпевавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое, и головка

щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом казалась мне колобродящей верхушкой чудного дерева.

Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к приличной жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флигелька — густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду.

Ветер качал купы разросшихся, давно уже не стриженных деревьев, кажется лип, а может быть, тополей, и мне чудилось, что они тоже колобродят, обреченные на сруб.

Глядя в окно на эту живую, шевелящуюся под дождем листву, щелкунчик однажды сочинил дивное стихотворение, тут же, при мне записанное на клочке бумаги, названное совсем по-детски мило «Московский дождик».

«...Он подает куда как скупо свой воробьиный холодок — немного нам, немного купам, немного вишням на лоток. И в темноте растет кипенье — чаинок легкая возня,— как бы воздушный муравейник пирует в темных зеленях. И свежих капель виноградник зашевелился в мураве, как будто холода рассадник открылся в лапчатой Москве!»...

Что-то детское мелькнуло при этом в его бритых шевелящихся губах, в его верблюжьей, высокомерно вскинутой головке, в его опущенных веках, в его улыбке жмурящегося от удовольствия кота.

Я пришел к щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в Главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи.

При слове «агитстихи» щелкунчик поморщился, но все же согласился, и мы отправились в дом бывшего страхового общества «Россия» и там предстали перед Крупской.

Надежда Константиновна сидела за чрезмерно большим письменным столом, вероятно реквизированным во время революции у какого-нибудь московского богача. Во

всяком случае, более чем скромный вид Крупской никак не соответствовал великолепию этого огромного стола красного дерева, с синим сукном и причудливым письменным прибором.

Ее глаза, сильно увеличенные стеклами очков, ее рано поседевшие волосы стального цвета, закрученные на затылке узлом, из которого высовывались черные шпильки, несколько неодобрительное выражение ее лица — все это, по-видимому, не очень понравилось щелкунчику. Он был преувеличенного мнения о своей известности и, вероятно, полагал, что его появление произведет на Крупскую большое впечатление, в то время как Надежда Константиновна, по моему глубокому убеждению, понятия не имела, кто такой «знаменитый акмеист».

Я опасался, что это может привести к нежелательным последствиям, даже к какой-нибудь резкости со стороны щелкунчика, считавшего себя общепризнанным гением.

(Был же, например, случай, когда, встретившись с щелкунчиком на улице, один знакомый писатель весьма дружелюбно задал щелкунчику традиционный светский вопрос:

— Что новенького вы написали?

На что щелкунчик вдруг совершенно неожиданно точно с цепи сорвался.

— Если бы я что-нибудь написал новое, то об этом уже давно бы знала вся Россия! А вы невежда и пошляк! — закричал щелкунчик, трясясь от негодования, и демонстративно повернулся спиной к бестактному беллетристу.)

Однако в Главполитпросвете все обошлось благополучно.

Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих — батраков — за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге. Надо написать на эту тему разоблачительную агитку.

Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него полкило отличной ветчины, батон белого хлеба и

бутылку телиани — грузинского вина, некогда воспетого щелкунчиком.

Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда принято было говорить, к выполнению социального заказа.

Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора.

— Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков,— бодро начал я и предложил щелкунчику продолжить, но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел:

— Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы!

После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Лафонтена и наконец русских — Дмитриева и Крылова.

Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и его работнице-батрачке более всего подходит жанр крыловской басни: народно и поучительно.

Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы, потом снова начинал ходить взад-вперед.

Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш.

Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что

«...есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе, как вол»...

Он призадумался.

Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно повисла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем все это кончится.

И вдруг щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложноклассический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подобало великому баснописцу:

— Кулак Пахом, чтоб не платить налога...— Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно: — *Наложницу* себе завел!

Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится.

На этом и кончилось покушение щелкунчика включиться в агитпоэзию Главполитпросвета.

Мы с удовольствием раздавили бутылочку прославленного грузинского вина за упокой души нашего хитрого кулака Пахома и его наложницы.

А я зализывал свои сердечные раны и продолжал ходить по редакциям в поисках заработка — существование случайное, ненадежное, но по сравнению с тем знойным, ужасным летом поволжского голода 1921 года, которое мы пережили в Харькове вместе с ключиком, теперешняя моя жизнь казалась раем.

Можно ли забыть те дни?

Многое ушло навсегда из памяти, но недавно один из оставшихся в живых наших харьковских знакомых того времени поклялся, что однажды — и он это видел собственными глазами — мы с ключиком вошли босиком в кабинет заведующего республиканским отделом агитации и пропаганды Наркомпроса, а может быть, и какого-то культотдела — уже не помню, как называлось это центральное учреждение республики, столицей которой в те времена был еще не Киев, а Харьков.

Да, действительно, мы шли по хорошо натертому паркету босые. Мало того. На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы.

И тем не менее мы вовсе не были подонками, босяками, нищими. Мы были вполне уважаемыми членами общества, состояли в штате центрального республиканского учреждения ЮгРОСТА, где даже занимали видные должности по агитации и пропаганде.

Просто было такое время: разруха, холод, отсутствие товаров, а главное, ужасный, почти библейский поволжский голод. Об этом уже забыли, а тогда это было неслыханным бедствием, обрушившимся на Советскую республику, только что закончившую гражданскую войну. Сейчас трудно представить всю безвыходность нашего положения в чужом городе, без знакомых, без имущества, одиноких, принужденных продать на базаре ботинки, для того чтобы не умереть с голоду.

Вообще-то мы обычно питались по талонам три раза в день в привилегированной, так называемой вуциковской столовой, где получали на весь день полфунта сырого черного хлеба, а кроме того, утром кружку кипятка с морковной заваркой и пять совсем маленьких леденцов, в обед какую-то затируху и горку ячной каши с четвертушкой крутого яйца, заправленной зеленым машинным маслом, а вечером опять ту же ячную кашу, но только сухую и холодную.

Это по тем временам считалось очень приличной, даже роскошной едой, которой вместе с нами пользовались народные комиссары и члены ВУЦИКа.

Жить можно!

Но однажды, придя утром в столовую, мы увидели на дверях извещение, что столовая закрыта на ремонт на две недели.

Мы жили в бывшей гостинице «Россия», называвшейся Домом Советов, в запущенном номере с двумя железными кроватями без наволочек, без простынь и без одеял, потому что мы их мало-помалу меняли на базаре у приезжих крестьян на сало. В конце концов мы даже умудрились продать оболочки наших тюфяков, а морскую траву, которой они были набиты, незаметно и постепенно выбросили во двор, куда выходило наше окно.

Внизу у конторки бывшего портье сидел на табурете печальный старик еврей, продававший с фанерного лотка поштучно самодельные папиросы. Сначала мы эти папиросы покупали за наличные, а потом стали брать в кредит, и наш долг вырос до таких размеров, что нам стало неловко проходить мимо старика, и мы норовили проскользнуть, как призраки, и были очень довольны, что подслеповатый старик нас не замечает.

Мы не подозревали, что он нас отлично видит, но жалеет и делает из деликатности вид, что не замечает.

Потом, когда времена изменились к лучшему и мы расплатились, он нам в этом простодушно признался.

Итак: есть было нечего, курить было нечего, умываться было нечем.

...знойный августовский день в незнакомом городе, где почти пересохла жалкая речушка — забыл ее название,— посредине которой разлагалась неизвестно как туда попавшая дохлая корова со зловонно раздутым боком, издали похожим на крашеную деревянную ложку.

Было воскресенье. Церковь на задах нашей гостиницы возле базарной площади трезвбнила всеми своими колоколами, как тройка застоявшихся лошадей.

Мы голодали уже второй день. Делать было решительно нечего. Мы вышли на сухую замусоренную площадь, раскаленную полуденным украинским солнцем, и вдруг увидели за стеклом давно не мытой, пыльной витрины телеграфного агентства выставленный портрет Александра Блока. Он был в черно-красной кумачовой раме.

Мы замерли, как бы пораженные молнией:

нашей сокровенной мечтой было когда-нибудь увидеть живого Блока, услышать его голос. Мы прочитали выставленную рядом с портретом телеграмму, где коротко сообщалось о смерти Блока.

Мысль о том, что нам никогда не суждено будет увидеть поэта, изображенного на уже успевшей выгореть большой фотографии — кудрявая голова, прекрасное лицо, белые пророческие глаза, отложной воротник байроновской рубашки,— такой противоестественной среди этого зноя, пыли, провинциального мусора на запущенной площади города, оглушенного воскресным трезвоном базарной церкви, что мы ужаснулись тому необратимому, что произошло.

В один миг в нашем воображении пронеслись все музыкальные и зрительные элементы его поэзии, ставшие давно уже как бы частью нашей души.

«Во рву некошеном... красивая и молодая... Нет имени тебе, мой дальний, нет имени тебе, весна... О доблестях, о подвигах, о славе... Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!.. И Кельна дымные громады... Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, донна Анна видит сны... Дыша духами и туманами... И шляпа с

траурными перьями и в кольцах узкая рука... Далеко отступило море, и розы оцепили вал... Окна ложные на небе черном, и прожектор на древнем дворце. Вот проходит она — вся в узорном и с улыбкой на смуглом лице. А вино уж мутит мои взоры, и по жилам огнем разлилось. Что мне спеть в этот вечер, синьора? Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось... Только странная воцарилась тишина... Отец лежит в Аллее роз...»

Это все написал он, он...

Нас охватило отчаяние. Мы вдруг ощутили эту смерть как конец революции, которая была нашим божеством. Не в духе того времени были слезы. Мы разучились плакать.

Мы с ключиком не плакали.

Потом мы молча пошли сквозь адский зной этого августовского полудня в изнемогающий от жажды безлюдный, пыльный городской сад или даже, кажется, парк — не все ли равно, как он назывался? — шаркая босыми ногами по раскаленному гравию дорожек, и легли на дотла выгоревшую траву совсем желтого газона, несколько лет уже не поливавшегося, вытоптанного.

Мы лежали рядом, как братья, вверх лицом к неистовому солнцу, уже как бы невесомые от голода, ощущая единственное желание — покурить. На дорожках мы не нашли ни одного окурка. Мы как бы висели между небом и землей, чувствуя без всякого страха приближение смерти.

Чего же еще мы могли ожидать?

— Я никогда не думал, что смерть может быть так прекрасна: вокруг нас мир, в котором уже нет Блока,— сказал ключик со свойственной ему патетичностью.

Ничто не мешало нам перестать существовать.

Солнце и голод превращали нас еще при жизни в мощи. Мы чувствовали себя святыми. Может быть, мы и впрямь были святыми?

Сколько времени мы лежали таким образом на выжженной траве, я не знаю. Но душа все еще не хотела оставлять нашего тела. Солнце, совершая свой мучительно медленный кругообразный путь, опускалось в опаленную листву мертвого парка.

Наступали сумерки, такие же жгучие, как и полдень. Можно было думать, что они шли из вымершего Заволжья.

А мы все еще, к нашему удивлению, были живы.

— Ну что ж, пойдем,— сказал ключик с безжизненной улыбкой.

Мы с трудом поднялись и побрели в свою осточертевшую нам гостиницу. У нас даже не хватило сил проюркнуть мимо старика, продающего папиросы, который со скрытым укором посмотрел на нас.

Потом мы лежали на своих твердых кроватях и, желая заглушить голод, громко пели, не помню уже что. Откуда-то с улицы доносились звуки дряхлой дореволюционной шарманки, надрывавшие сердце, усиливавшие наше покорное отчаяние.

В голой лампочке под потолком стали медлительно накаливаться, краснеть вольфрамовые нити, давая представление о стеклянном яйце, пыльной колбочке, в котором проклевывается цыпленок чахлого света.

Из коридора иногда доносились

«...шаги глухие пехотинцев и звон кавалерийских шпор»...

Это проходили постояльцы гостиницы, по преимуществу бывшие военные, еще не снявшие своей формы, ныне советские служащие. Звук этих шагов еще более усиливал наше одиночество.

Но вдруг дверь приоткрылась и в комнату без предварительного стука заглянул высокий красивый молодой человек, одетый в новую, с иголочки красноармейскую форму: гимнастерка с красными суконными «разговорами», хромовые высокие сапоги, брюки галифе, широкий офицерский пояс, а на голове расстегнутая крылатая буденовка с красной суконной звездой. Если бы на рукаве были звезды, а на отложном воротнике ромбы, то его можно было бы принять по крайней мере за молодого комбрига или даже начдива — легендарного героя закончившейся гражданской войны.

— Разрешите войти? — спросил он, вежливо стукнув каблуками.

— Вы, наверное, не туда попали,— тревожно сказал я.

— Нет, нет! — воскликнул, вдруг оживившись, ключик.— Я уверен, что он попал именно сюда. Неужели ты

не понимаешь, что это наша судьба? Шаги судьбы. Как у Бетховена!

Ключик любил выражаться красиво.

— Вы такой-то? — спросил воин, обращаясь прямо к взъерошенному ключику, и назвал его фамилию.

— Ну? — не без торжества заметил ключик.— Что я тебе говорил? Это судьба! — А затем обратился к молодому воину голосом, полным горделивого шляхетского достоинства: — Да. Это я. Чем могу служить?

— Я, конечно, очень извиняюсь,— произнес молодой человек на несколько черноморском жаргоне и осторожно вдвинулся в комнату,— но, видите ли, дело в том, что послезавтра именины Раисы Николаевны, супруги Нила Георгиевича, и я бы очень просил вас...

— Виноват, а вы, собственно, кто? Командарм? — прервал его ключик.

— Никак нет, отнюдь не командарм.

— Ну раз вы не командарм, то, значит, вы ангел. Скажите, вы ангел?

Молодой человек замялся.

— Нет, нет, не отпирайтесь,— сказал ключик, продолжая лежать в непринужденной позе на своей жесткой кровати.— Я уверен, что вы ангел: у вас над головой крылья. Если бы вы были Меркурием, то крылья были бы у вас также и на ногах. Во всяком случае, вы посланник богов. Вас послала к нам богиня счастья, фортуна, сознайтесь.

Ключик сел на своего конька и, сыпля мифологическими метафорами, совсем обескуражил молодого человека, который застенчиво улыбался.

Наконец, улучив минутку, он сказал:

— Я, конечно, очень извиняюсь, но дело в том, что я хотел бы заказать вам стихи.

— Мне? Почему именно мне, а не Горацию? — спросил ключик.

Но, видимо, молодой человек был лишен чувства юмора, так как ответил:

— Потому что до меня дошли слухи, будто, выступая в одной воинской части нашего округа, вы в пять минут сочинили буриме на заданную тему и это произвело на аудиторию, а особенно на политсостав такое глубокое впечатление, что... одним словом, я хотел бы вам заказать несколько экспромтов на именины Раисы Николаевны, супруги нашего командира... Ну и, конечно, на некоторых

наиболее важных гостей... командиров рот, их жен и так далее... Конечно, вполне добродушные экспромты, если можно, с мягким юмором... Вы меня понимаете? Хорошо было бы протащить тещу Нила Георгиевича Оксану Федоровну, но, разумеется, в легкой форме. Обычно в таких случаях мне пишет экспромты один местный автор-куплетист, но — антр ну суа ди — в последнее время я уже с его экспромтами не имел того успеха, как прежде. Я вам выдам приличный гонорар, но, конечно, эти стихи перейдут в полную мою собственность и будут считаться как бы моими... Обычно я имею успех... и это очень помогает мне по службе.

Молодой человек заалел как маков цвет, и простодушная улыбка осветила его почти девичье лицо симпатичного пройдохи.

Дело оказалось весьма простым: молодой интендант территориальных войск делал себе карьеру души общества, выступая с экспромтами на всяческих семейных вечеринках у своего начальства.

Ключик сразу это понял и сурово сказал:

— Деньги вперед.

— О, какие могут быть разговоры? Конечно, конечно. Только вы меня, бога ради, не подведите,— жалобно промолвил молодой человек и выложил на кровать ключика целый веер розовых миллионных бумажек, как я уже, кажется, где-то упоминал, более похожих на аптекарские этикетки, чем на кредитки.

— Завтра я зайду за материалом ровно в семнадцать ноль-ноль. Надеюсь, к этому времени вы уложитесь.

— Можете зайти через тридцать минут ноль-ноль. Мы уложимся,— холодно ответил ключик.— Тем более что нас двое.

Ключик нехотя встал с кровати, сел к столу и под диктовку молодого человека составил список именинных гостей, а также их краткие характеристики, после чего молодой человек удалился.

Можно себе представить, какую чечетку мы исполнили, едва затворилась дверь за нашим заказчиком, причем ключик время от времени восклицал:

— Бог нам послал этого румяного дурака!

Мы сбегали на базар, который уже закрывался, купили у солдата буханку черного хлеба, выпили у молочницы по глечику жирного молока, вернулись в свою гостиницу, предварительно расплатившись с удивленным евреем,

взяли у него два десятка папирос и быстро накатали именинные экспромты, наполнив комнату облаками табачного дыма.

Наши опусы имели такой успех, что нашего доброго гения повысили в звании, и он повадился ходить к нам, заказывая все новые и новые экспромты.

Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, что у нас называлось по-черноморски «сидеть на декохте», говорили:

— Хоть бы пришел наш дурак.

И он, представьте себе, тотчас являлся как по мановению черной палочки фокусника.

Эта забавная история закончилась через много лет, когда ключик сделался уже знаменитым писателем, имя которого произносилось не только с уважением, но даже с некоторым трепетом. О нем было написано раза в четыре больше, чем он написал сам своей чудесной нарядной прозы.

Мы довольно часто ездили (конечно, всегда в международном вагоне!) в свой родной город, где мальчики вместо «абрикосы» говорили «аберкосы» и где белый Воронцовский маяк отражался в бегущих черноморских волнах, пенящихся у его подножия.

Мы всегда останавливались в лучшем номере лучшей гостиницы с окнами на бульвар и на порт, над которым летали чайки, а вдали розовел столь милый нашему сердцу берег Дофиновки, и мы наслаждались богатством, и славой, и общим поклонением, чувствуя, что не посрамили чести родного города.

И вот однажды рано утром, когда прислуга еще не успела убрать с нашего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура харьковского дурака.

Он был все таким же розовым, гладким, упитанным, красивым и симпатичным, с плутоватой улыбкой на губах, которые можно было бы назвать девичьими, если бы не усики и вообще не какая-то общая потертость — след прошедших лет.

— Здравствуйте. С приездом. Я очень рад вас видеть. Вы приехали очень кстати. Я уже пять лет служу здесь, и вообразите — какое совпадение: командир нашего полка как раз послезавтра выдает замуж старшую дочь Катю. Так что вы с вашей техникой вполне успеете. Срочно необходимо большое свадебное стихотворение, так сказать,

эпиталама, где бы упоминались все гости, список которых...

— Пошел вон, дурак,— равнодушным голосом сказал ключик, и нашего заказчика вдруг как ветром сдуло.

Больше мы его уже никогда не видели.

— Ты понимаешь, что в материальном мире ничто не исчезает. Я всегда знал, что наш дурак непременно когда-нибудь возникнет из непознаваемой субстанции времени,— сказал ключик, по своему обыкновению вставив в свое замечание роскошную концовку — «субстанцию времени», причем бросил на меня извиняющийся взгляд, понимая, что «субстанция времени» не лучшая из его метафор.

В конце концов, может быть, это была действительно «субстанция времени», кто его знает: жизнь загадочна! Хотя в принципе я и не признаю существования времени, но как рабочая гипотеза время может пригодиться, ибо что же как не время скосило, уничтожило и щелкунчика, и ключика, и птицелова, и мулата, и всех остальных и превратило меня в старика, путешествующего по Европе и выступающего в славянских отделениях разных респектабельных университетов, где любознательные студенты, уже полурусские потомки граждан бывшей Российской империи, уничтоженной революцией, непременно спрашивают меня о ключике.

Ключик стал знаменитостью.

И я, озирая аудиторию потухшим взглядом, говорю по-русски со своим неистребимым черноморским акцентом давно уже обкатанные слова о моем лучшем друге.

— Ключик,— говорю я,— родился вопреки укоренившемуся мнению не в Одессе, а в Елисаветграде, в семье польского — точнее литовского — дворянина, проигравшего в карты свое родовое имение и принужденного поступить на службу в акцизное ведомство, то есть стать акцизным чиновником. Вскоре семья ключика переехала в Одессу и поселилась в доме, как бы повисшем над спуском в порт, в темноватой квартире, выходившей окнами во двор, где постоянно выбивали ковры.

Семья ключика состояла из отца, матери, бабушки и младшей сестры.

Отец, на которого сам ключик в пожилом возрасте стал похож как две капли воды, продолжал оставаться картежником, все вечера проводил в клубе за зеленым столом и возвращался домой лишь под утро, зачастую проигравшись в пух, о чем извещал короткий, извиняющийся звонок в дверь.

Мать ключика была, быть может, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мнишек, но я помню ее уже пожилой, властной, с колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила с сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и с кожаным молитвенником, а дома читала польские романы, в которых, я заметил, латинская буква L была перечеркнута косой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи.

Ключик ее боялся и однажды таинственно и совершенно серьезно сообщил мне, что его мать настоящая полесская ведьма и колдунья.

Она была владычицей дома.

Бабушка ключика была согбенная старушка, тоже всегда в черном, и тоже ходила в костел мелкими-мелкими неторопливыми шажками, метя юбкой уличную пыль. Она тоже, несомненно, принадлежала к породе полесских колдуний, но только была добрая, дряхлая, отжившая, в железных очках.

Сестру ключика я видел только однажды, и то она как раз в это время собиралась уходить и уже надевала свою касторовую гимназическую шляпу с зеленым бантом, и я успел с нею только поздороваться, ощутить теплое пожатие девичьей руки,— робкое, застенчивое, и заметил, что у нее широкое лицо и что она похожа на ключика, только миловиднее.

Как это ни странно, но я сразу же тайно влюбился в нее, так как всегда имел обыкновение влюбляться в сес-

тер своих товарищей, а тут еще ее польское имя, придававшее ей дополнительную прелесть. Мне кажется, мы были созданы друг для друга. Но почему-то я ее больше никогда не видел, и мое тайное влюбление прошло как-то само собой.

Ей было лет шестнадцать, а я уже был молодой офицер, щеголявший своей раненой ногой и ходивший с костылем под мышкой.

Вскоре началась эпидемия сыпного тифа, она и я одновременно заболели. Я выздоровел, она умерла.

Ключик сказал мне, что в предсмертном бреду она часто произносила мое имя, даже звала меня к себе.

Теперь, когда все это кануло в вечность памяти, я понимаю, что меня с ключиком связывали какие-то тайные нити, может быть, судьбой с самого начала нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами.

Судьба дала ему, как он однажды признался во хмелю, больше таланта, чем мне, зато мой дьявол был сильнее его дьявола.

Что он имел в виду под словом «дьявол», я так уже никогда и не узнаю. Но, вероятно, он был прав.

...я забыл, что нахожусь в узкой переполненной аудитории славянского отделения Сорбонны в Гран-Пале... Я видел в высоком французском окне до пола вычурно-массивные многорукие фонари моста Александра Третьего и еще голые конские каштаны с большими надутыми почками, как бы намазанными столярным клеем, уже готовые лопнуть, но все еще не лопнувшие, так что я обманулся в своих ожиданиях, хотя всем своим существом чувствовал присутствие вечной весны, но она еще была скрыта от глаз в глубине почти черных столетних стволов, где уже несомненно двигались весенние соки.

...громадные стеклянные куполообразные крыши Гран-Пале, его ужасный стиль девятнадцатого века, неистребимая память дурного вкуса Всемирной парижской выставки...

Впрочем, в Северной Италии вечная весна тоже еще не наступила, хотя вдоль шоссе по дороге из Милана в Равенну в отдаленном альпийском тумане светилась пас-

хальная зелень равнины и в снежном дыхании невидимой горной цепи слышался неуловимый запах рождающейся весны, несмотря на то, что ряды фруктовых деревьев, пробегавших мимо нас,— цыплята-табака шпалерных яблонь и распятия старых виноградных лоз — по-прежнему оставались черными, лишенными малейших признаков зелени, и все же мне казалось, что я уже вижу ее незримое присутствие.

Стоит ли описывать древние итальянские города-республики, это дивное скопление покосившихся башен, кирпичных дворцов-крепостей, окруженных рвами, по пятьсот залов в некоторых, со специальными пологими лестницами для конницы, с мраморными и бронзовыми статуями владык, поэтов и святых, с гранитными плитами площадей и железными украшениями колодцев и фонтанов, с балконами, говорящими моему воображению о голубой лунной ночи и шепоте девушки с распущенными волосами в маленькой унизанной жемчугами ренессансной шапочке.

Потемки древних храмов и базилик, где при зареве целых снопов белоснежных свечей можно было с трудом разглядеть выпуклые девичьи лбы мадонн со старообразными младенцами на руках, чьи головы напоминали скорее головы епископов, чем веселых малюток...

Только один ключик сумел бы найти какой-нибудь единственный, неотразимый метафорический ход, чтобы вместить в несколько строк впечатление обо всем этом ренессансном великолепии, я же в бессилии кладу свою шариковую ручку.

Мы промчались, прошуршали по безукоризненным бетонным дорогам, мимо архитектурных бесценностей, как бы созданных для того, чтобы в них играли Шекспира и ставили «Трех толстяков» ключика.

Впрочем, здесь нельзя было найти площадь Звезды. Для этого следовало вернуться в Париж и на метро направления Венсенн — Нейи доехать на колесах с дутыми шинами до площади Этуаль (ныне Де Голль), где от высокой Триумфальной арки с четырьмя пролетами расходятся как лучи двенадцать сияющих авеню.

Очевидно, туда стремилась фантазия ключика, когда

он заставил своего Тибула идти по проволоке над площадью Звезды.

Меня же влекла к себе Равенна, одно имя которой, названное Александром Блоком, уже приводило в трепет.

С юношеских лет я привык повторять магические строки:

«Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках».

О, как мне хотелось, отбросив от себя все, что минутно, все, что бренно, уснуть самому у сонной вечности в руках и увидеть наяву, как передо мною

«...далёко отступило море, и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорик о буре жизни не мечтал»...

Больше всего поражала нас, особенно ключика, неслыханная магия строчки и «розы оцепили вал». Здесь присутствовала тайная звукопись, соединение двух согласных «з» и «ц», как бы сцепленных между собой необъяснимым образом. Сила этого сцепления между собою роз вокруг какого-то вала мучила меня всю жизнь, и наконец я приблизился к разгадке этой поэтической тайны.

Я увидел на земле нечто вроде купола, сложенного из диких камней. Это был склеп Теодорика, действительно окруженный земляным валом, поросшим кустами еще не проснувшихся роз, цеплявшихся друг за друга своими коралловыми шипами.

Вечная весна еще не наступила и здесь. Но, сцепленные в некий громадный венок вокруг склепа Теодорика, они были готовы выпустить первые почки. Местами они уже даже проклевывались.

Мы поднялись по каменной лестнице и вошли в мавзолей, посредине которого стоял гроб Теодорика. Но гроб был открыт и пуст, подобный каменной ванне. Я так привык представлять себе блоковского спящего в гробе Теодорика, что в первое мгновение замер как обворованный. Отсутствие Теодорика, который не должен был мечтать о бурях жизни, а спать мертвым сном на дне своей каменной колоды,— эти два исключающих друг друга отрицания с наглядной очевидностью доказали мне, что семьдесят пять лет назад поэт, совершая путешествие по Италии и посетив Равенну, по какой-то причине не вошел в мав-

золей Теодорика, ограничившись лишь видом роз, оцепивших вал, а Теодорика, спящего для того, чтобы не мечтать о бурях жизни, изобрела его поэтическая фантазия — неточность, за которую грех было бы упрекнуть художника-визионера.

Зато я понял, почему так чудесно вышло у Блока сцепление роз.

Когда мы выходили из мавзолея и столетний старик сторож, которого несомненно некогда видел и Блок, протянул нам руку за лирами, я заметил по крайней мере десяток кошек со своими котятами, царапавших землю возле плошки с молоком.

Старик любил кошек.

Очевидно, Блок видел кошек старика, который тогда еще не был стариком, но уже любил окружать себя кошками.

Цепкие когти кошек и цепкие шипы роз вокруг мавзолея Теодорика родили строчку «и розы оцепили вал».

Ну а что касается моря, то оно действительно отступило довольно далеко, километров на десять, если не больше, но, плоское и серое, оно не представляло никакого интереса: дул холодный мартовский ветер, за брекватером кипели белые волны Адриатики, на пристани стояли на стапелях яхты и моторные боты, которых готовили к весенней навигации. И пахло масляной краской, едким нитролаком, суриком, бензином. Только не рыбой.

На обратном пути мы посетили церковь святого Франциска, снова попали в тьму и холод католического собора с кострами свечей. Я бросил в автомат монетку, и вдруг перед нами, как на маленькой полукруглой сцене, ярко озарилась театральная картина поклонения волхвов: малютка Христос, задрав пухлые ножки, лежал на коленях нарядной мадонны, справа волхвы и цари со шкатулками драгоценных даров, слева — коровы, быки, овцы, лошади, на небе хвостатая комета. И все это вдруг задвигалось: волхвы и цари протянули маленькому Христу свои золотые дары; коровы, быки, лошади потянули к нему головы с раздутыми ноздрями, богородица с широко висящими рукавами синего платья нежно и неторопливо движениями марионетки наклонилась толчками к малютке, а на заднем плане два плотника все теми же марионеточными движениями уже тесали из бревен крест и римский воин поднимал и опускал копье с губкой на острие. Это повторилось раз десять и вдруг погасло, напомнив стихотворе-

ние, сочиненное мулатом, кажется «Поклонение волхвов», где хвостатая звезда сравнивается со снопом.

— Ключик,— говорил я несколько дней спустя в старинном Миланском университете с внутренними дворами, зеленеющими сырыми газонами, окруженными аркадами с витыми ренессансными мраморными колоннами, студентам, собравшимся в тесном классе славянского отделения,— ключик,— говорил я,— был человеком выдающимся. В гимназии он всегда был первым учеником, круглым пятерочником, и если бы гимназия не закрылась, его имя можно было бы прочесть на мраморной доске, среди золотых медалистов, окончивших в разное время Ришельевскую гимназию, в том числе и великого русского художника Михаила Врубеля.

Ключик всю жизнь горевал, что ему так и не посчастливилось сиять на мраморной доске золотом рядом с Врубелем.

Он совсем не был зубрилой. Науки давались ему легко и просто, на лету. Он был во всем гениален, даже в тригонометрии, а в латинском языке превзошел самого латиниста. Он был начитан, интеллигентен, умен. Единственным недостатком был его малый рост, что, как известно, дурно влияет на характер и развивает честолюбие. Люди небольшого роста, чувствуя как бы свою неполноценность, любят упоминать, что Наполеон тоже был маленького роста. Ключика утешало, что Пушкин был невысок ростом, о чем он довольно часто упоминал. Ключика также утешало, что Моцарт ростом и сложением напоминал ребенка.

При маленьком росте ключик был коренаст, крепок, с крупной красивой головой с шапкой кудрявых волос, причесанных а-ля Титус, по крайней мере в юности.

Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнил ключика с Бетховеном.

Сравнить ключика с Бетховеном — это все равно что сказать, что соль похожа на соль.

В своем сером форменном костюме Ришельевской гимназии, немного мешковатом, ключик был похож на сло-

ненка: такой же широкий лоб, такие же глубоко сидящие, почти детские глаза, ну а что касается хобота, то его не было. Был утиный нос. Впрочем, это не очень бросалось в глаза и не портило впечатления. Таким он и остался для меня на всю жизнь: слоненком. Ведь и любовь может быть слоненком!

«Моя любовь к тебе сейчас — слоненок, родившийся в Берлине иль Париже и топающий ватными ступнями по комнатам хозяина зверинца. Не предлагай ему французских булок, не предлагай ему кочней капустных, он может съесть лишь дольку мандарина, кусочек сахара или конфету. Не плачь, о нежная, что в тесной клетке он сделается посмеяньем черни»...

Ну и так далее. Помните?

«Нет, пусть тебе приснится он под утро в парче и меди, в страусовых перьях, как тот Великолепный, что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала».

Я уверен, что именно таким — Великолепным — ключик сам себе и снился: в страусовых перьях, на подступах к вечному Риму всемирной славы.

Едва сделавшись поэтом, он сразу же стал иметь дьявольский успех у женщин, вернее у девушек — курсисток и гимназисток, постоянных посетительниц наших литературных вечеров. Они окружали его, щебетали, называли уменьшительными именами, разве только не предлагали ему с розовых ладошек дольку мандарина или конфетку. Они его обожали. У него завязывались мимолетные платонические романчики — предмет наших постоянных насмешек.

Он давал своим возлюбленным красивые имена, так как имел пристрастие к роскошным словам.

Так, например, одну хорошенькую юную буржуазку, носившую ранней весной букетик фиалок, пришпиленный к воротнику кротовой шубки, ключик называл Фиордализой.

— Я иду сегодня в Александровский парк на свиданье с Фиордализой,— говорил он, слегка шепелявя, с польским акцентом.

Можно себе представить, как мы, его самые близкие друзья — птицелов и я,— издевались над этой Фиордализой, хотя втайне и завидовали ключику.

Как и подавляющее большинство поэтов нашего города, ключик вырос из литературы западной. Одно время он был настолько увлечен Ростаном в переводе Щепкиной-Куперник, что даже начал писать рифмованным шестистопным ямбом пьесу под названием «Двор короля поэтов», явно подражая «Сирано де Бержераку».

Я думаю, что опус ключика рождался из наиболее полюбившейся ему строчки:

«Теперь он ламповщик в театре у Мольера».

Помню строчки из его стихотворения «Альдебаран»:

«...смотри,— по темным странам, среди миров, в полночной полумгле, течет звезда. Ее Альдебараном живущие назвали на земле»...

Слово «Альдебаран» он произносил с упоением. Наверное, ради этого слова было написано все стихотворение.

Потом настало время Метерлинка. Некоторое время ключик носился с книгой, кажется, Уолтера Патера, «Воображаемые портреты», очаровавшей его своей раскованностью и метафоричностью. Зачитывался он также «Крестовым походом детей», если не ошибаюсь Марселя Швоба. Всю жизнь ключик преклонялся перед Эдгаром По, считал его величайшим писателем мира, что не мешало ему в то же время очень ловко сочинять поэзы под Игоря Северянина, а позже даже восхищаться песенками Вертинского; это тогда считалось признаком дурного тона, и совершенно напрасно. Странность, которую я до сих пор не могу объяснить.

Ключик упорно настаивал, что Вертинский — выдающийся поэт, в доказательство чего приводил строчку: «Аллилуйя, как синяя птица».

Самое поразительное было то, что впоследствии однажды сам неумолимый Командор сказал мне, что считает Вертинского большим поэтом, а дождаться от Командора такой оценки было делом нелегким.

Ключик опередил нас независимостью своих литера-

турных вкусов. Он никогда не подчинялся общему мнению, чаще всего ошибочному.

Увлекался ключик также и Уэллсом, которого считал не только родоначальником целого громадного литературного направления, но также и великим художником, несравненным изобретателем какой-то печально-волшебной Англии начала двадцатого века, так не похожей на Англию Диккенса и вместе с тем на нее похожей.

Не знаю, заметили ли исследователи громадное влияние Уэллса-фантаста на Командора, автора почти всегда фантастических поэм и «Бани» с ее машиной времени.

Не говорю уж о постоянном, устойчивом влиянии на ключика Толстого и Достоевского, как бы исключающих друг друга, но в то же время так прочно слившихся в творчестве ключика.

Воздух, которым дышал ключик, всегда был перенасыщен поэзией Блока. Впрочем, тогда, как и теперь, Блоку поклонялись все.

Однажды я прочитал ключику Бунина, в то время малоизвестного и почти никем не признанного. Ключик поморщился. Но, видно, поэзии Бунина удалось проникнуть в тайное тайных ключика; в один прекрасный день, вернувшись из деревни, где он жил репетитором в доме степного помещика, ключик прочитал мне новое стихотворение под названием «В степи», посвященное мне и написанное «под Бунина».

«Иду в степи под золотым закатом... Как хорошо здесь! Весь простор — румян и все в огне, а по далеким хатам ползет, дымясь, сиреневый туман» — ну и так далее.

Я был очень удивлен.

Это было скорее «под меня», чем «под Бунина», и, кажется, ключик больше никогда не упражнялся в подобном роде, совершенно ему не свойственном: его гений развивался по совсем другим законам.

Думаю, что влиял на ключика также и Станислав Пшибышевский — польский декадент, имевший в то время большой успех. «Под Пшибышевского» ключик написал драму «Маленькое сердце», которую однажды и разыграли поклонники его таланта на сцене местного музыкального училища. Я был помощником режиссера, и в сцене, когда некий «золотоволосый Антек» должен был застрелиться от любви к некой Ванде, я должен был за

кулисами выстрелить из настоящего револьвера в потолок. Но, конечно, мой револьвер дал осечку и некоторое время «золотоволосый Антек» растерянно вертел в руках бутафорский револьвер, время от времени неуверенно прикладывая его то к виску, то к сердцу, а мой настоящий револьвер как нарочно давал осечку за осечкой. Тогда я трахнул подвернувшимся табуретом по доскам театрального пола. «Золотоволосый Антек», вздрогнув от неожиданности, поспешил приложить бутафорский револьвер к сердцу и с некоторым опозданием упал под стол, так что пьеса в конечном итоге закончилась благополучно, и публика была в восторге, устроила ключику овацию, и он выходил несколько раз кланяться, маленький, серенький, лобастенький слоненок, сияя славой, а я аккуратно дергал за веревку, раздвигая и задвигая самодельный занавес.

Барышня, игравшая главную роль роковой женщины Ванды, помнится мне, выходя на вызовы, на глазах у всех поцеловала ключику руку, что вызвало во мне жгучую зависть. Барышня-гимназистка была очень хорошенькая.

«Черт возьми, везет же этому ключику! Что она в нем нашла, интересно? Пьеска так себе, под Пшибышевского, декадентщина, а сам ключик просто серый слоненок!»

Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к другу начиная с юности.

Однажды ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть.

Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила: любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена или просто любовь неудачная, в особенности любовь ранняя, которая оставляет в сердце рубец на всю жизнь.

В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее нанесенная рана, тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце концов к самоуничтожению.

Я не хочу приводить примеры. Они слишком хорошо известны.

Однако надо иметь в виду, что самоуничтожение не всегда самоубийство. Иногда оно принимает другие, более

скрытые, но не менее ужасные формы: дуэль Пушкина, уход Толстого из Ясной Поляны.

Переживши рядом с ключиком лучшую часть нашей жизни, я имел возможность не только наблюдать, но и участвовать в постоянных изменениях его гения, все время толкавшего его в пропасть.

Я был так душевно с ним близок, что нанесенная ему некогда рана оставила шрам и в моем сердце. Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для окружающих: ключик был скрытен и самолюбив; он ничем не выдал своего отчаяния. Идеалом женщины для него всегда была Настасья Филипповна из «Идиота» с ее странной, неустроенной судьбой, с ее прекрасным, несколько скуластым лицом мещанской красавицы, с ее чисто русской сумасшедшинкой.

Он так и не нашел в жизни своего литературного идеала. В жизни обычно все складывается вопреки мечтам.

Подругой ключика стала молоденькая, едва ли не семнадцатилетняя, веселая девушка, хорошенькая и голубоглазая. Откуда она взялась, не имеет значения. Ее появление было предопределено.

Только что, более чем с двухлетним опозданием, у нас окончательно установилась советская власть, и мы оказались в магнитном поле победившей революции, так решительно изменившей всю нашу жизнь.

Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных; мы опьянели от воздуха свободы: только права и никаких обязанностей. Мы не капиталисты, не помещики, не фабриканты, не кулаки. Мы дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников.

Мы — разночинцы.

Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было.

Революция открыла для нас неограниченные возможности.

Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная, химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушится последнее государство и «все народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Но тогда нам казалось, что мы уже шагнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья.

Некоторые из нас ушли из своих семейств и поселились в отдельных комнатах по ордерам губжилотдела. Мы были ближе к Фурье, чем к Марксу. Образовалась коммуна поэтов.

В реквизированном особняке при свете масляных и сальных коптилок мы читали по вечерам стихи, в то время как в темных переулках города, лишенного электрического тока, возле некоторых домов останавливались автомобили ЧК с погашенными фарами и над всем мертвым и черным городом светился лишь один ярко горевший электричеством семиэтажный дом губчека, где решались судьбы последних организаций, оставленных в подполье бежавшей из города контрреволюцией, а утром на стенах домов и на афишных тумбах расклеивались списки расстрелянных.

Я даже не заметил, с чего и как начался роман ключика. Просто однажды рядом с ним появилась девушка, как нельзя более соответствующая стихам из «Руслана и Людмилы»:

«...есть волшебники другие, которых ненавижу я: улыбка, очи голубые и голос милый — о друзья! Не верьте им: они лукавы! Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы...»

Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами. Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее, то есть тем материалом, который писатель употребляет для постройки своих произведений.

Для меня Пушкин — великое произведение природы вроде грозы, бури, метели, летучей гряды облаков, лунной ночи, чувыканья соловьев, даже чумы.

Я его цитирую, так же как цитирую множество других прекрасных авторов и явлений природы.

Процитировал же Толстой предутреннюю летнюю луну, похожую на кусок ртути. Именно на *кусок*. Хотя ртуть в обычных земных условиях существует как шарик.

Так что примиритесь с этой моей манерой; почему же мне не цитировать других в том случае, когда я сам не могу создать лучшего?

Итак:

«...улыбка, очи голубые и голос милый...»

Такова была подруга ключика,— его первая любовь!— а то, что «она лукава», выяснилось позже и нанесло ключику незаживающую рану, что оставила неизгладимый след на всем его творчестве, сделала его гениальным и привела в конце концов к медленному самоуничтожению. Это стало вполне ясно только теперь, когда ключика уже давно не существует на свете и только его тень неотступно следует за мною. Мне кажется, что я постиг еще не обнаруженную трагедию ключика.

Ах, как они любили друг друга — ключик и его дружок, дружочек, как он ее называл в минуты нежности. Они были неразлучны, как дети, крепко держащиеся за руки. Их любовь, не скрытая никакими условностями, была на виду у всех, и мы не без зависти наблюдали за этой четой, окруженной облаком счастья.

Не связанные друг с другом никакими обязательствами, нищие, молодые, нередко голодные, веселые, нежные, они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных. Они осыпали друг друга самыми ласковыми прозвищами, и ключик, великий мастер слова, столь изобретательный в своих литературных произведениях, ничего не мог придумать более оригинального, чем «дружочек, друзик».

Он бесконечно спрашивал:

— Скажи, ведь ты мой верный дружок, дружочек, друзик?

На что она также, беспечно смеясь, отвечала:

— А ты ведь мой слоненок, слоник?

Никому в голову не могло прийти, что в это время у ключика в семье разыгрывается драма. Считалось, что всякого рода семейные драмы ушли в прошлое вместе со старым миром. Увы, это было не так.

Семья ключика собиралась уезжать в Польшу, провозглашенную независимым государством. Поляки возвращались из России на родину. И вдруг оказалось, что ключик решительно отказывается ехать с родителями.

Несмотря на то, что он всегда даже несколько преувеличенно гордился своим шляхетством, он не захотел променять революционную Россию на панскую Польшу.

В упрямстве ключика его семья обвинила девушку, с которой ключик не хотел расстаться. Мать ключика ее возненавидела и потребовала разрыва. Ключик отказался. Властная полька, католичка, «полесская ведьма» прокляла сына, променявшего Польшу на советскую девушку, с которой ключик даже не был обвенчан или, в крайнем случае, зарегистрирован.

Произошла драматическая сцена между матерью и сыном, который до этого случая был всегда почтительным и послушным. Но вдруг взбунтовался. В нем заговорила материнская кровь. Нашла коса на камень.

Семья ключика уехала в Польшу. Ключик остался. Его любовь к дружочку не изменила наших отношений. Но теперь нас уже было не двое, а трое. Впрочем, когда нас перевели в Харьков на работу в УгРОСТ для укрепления пропагандистского сектора, дружочек на некоторое время осталась в Одессе, так что самые тяжелые, голодные дни не испытала, но времена переменились и скоро она перебралась к ключику в Харьков. Мы жили втроем, нанимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазовской, прельстивших нас своими поэтическими названиями.

Дела наши поправились. Мы прижились в чужом Харькове, уже недурно зарабатывали, иногда вспоминая свой родной город и некоторые проказы прежних дней, среди которых видное место занимала забавная история брака дружочка с одним солидным служащим в губпродкоме. По первым буквам его имени, отчества и фамилии он получил по моде того времени сокращенное название Мак. Ему было лет сорок, что делало его в наших глазах стариком. Он был весьма приличен, вежлив, усат, бородат и, я бы даже сказал, не лишен некоторой приятности. Он был, что называется, вполне порядочный человек, вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце. Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров, где и влюбился в дружочка.

Когда они успели договориться, неизвестно.

Но в один прекрасный день дружок с веселым смехом объявила ключику, что она вышла замуж за Мака и уже переехала к нему.

Она нежно обняла ключика, стала его целовать, роняя прозрачные слезы, объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак имеет возможность получать продукты и что ей надоело влачить полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что ключик навсегда останется для нее самым светлым воспоминанием, самым-самым ее любимым друзиком, слоником, гением и что она не забудет нас и обещает нам продукты.

Тогда я еще не читал роман аббата Прево и не понял, что дружочек — разновидность Манон Леско и что тут уж ничего не поделаешь.

Ключик в роли кавалера де Грие грустно поник головой. Он начитался Толстого и был непротивленцем. Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов, на что она, весело смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает, какую глупость совершила, и согласна в любой миг бросить Мака, но только стесняется сделать это сама. Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук Мака, похищена.

— Это будет так забавно,— прибавила она,— и я опять вернусь к моему любимому слоненку.

Так как ключик по своей природе был человек воспитанный, не склонный к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный из всей нашей компании.

В условленное время мы отправились с ключиком за дружочком. Ключик остался на улице, шагая взад-вперед перед подъездом, хмурый, небритый, нервный, как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь кулаком.

Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал теребить бородку, как бы предчувствуя беду.

Вид у меня был устрашающий: офицерский френч времен Керенского, холщовые штаны, деревянные сандалии на босу ногу, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с черной кистью, полученная мною по ордеру вместо шапки в городском вещевом складе.

Не удивляйтесь: таково было то достославное время — граждан снабжали чем бог послал, но зато бесплатно.

— Где дружочек? — грубым голосом спросил я.

— Видите ли...— начал Мак, теребя шнурок пенсне.

— Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка. Я вам покажу, как быть в наше время синей бородой! Ну, поворачивайтесь живее!

— Дружочек! — блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел.

— Я здесь,— сказала дружочек, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты.— Здравствуй.

— Я пришел за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Ключик тебя ждет внизу.

— Позвольте...— пробормотал Мак.

— Не позволю,— сказал я.

— Ты меня извини, дорогой,— сказала дружочек, обращаясь к Маку.— Мне очень перед тобой неловко, но ты сам понимаешь, наша любовь была ошибкой. Я люблю ключика и должна к нему вернуться.

— Идем,— скомандовал я.

— Подожди, я сейчас возьму вещи.

— Какие вещи? — удивился я.— Ты ушла от ключика в одном платьице.

— А теперь у меня уже есть вещи. И продукты,— прибавила она, скрылась в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками.— Прощай, Мак, не сердись на меня,— милым голосом сказала она Маку.

У Мака на испуганном лице показались слезы.

— И смотрите у меня,— сказал я на прощанье, погрозив Маку трубкой,— чтобы этого больше не повторялось!

Мы с дружочком спустились по лестнице на улицу, где я передал нашу Манон Леско с рук на руки кавалеру де Грие.

Читателю все это может показаться невероятным, но таково было время. Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в отделе актов гражданского состояния на Дерибасовской в бывшем табачном магазине Стамболи, где еще не выветрился запах турецкого табака. Браки заключались по взаимному согласию, а разводы в одностороннем порядке.

Как ни странно, но всю эту историю с Маком мы тогда воспринимали всего лишь как забавное приключение, не понимая всей серьезности того, что случилось.

Не прошло и года, как ключик вспомнил об этом, но уже было поздно.

Во всяком случае, еще долгое время история с Маком служила поводом для веселых импровизаций и дружочек не без юмора рассказывала, как она была замужней дамой.

Через некоторое время, уже в Москве, в моей комнате в Мыльниковом переулке раздался телефонный звонок и оживленный женский голос сказал:

— Здравствуй. Как поживаешь?

Я узнал голос дружочка.

— Можешь меня поздравить, я уже в Москве,— сказала она.

— А ключик? — спросил я.

— Остался в Харькове.

— Как! Ты приехала одна?

— Не совсем,— проговорила дружочек, и я услышал ее странный смешок.

— Как это не совсем? — спросил я, предчувствуя недоброе.

— А так! — услышал я беспечный голос.— Жди нас.

И через полчаса в мою комнату вбежала нарядно одетая, в модной шляпке, с сумочкой, даже, кажется, в перчатках дружочек, а следом за ней боком, криво, как бы расталкивая воздух высоко поднятым плечом, прошел в дверь человек в новом костюме и в соломенной шляпе-канотье — высокий, с ногой, двигающейся как на шарнирах.

Это был колченогий — так я буду его называть в дальнейшем — одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, вдруг появившихся среди нас, странное порождение этой эпохи.

Остатки деникинских войск были сброшены в Черное море; обезумевшие толпы беглецов из Петрограда, Москвы, Киева — почти все, что осталось от российской Вандеи,— штурмовали пароходы, уходившие в Варну, Стамбул, Салоники, Марсель.

Контрразведчики, не сумевшие пробиться на пароход, стрелялись тут же на пристани, среди груды брошенных чемоданов. Город, взятый с налета конницей Котовского и регулярной московской дивизией Красной Армии, одетой в новые оранжевые полушубки, был чист и безлюден,

как бы вычищенный железной метлой от всей его белогвардейской нечисти, многочисленных ярких вывесок магазинов, медных досок консульств и банков, золотых букв гостиниц и ресторанов...

Город, приняв огненное крещение, как бы очистился от скверны, помолодел и замер в ожидании начала новой жизни.

Пароходы с эмигрантами еще чернели на горизонте как выброшенная куча дымящегося шлака, а уже новая власть занимала опустевшие особняки, размещалась в городской управе, в штабе военного округа, в Воронцовском дворце, в редакциях газет, получивших новые названия и новое содержание.

В помещении деникинского Освага возникло новое советское учреждение ОдукРОСТа, то есть Одесское бюро украинского отделения Российского телеграфного агентства, с его агитотделом, выпускавшим листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты, тут же изготовлявшиеся на больших картонных и фанерных листах, написанные клеевыми красками. Плакаты эти тут же, еще не высохнув, разносились и развозились по всему городу на извозчиках и велосипедах. На плакатах под картинками помещались агитстихи нашего сочинения. Например:

«По небу полуночи Врангель летел, и грустную песню он пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел».

С утра до вечера в ОдукРОСТе кипела работа, стучали пишущие машинки, печатая сводки двух последних фронтов — польского и врангелевского, крымского.

Положение новой, советской власти все еще было неопределенным, хотя окончательная победа уже явно ощущалась.

Нашей ОдукРОСТой руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выделялся своим видом.

Во-первых, он был калека.

С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с переби-

тым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом, он появлялся в машинном бюро ОдукРОСТы, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками.

Может быть, он даже являлся им в грешных снах.

О нем ходило множество непроверенных слухов. Говорили, что он происходит из мелкопоместных дворян Черниговской губернии, порвал со своим классом и вступил в партию большевиков. Говорили, что его расстреливали, но он по случайности остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили кисть руки. Но кто его так покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности.

Во всяком случае, у него был партийный билет и все тогдашние чистки он проходил благополучно.

Он принадлежал к руководящей партийной головке города и в общественном отношении для нас, молодых беспартийных поэтов, был недосягаем, как звезда.

Между нами и им лежала пропасть, которую он сам не склонен был перейти.

У него были диктаторские замашки, и свое учреждение он держал в ежовых рукавицах.

Но самое удивительное заключалось в том, что он был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант, графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих, автор нашумевшей книги стихов «Аллилуйя», которая при старом режиме была сожжена как кощунственная по решению Святейшего Синода.

Это прибавляло к его личности нечто демоническое.

Вскоре в местных «Известиях» стали печататься его стихи. Вот, например, как он изображал революционный переворот в нашем городе:

«...от птичьего шеврона до лампаса полковника все погрузилось в дым. О, город Ришелье и де Рибаса! Забудь себя, умри и стань другим».

Птичьим шевроном поэт назвал трехцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме ижицы или римской пятерки, напоминая условное изображение птички, так сказать, галочку.

Эта поэтическая инверсия — «птичий шеврон» — привела нас в восхищение. Мы все страдали тогда детской болезнью поэтической левизны.

Помню еще отличное четверостишие колченогого того периода:

«Щедроты сердца не разменены, и хлеб — все те же пять хлебов, Россия Разина и Ленина, Россия огненных столбов».

Это и впрямь было прекрасное, хотя и несколько мистическое изображение революции.

Должен, кстати, опять предупредить читателей, что все стихи в этой книге я цитирую исключительно по памяти, так что не ручаюсь за их точность, а проверять не хочу, даже если это стихи Пушкина, так что рассматривать мое сочинение как научное пособие нельзя. Это чисто художественное отражение моего внутреннего мира. Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней поправки. Сделал же поправку Толстой, цитируя стихи Пушкина: «...и горько жалуюсь и горько слезы лью, но строк постыдных не смываю». А у Пушкина не «постыдных», а «печальных». Толстой превратил их в постыдные и был прав, так как имел обыкновение пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, *через себя.*

Первое время между колченогим и нами не было никакой товарищеской связи. Но ведь все же и мы, и он, кроме всего прочего, были поэты, то есть братья по безумию, так что мало-помалу мы не могли не сблизиться: ничто так не сближает людей, как поэзия.

Он стал изредка захаживать на наши поэтические собрания. Сначала свои стихи не читал, явно стеснялся, лишь изредка делая замечания, относящиеся к чужим стихам.

Его речь была так же необычна, как и его наружность. Его заикание заключалось в том, что часто в начале и в середине фразы, произнесенной с некоторым староукраинским акцентом, он останавливался и вставлял какое-то беспомощное, бессмысленное междометие «ото... ото... ото»...

— С точки... ото... ото... ритмической,— говорил он,— данное стихотворение как бы написано... ото... ото... сельским писарем...

Едучи впоследствии с колченогим в одном железнодорожном вагоне по пути из Одессы в Харьков, куда нас перебрасывали для усиления харьковского агитпропа, я слышал такую беседу колченогого с одним весьма высокопарным поэтом-классиком. Они стояли в коридоре и обсуждали бегущий мимо них довольно скучный новороссийский пейзаж.

Поэт-классик, носивший пушкинские бакенбарды, некоторое время смотрел в окно и наконец произнес свой приговор пейзажу, подыскав для него красивое емкое слово, несколько торжественное:

— Всхолмления!..

На что колченогий сказал:

— Ото... ото... скудоумная местность.

Он был ироничен и терпеть не мог возвышенных выражений.

Его поэзия в основном была грубо материальной, вещественной, нарочито корявой, немузыкальной, временами даже косноязычной. Он умудрялся создавать строчки шестистопного ямба без цезуры, так что тонический стих превращался у него в архаическую силлабику Кантемира.

Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом.

Колченогий брал самый грубый, антипоэтический материал, причем вовсе не старался его опоэтизировать. Наоборот. Он его еще более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. Это сближало колченогого с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения падаль.

На нас произвели ошеломляющее впечатление стихи, которые впервые прочитал нам колченогий своим запи-

нающимся, совсем не поэтическим голосом из только что вышедшей книжки с нрограммным названием «Плоть».

В этом стихотворении, называющемся «Предпасхальное», детально описывалось, как перед пасхой «в сарае, рыхлой шкурой мха покрытом», закалывают кабана и режут индюков к праздничному столу. Были блестяще описаны и кабан, и индюки, и предстоящее пасхальное пиршество хозяина-помещика.

Там были такие строки, по-моему пророческие:

«...и кабану, уж вялому от сала, забронированному тяжко им, ужель весна хоть смутно подсказала, что ждет его холодный нож и дым?.. Молчите, твари! И меня прикончит, по рукоять вогнав клинок, тоска, и будет выть и рыскать сукой гончей душа моя, ребенка-старичка»...

В этих ни на что не похожих, неуклюжих стихах мы вдруг ощутили вечное отчаяние колченогого, предчувствие его неизбежного конца.

«Плоть» была страшная книга.

«Ну, застрелюсь. И это очень просто: нажать курок и выстрел прогремит. И пуля виноградиной-наростом застрянет там, где позвонок торчит... А дальше что?.. И вновь, теперь уже как падаль,— вновь распотрошенного и с липкой течкойируснично-бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня... Обиду стерла кровь, и ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло (я!) к виску?.. О, безвозвратная! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку». А пальцы, корчась, тянутся к виску»...

Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его наголо обритой головой с шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке.

Я не буду цитировать еще более ужасных его стихотворений, способных довести до сумасшествия.

Нет, колченогий был исчадием ада.

Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в черном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон, отверженный богом

революции. Но его душа тяготела к этому богу. Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя.

Недаром же он писал:

«Как быстро высыхают крыши. Где буря? Солнце припекло. Градиной вихрь на церкви вышиб под самым куполом стекло. Как будто выхватив проворно остроконечную звезду — метавший ледяные зерна, гудевший в небе на лету. Овсы лохматы и корявы, а рожью крытые поля: здесь пересечены суставы, коленца каждого стебля. Христос! Я знаю, ты из храма сурово смотришь на Илью: как смел пустить он градом в раму и тронуть скинию твою? Но мне — прости меня, я болен, я богохульствую, я лгу — твоя раздробленная голень на каждом чудится шагу».

Теперь, когда я пишу эти строки, колченогого никто не помнит. Он забыт.

Но тогда он был известен только нам, тем, из которых остался в живых, кажется, только я один.

В Харькове после смерти Блока, после исчезновения Гумилева, после поволжского голода мы настолько сблизились с колченогим, что часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая друг другу стихи,— ключик, дружочек и я, еще не отдавая себе отчета, чем все это может кончиться.

Я первый уехал в Москву.

И вот я уже стою в тесной редакционной комнате «Красной нови» в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку королевича и мулата. Королевич во хмелю, мулат трезв и взбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает: ну что вы, товарищи...

Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда ей бежать: прямо на улицу или укрыться в крошечной каморке кабинета редакто-

ра Воронского, который сидел, согнувшись над своим шведским бюро, черный, маленький, носатый, в очках, сам похожий на ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя «выясняли отношения» два знаменитых поэта страны.

Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат — по ходячему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба и на его лошадь,— с пылающим лицом, в развевающемся пиджаке с оторванными пуговицами с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось.

Что между ними произошло?

Так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях мулат, кажется, упомянул об отношениях с королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными: то они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки.

По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной ненависти.

Не знаю, как мулат, но королевич всегда ненавидел мулата и никогда с ним не сближался, по крайней мере при мне. А я дружил и с тем и с другим, хотя с королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени мулата, не признавал его поэзии и говорил мне:

— Ну подумай, какой он, к черту, поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь?

Я отмалчивался, потому что весь был во власти поэзии мулата, а объяснить ее магическую силу не умел; да если бы и умел, то королевич все равно бы ее не принял: слишком они были разные.

Поединок мулата с королевичем кончился вничью; общими усилиями их разняли, и, закрутив вокруг горла кашне и нахлобучив кепку, которые имели на нем какой-то заграничный вид, оскорбленный мулат покинул редакцию, а королевич, из которого еще не вполне выветрился хмель, загнал меня в угол и вдруг неожиданно стал просить помирить его с Командором.

— Послушай, друг,— говорил он умоляющим, нежным, почти ребячьим голосом.— Ну что тебе стоит? Ты же с ним хорошо знаком. Он тебя печатает в своем «Лефе». Подлецы нас поссорили. А я его, богом клянусь, люблю и

считаю знаменитым русским поэтом, и, если хочешь знать, он меня тоже любит, только не хочет признаться там у себя, в Водопьяном переулке, стесняется своих футуристов, лефов или как их там — комфутов, пропади они пропадом. Вот те крест святой! Ты меня только поведи к нему на Водопьяный, а уж мы с ним договоримся. Не может быть того, чтобы два знаменитых русских поэта не договорились. Окажи дружбу!

Я был смущен и стал объяснять, что я вовсе не в таких близких отношениях с Командором, чтобы приводить в Водопьяный переулок незваных гостей, что меня там самого недолюбливают и еще, чего доброго, дадут по шее и что я вовсе не уверен, будто Командор действительно втайне любит его.

Но королевич не отставал.

— Пойми, какая это будет силища: я и он! Да у нас вся русская поэзия окажется в шапке.

Но я решительно отказался, отлично понимая, чем все это может кончиться.

— Тогда ладно,— сказал королевич,— не хочешь вести меня к Командору, так веди меня к его соратнику, а уж он меня наверняка подружит с самим. Соратник у него первый друг. А соратник тебя любит, я знаю, ты с ним дружишь, он считает тебя хорошим поэтом.

Королевич льстиво и в то же время издевательски заглядывал мне в лицо своими все еще хмельными глазами и поцеловал меня в губы.

Мы были с соратником действительно в самых дружеских отношениях, и я сказал королевичу:

— Ну что ж, к соратнику я тебя, пожалуй, как-нибудь сведу.

Но надо было знать характер королевича.

— Веди меня сейчас же. Я знаю, это отсюда два шага. Ты дал мне слово.

— Лучше как-нибудь на днях.

— Веди сейчас же, а то на всю жизнь поссоримся!

Это был как бы разговор двух мальчишек.

Я согласился.

Королевич поправил и сколько возможно привел в порядок свой скрученный жгутом парижский галстук, и мы поднялись по железной лестнице черного хода на седьмой этаж, где жил соратник. В дверях появилась русская бе-

локурая красавица несколько харьковского типа, настоящая Лада, почти сказочный персонаж не то из «Снегурочки», не то из «Садко».

Сначала она испугалась, отшатнулась, но потом, рассмотрев нас в сумерках черной лестницы, любезно улыбнулась и впустила в комнату.

Это было временное жилище недавно вернувшегося в Москву с Дальнего Востока соратника. Комната выходила прямо на железную лестницу черного хода и другого выхода не имела, так что, как обходились хозяева, неизвестно. Но все в этой единственной просторной комнате приятно поражало чистотой и порядком. Всюду чувствовалась женская рука. На пюпитре бехштейновского рояля с поднятой крышкой, что делало его похожим на черного, лакированного, с поднятым крылом Пегаса (на котором несомненно ездил хозяин-поэт), белела распахнутая тетрадь произведений Рахманинова. Обеденный стол был накрыт крахмальной скатертью и приготовлен для вечернего чая — поповские чашки, корзинки с бисквитами, лимон, торт, золоченые вилочки, тарелочки. Стопка белья, видимо только что принесенная из прачечной, источала свежий запах резеды — аромат кружевных наволочек и ажурных носовых платочков. На диване лежала небрежно брошенная русская шаль — алые розы на черном фоне.

Вазы с яблочной пастилой и сдобными крендельками так и бросались в глаза.

Ну и, конечно, по моде того времени над столом большая лампа в шелковом абажуре цвета танго.

— Какими судьбами! — воскликнула хозяйка и назвала королевича уменьшительным именем. Он не без галантности поцеловал ее ручку и назвал ее на ты.

Я был неприятно удивлен.

Оказывается, они были уже давным-давно знакомы и принадлежали еще к дореволюционной элите, к одному и тому же клану тогда начинающих, но уже известных столичных поэтов.

В таком случае при чем здесь я, приезжий провинциал, и для какого дьявола королевичу понадобилось, чтобы я ввел его в дом, куда он мог в любое время прийти сам по себе?

По-видимому, королевич был не вполне уверен, что его примут. Наверное, когда-то он уже успел наскандалить и поссориться с соратником.

Не следует забывать, что соратник и мулат были близкими друзьями и оба начинали в «Центрифуге» С. Боброва.

Теперь же оказалось, что все забыто, и королевича приняли с распростертыми объятиями, а я оставался в тени как человек в доме свой.

— А где же Коля? — спросил королевич.

— Его нет дома, но он скоро должен вернуться. Я его жду к чаю.

Королевич нахмурился: ему нужен был соратник сию же минуту.

Вынь да положь!

Он не выносил промедлений, особенно если был слегка выпивши.

— Странно это,— сказал королевич,— где же он шляется, интересно знать? Я бы на твоем месте не допускал, чтобы он где-то шлялся.

Лада принужденно засмеялась, показав подковки своих жемчужных маленьких зубов.

Она сыграла на рояле несколько прелюдов Рахманинова, которые я не могу слушать без волнения, но на королевича Рахманинов не произвел никакого впечатления — ему подавай Колю.

Лада предложила нам чаю.

— Спасибо, Ладушка, но мне, знаешь, не до твоего чая. Мне надо Колю!

— Он скоро придет.

— Мы уже это слышали,— с плохо скрытым раздражением сказал королевич.

Он положительно не переносил ни малейших препятствий к исполнению своих желаний. Хотя он и старался любезно улыбаться, разыгрывая учтивого гостя, но я чувствовал, что в нем уже начал пошевеливаться злой дух скандала.

— Почему он не идет? — время от времени спрашивал он, с отвращением откусывая рябиновую пастилу.

Видно, он заранее нарисовал себе картину: он приходит к соратнику, соратник тут же ведет его к Командору, Командор признается в своей любви к королевичу, королевич, в свою очередь, признается в любви к поэзии Командора, и они оба соглашаются разделить первенство на

российском Парнасе, и все это кончается апофеозом всемирной славы.

И вдруг такое глупое препятствие: хозяина нет дома, и когда он придет, неизвестно, и надо сидеть в приличном нарядном гнездышке этих непьющих советских старосветских помещиков, где, кроме Рахманинова и чашки чаю с пастилой, ни черта не добьешься.

А время шло.

Лицо королевича делалось все нежнее и нежнее. Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянув носом, и капризно сказал:

— Беда хочется вытереть нос, да забыл дома носовой платок.

— Ах, дорогой, возьми мой.

Лада взяла из стопки стираного белья и подала королевичу с обаятельнейшей улыбкой воздушный, кружевной платочек. Королевич осторожно, как величайшее сокровище, взял воздушный платочек двумя пальцами, осмотрел со всех сторон и бережно сунул в наружный боковой карманчик своего парижского пиджака.

— О нет! — почти пропел он ненатурально восторженным голосом.— Таким платочком достойны вытирать носики только русалки, а для простых смертных он не подходит.

Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло.

Я взорвался.

— Послушай,— сказал я,— я тебя привел в этот дом, и я должен ответить за твое свинское поведение. Сию минуту извинись перед хозяйкой — и мы уходим.

— Я? — с непередаваемым презрением воскликнул он.— Чтобы я извинялся?

— Тогда я тебе набью морду,— сказал я.

— Ты? Мне? Набьешь? — с еще большим презрением уже не сказал, а как-то гнусно пропел, провыл с иностранным акцентом королевич.

Я бросился на него, и, разбрасывая все вокруг, мы стали драться как мальчишки. Затрещал и развалился

подвернувшийся стул. С пушечным выстрелом захлопнулась крышка рояля. Упала на пол ваза с белой и розовой пастилой. Полетели во все стороны разорванные листы Рахманинова, наполнив комнату как бы беспорядочным полетом чаек.

Лада в ужасе бросилась к окну, распахнула его в черную бездну неба и закричала, простирая лебедино-белые руки:

— Спасите! Помогите! Милиция!

Но кто мог услышать ее слабые вопли, несущиеся с поднебесной высоты седьмого этажа!

Мы с королевичем вцепились друг в друга, вылетели за дверь и покатились вниз по лестнице.

Очень странно, что при этом мы остались живы и даже не сломали себе рук и ног. Внизу мы расцепились, вытерли рукавами из-под своих носов юшку и, посылая друг другу проклятия, разошлись в разные стороны, причем я был уверен, что нашей дружбе конец, и это было мне горько. А также я понимал, что дом соратника для меня закрыт навсегда.

Однако через два дня утром ко мне в комнату вошел тихий, ласковый и трезвый королевич. Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал:

— А меня еще потом били маляры.

Конечно, никаких маляров не было. Все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминисценция из «Преступления и наказания». Убийство, кровь, лестничная клетка, Раскольников...

Королевич обожал Достоевского и часто, знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так:

— Свидригайлов!

Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его больным воображением.

Таинственно улыбаясь, он сказал мне полушепотом, что меня ждет нечаянная радость. Я спросил какая. Но он сказал еще более таинственно:

— Сам увидишь скоро.

В веревочной кошелке, которую он держал в руках, я увидел бутылку водки и две копченые рыбины, связанные

за жабры бечевочкой. Рыбины были золотистого оттенка и распространяли острый аромат, вызывающий жажду, а чистый блеск водочной бутылки усугублял эту жажду. Но королевич, заметив мой взгляд, погрозил пальцем и, лукаво улыбнувшись, сказал:

— Только не сейчас. Потом, потерпи.

После этого он как некое величайшее открытие сообщил мне, что он недавно перечитывал «Мертвые души» и понял, что Гоголь гений.

— Ты понимаешь, что он там написал? Он написал, что в дождливой темноте России дороги расползлись, как раки. Ты понимаешь, что так сказать мог только гений! Перед Гоголем надо стать на колени. Дороги расползлись, как раки!

И королевич действительно стал на колени, обратился в ту сторону, где, по его мнению, находилась Арбатская площадь с памятником Гоголю, перекрестился как перед иконой и стукнулся головой об пол.

Я не захотел уступить ему первенство открытия, что Гоголь гений, и напомнил, что у Гоголя есть «природа как бы спала с открытыми глазами» и также «графинчик, покрытый пылью, как бы в фуфайке» в чулане Плюшкина, похожего на бабу.

— Неужели он это написал? — почти с суеверным ужасом воскликнул королевич.— А ты не врешь? — прибавил он, подозрительно глядя на меня.— Может быть, это ты сам выдумал, что графинчик был в фуфаечке, и морочишь меня?

— Прочти «Вия», прочти сцену у Плюшкина.

Он смущенно покрутил головой.

— Вот это да! Но все-таки мои раки гениальнее твоей природы, спящей с открытыми глазами. А в общем, куда нам всем по сравнению с Гоголем! Особенно имажинистам! Тоже мне «образное мышление».

Страстная любовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас, и мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя и в то же время чувствуя себя детьми великой русской литературы, правда еще не вполне выросшими, созревшими.

В этот миг раздался звонок и в дверях появился соратник. Это и был приятный сюрприз, обещанный мне королевичем. Оказывается, королевич уже успел где-то встретиться с соратником, извиниться за скандал, учиненный на седьмом этаже, и назначил ему свидание у ме-

ня, с тем чтобы прочитать нам еще никому не читанную новую поэму, только что законченную.

Соратник, крупный поэт, был, кажется, единственным из всех лефов, признававшим меня. Он настолько верил в меня как в поэта, что даже сердился, когда я брался за прозу. На одной из своих книжек он сделал мне такую надпись: большими буквами сверху стояло слово ПОЭТУ, дальше было мое имя и потом:

«с враждой за его отход от поэзии к «всерьез и надолгой» прозе, любящий его искренне — такой-то».

Может быть, он был мой самый настоящий, верный друг. Но он был гораздо старше меня как по возрасту, так и по литературному положению, и его дружба со мною имела скорее характер покровительства, что еще Пушкин назвал «иль покровительства позор».

Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет. Ни одной заметной черточки. Не за что зацепиться: ну в приличном осеннем пальто, ну с бритым, несколько старообразным сероватым лицом, ну, может быть, советский служащий среднего ранга, кто угодно, но только не поэт, а между тем все-таки что-то возвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так — ни одной заметной черты: рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником Командора, одним из вождей Левого фронта. Ну, словом, не могу его описать.

Складываю, как говорится, перо.

Помнится, в то утро королевич привел с собой какого-то полудеревенского паренька, доморощенного стихотворца, одного из своих многочисленных поклонников-приживал, страстно в него влюбленных.

Кто-нибудь из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пес, и все время канючил, прося позволения прочитать свои стихотворения.

Королевич обращался с ними грубо и насмешливо, не стесняясь в выражениях:

— Ну чего ты за мной ходишь? Может быть, ты воображаешь себя замечательным талантом-самородком вроде Алексея Кольцова или Никитина? Так можешь успокоиться: ты полная бездарность, твоими стихами можно только подтираться, и то поцарапаешь задницу. Ну? Не пускай сопли и не рыдай. Москва слезам не верит. Поворачивай лучше оглобли и возвращайся в деревню землю пахать, вместо того чтобы тут гнить. Все равно ни черта из тебя не получится, можешь мне поверить. Хоть, по крайней мере, не мелькай перед глазами, ступай в угол и молчи в тряпочку. Тоже мне гений! Знаешь, сколько ты мне стоишь? И на кой черт я тебя, дурака, пою-кормлю. Жалкий прихлебало!

В те годы развелось великое множество подражателей королевичу, приезжавших из деревни в Москву за славой. Им казалось, что слава королевича легкая, дешевая. Королевич их презирал, но все же ему льстило такое поклонение.

Кажется, ни один из этих несчастных, свихнувшихся на эфемерной литературной славе королевичевских эпигонов так и не выписался в сколько-нибудь приличного поэта.

Все они сгинули после смерти своего божества. Иные из них по примеру королевича наложили на себя руки.

Обиженный подражатель, утирая рукавом слезы, удалился.

Мы остались втроем — королевич, соратник и я. Королевич подошел ко мне, обнял и со слезами на глазах сказал с непередаваемой болью в голосе, почти шепотом:

— Друг мой, друг мой, я очень и очень болен! Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

Он произносил слово «очень» как-то изломанно, со своим странным акцентом. Выходило «ёчень, оёчень, иочень»...

Слова эти были сказаны так естественно, по-домашнему жалобно, что мы сначала не поняли, что это и есть первые строки новой поэмы.

Потом он встал, прислонился к притолоке, полузакрыл свои вдруг помутневшие глаза смертельно раненного человека, может быть даже животного — оленя,— и своим особым, надсадным, со странным акцентом голосом произнес:

— То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ль, как рощу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше невмочь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь.

Только тут мы поняли, что это начало поэмы.

«Черный человек» он произносил с особенным нажимом, еще более ломая язык:

«Чьорный, чьорный, чьорный, человек, ч'лавик»...

Королевич вздрогнул и стал озираться, как бы увидев невдалеке от себя ужасный призрак.

Мороз тронул мои волосы. Серое лицо соратника побледнело.

Поэма называлась «Черный человек».

— Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и, гнусавя надо мной, как над усопшим монах, читает мне жизнь какого-то прохвоста и забулдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Черный человек, черный, черный!..

Слезы текли по щекам королевича, когда он произносил слово «черный» не через «ё», а через «о» — чорный, чорный, чорный, хотя это «о» было как бы разбавлено мучительно тягучим «ё».

Чорный, чорный, чорный.

Что делало это слово еще более ужасным.

Это был какой-то страшный, адский вариант пушкинского:

«Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток; и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю».

Я уже упоминал, что Лев Толстой, читая это стихотворение, всегда с особенным упорством и значением вместо «строк *печальных*» говорил «строк *постыдных*».

Поэма королевича «Черный человек» была полна строк именно не *печальных,* но *постыдных,* которых поэт не мог и не хотел смыть, уничтожить.

«...Не знаю, не помню, в одном селе, может в Калуге, а может в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами... И вот стал он взрослым, к тому ж поэт, хоть и небольшой, но с ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою».

Королевич стоял, прислонясь к притолоке, и как бы исповедовался перед нами, не жалея себя и выворачивая наизнанку свою душу.

Мы были потрясены.

Он продолжал:

«Черный человек! Ты прескверный гость. Эта слава давно про тебя разносится». Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу...

Королевич вдруг как-то отпрянул и сделал яростный выпад, как будто бы и впрямь у него в руке была длинная острая трость с золотым набалдашником.

Потом он долго молчал, поникнув головой. А затем почти шепотом промолвил:

— ...Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один... И разбитое зеркало...

Звездообразная трещина разбитого зеркала как бы прошла через наши души. Какой неожиданный конец!

Оказывается, поэт сам как в горячечном бреду разговаривал со своим двойником, вернее, сам с собой.

Действительно, у него имелся цилиндр, привезенный из-за границы, и черная накидка на белой шелковой подкладке, наряд, в котором парижские щеголи некогда ходили на спектакли-гала́ в Гранд-Опера.

Однажды в первые дни нашей дружбы королевич появился в таком плаще и цилиндре, и мы шлялись всю

ночь по знакомым, а потом по бульварам, пугая редких прохожих и извозчиков.

Особенно испугался один дряхлый ночной извозчик на углу Тверского бульвара и Никитских ворот, стоявший, уныло поджидая седоков, возле еще не отремонтированного дома с зияющими провалами выбитых окон и черной копотью над ними — следами ноябрьских дней семнадцатого года.

Теперь там построено новое здание ТАСС.

Извозчик дремал на козлах. Королевич подкрался, вскочил на переднее колесо и заглянул в лицо старика, пощекотав ему бороду. Извозчик проснулся, увидел господина в цилиндре и, вероятно, подумал, что спятил: еще со времен покойного царя-батюшки не видывал он таких седоков.

— Давай, старче, садись на дрожки, а я сяду на козлы и лихо тебя прокачу! Хочешь? — сказал королевич.

— Ты что! Не замай! — крикнул в испуге извозчик.— Не хватай вожжи! Ишь фулиган! Позову милицию,— прибавил он, не на шутку рассердившись.

Но королевич вдруг улыбнулся прямо в бородатое лицо извозчика такой доброй, ласковой и озорной улыбкой, его детское личико под черной трубой шелкового цилиндра осветилось таким простодушием, что извозчик вдруг и сам засмеялся всем своим беззубым ртом, потому что королевич совсем по-ребячьи показал ему язык, после чего они — королевич и извозчик — трижды поцеловались, как на пасху.

И мы еще долго слышали за собой бормотание извозчика не то укоризненное, не то поощрительное, перемежающееся дребезжащим смехом.

Это были золотые денечки нашей легкой дружбы. Тогда он еще был похож на вербного херувима.

Теперь перед нами стоял все тот же кудрявый, голубоглазый знаменитый поэт, и на лице его лежала тень мрачного вдохновения.

Мы обмыли новую поэму, то есть выпили водки и закусили копченой рыбой. Но расстаться на этом казалось невозможным. Королевич еще раз прочитал «Черного человека», и мы отправились все вместе по знакомым и незнакомым, где поэт снова и снова читал «Черного человека», пил не закусывая, наслаждаясь успехом, который имела его новая поэма.

Успех был небывалый. Второе рождение поэта.

Конечно, я не смог не потащить королевича к ключику, куда мы явились уже глубокой ночью.

Ключик с женой жили в одной квартире вместе со старшим из будущих авторов «Двенадцати стульев» (другом, не братом!) и его женой, красавицей художницей родом из нашего города.

Появление среди ночи знаменитого поэта произвело переполох. До сих пор, кажется, никто из моих друзей не видел живого королевича. Дамы наскоро оделись, напудрились, взбили волосы. Ключик и друг натянули штаны. Все собрались в общей комнате, наиболее приличной в этой запущенной квартире в одном из глухих переулков в районе Сретенских ворот.

В пятый или шестой раз я слушал «Черного человека», с каждым разом он нравился мне все больше и больше. Уже совсем захмелевший королевич читал свою поэму, еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие — еле слышным шепотом.

Кончилось это внезапной дракой королевича с его провинциальным поклонником, который опять появился и сопровождал королевича повсюду, как верный пес. Их стали разнимать. Женщины схватились за виски. Королевич сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка. Его пытались успокоить, но он был уже невменяем.

Его навязчивой идеей в такой стадии опьянения было стремление немедленно мчаться куда-то в ночь, к Зинке, и бить ей морду.

«Зинка» была его первая любовь, его бывшая жена, родившая ему двоих детей и потом ушедшая от него к знаменитому режиссеру.

Королевич никогда не мог с этим смириться, хотя прошло уже порядочно времени. Я думаю, это и была та сердечная незаживающая рана, которая, по моему глубокому убеждению, как я уже говорил, лежала в основе творчества каждого таланта.

У Командора тоже:

«Вы говорили: «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть»,— а я одно видел: вы — Джиоконда, которую надо украсть! И украли».

У всех у нас в душе была украденная Джиоконда.

Мы с трудом вывели королевича из разгромленной квартиры на темный Сретенский бульвар с полуоблетевшими деревьями, уговаривая его успокоиться, но он продолжал бушевать.

Осипшим голосом он пытался кричать:

— И этот подонок... это ничтожество... жалкий актеришка... паршивый Треплев... трепло. Он вполз как змея в мою семью... изображал из себя нищего гения... Я его, подлеца, кормил, поил... Он как собака спал у нас под столом.... как последний шелудивый пес... И увел от меня Зинку... Потихоньку, как вор... и забрал моих детей... Нет!.. К черту!.. Идем сейчас же все вместе бить ей морду!..

Несмотря на все уговоры, он вдруг вырвался из наших рук, ринулся прочь и исчез в осенней тьме бульвара «бить морду Зинке».

Мы остались втроем: соратник, ключик и я. Мы поняли, что королевича уже ничто не спасет: он погибнет от белой горячки или однажды, сам не сознавая, что он делает, повесится, о чем он часто говорил во хмелю.

Что мы могли поделать? Это был рок. Проклятие.

Королевич был любимцем правительства. Его лечили. Делали все возможное. Отправляли неоднократно в санатории. Его берегли как национальную ценность. Но он отовсюду вырывался.

— Вот Командор другое дело. Командор никогда...— сказал соратник.— У Командора совсем другой характер. Он настоящий человек, строитель нового мира... революционер...

Мы согласились: Командор никогда не...

Но почему же соратник, ближайший друг Командора, комфут, вдруг ни с того ни с сего каким-то таинственным образом противопоставил судьбы этих двух, таких разных, гениев?

Думаю, что подсознательно он уже и тогда предвидел конец Командора, его самоуничтожение. Ведь Командор много раз говорил об этом в своих стихах, но почему-то никто не придавал этому значения.

Ключик молчал. Я понял его молчание среди этой темной московской ночи на бульваре: его сердце тоже терзал незаживающий рубец любви и измены.

Я вспомнил, как *тогда* он приехал из Харькова в Москву ко мне в Мыльников переулок. Он был прилично одет, выбрит, его голова, вымытая шампунем в парикмахерской, придавала ему решительность, независимость. Это уже не был милый дружок, а мужчина с твердым подбородком, однако я чувствовал, что в нем горит все та же сердечная рана. Один из первых вопросов, заданных мне, был вопрос, виделся ли я уже с дружочком и где она поселилась с колченогим.

Я рассказал ему все, что знал.

Он нахмурился, как бы прикусив польский ус, которого у него не было, что еще больше усилило его сходство с отцом.

Несколько дней он занимался устройством своих дел, а потом вдруг вернулся к мысли о дружочке. Я понял, что он не примирился с потерей и собирается бороться за свое счастье.

Однажды, пропадая где-то весь день, он вернулся поздно ночью и сказал:

— Я несколько часов простоял возле их дома. Окно в третьем этаже было освещено. Оранжевый мещанский абажур. Наконец я увидел ее профиль, поднятую руку, метнулись волосы. Ее силуэт обращался к кому-то невидимому. Она разговаривала со злым духом. Я не удержался и позвал ее. Она подошла к окну и опустила штору. Я могу поручиться, что в этот миг она побледнела. Я еще постоял некоторое время под уличным фонарем, и моя тень корчилась на тротуаре. Но штора по-прежнему висела не шевелясь. Я ушел. По крайней мере, я теперь знаю, где они живут. Что-то в этой сцене было от Мериме,— не удержался ключик от литературной реминисценции.

— Мы ее должны украсть.

Таким образом, было решено второе, после Мака, похищение дружочка. Но на этот раз я не рискнул идти в логово колченогого: слишком это был опасный противник, не то что Мак. Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас как поэт, над которым незримо витала зловещая тень Гумилева, некогда охотившегося вместе с колченогим в экваториальной Африке на львов и носорогов, не говоря уж о его таинственной судьбе, заставляв-

шей предполагать самое ужасное, он являлся нашим руководителем, идеологом, человеком, от которого, в конце концов, во многом зависела наша судьба. Переведенный из столицы Украины в Москву, он стал еще на одну ступень выше и продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице. В этом отношении по сравнению с ним мы были пигмеи. В нем угадывался демонический характер.

Однако по твердому, скульптурному подбородку ключика я понял, что он решился вступить в борьбу с великаном.

Ключик стоял посередине комнаты в Мыльниковом переулке, расставив ноги в новых брюках, недавно купленных в Харькове, в позе маленького Давида перед огромным Голиафом. Он великодушно отказался от моей помощи и решил действовать самостоятельно. Он надолго исчезал из дому, вел таинственные переговоры по телефону, часто посещал парикмахерскую, изредка даже гладил брюки утюгом на моем письменном столе, любовался на себя в зеркале, и в конце концов однажды у нас в комнате появилась наша Манон Леско.

Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами «Лориган» Коти, которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук московскими потаскушками, обосновавшимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин, не утративший еще своего дореволюционного названия «Мюр и Мерилиз».

Если раньше дружочек имела вид совсем молоденькой девушки, то теперь в ней проглядывало нечто дамское, правда еще не слишком явственно. Такими обычно выглядят бедные красавицы, недавно вышедшие замуж за богатого, еще не освоившиеся с новым положением, но уже научившиеся носить дамские аксессуары: перчатки, сумочку, кружевной зонтик, вуалетку.

Она нежно, даже, кажется, со слезами на глазах, словно бы вырвавшись из плена, целовала своего вновь обретенного ключика, ерошила ему шевелюру, обнимала, называла дружком и слоником и заливалась странным смехом.

Что касается колченогого, то о нем как бы по молчаливому уговору не упоминалось.

Вместе с дружочком к нам вернулась наша бродячая молодость, когда мы на случайных квартирах при свете коптилки читали только что вышедшее «Все сочиненное»

Командора — один из первых стихотворных сборников, выпущенных молодым Советским государством на плохой, тонкой, почти туалетной бумаге.

Боже мой, как мы тогда упивались этими стихами с их гиперболизмом, метафоричностью, необыкновенными составными рифмами, разорванными строчками и сумасшедшими ритмами революции.

«Дней бык пег. Медленна лет арба. Наш бог бег. Сердце наше барабан».

Мы выучили наизусть «Левый марш» с его

«Левой! Левой! Левой!»

Мы хором читали:

«Сто пятьдесят миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля — ритм. Рифма — огонь из здания в здание. Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими. Ротационкой шагов в булыжном верже площадей напечатано это издание».

Нас восхищало как нечто невообразимо прекрасное, неслыханное:

«Выйдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса, бог-человек!..»

«...пули погуще по оробелым! В гущу бегущим грянь, парабеллум»...

Среди странной, враждебной нам стихии нэпа, бушующего в Москве, в комнате на Мыльниковом переулке на один миг мы как бы вернулись в забытый нами мир отгремевшей революции. Как будто бы жизнь начиналась снова. И снова вокруг нас шли по черным ветвям мертвых деревьев тайные соки, обещавшие вечную весну.

...Именно в этот миг кто-то постучал в окно.

Стук был такой, как будто постучали костяшками мертвой руки.

Мы обернулись и увидели верхнюю часть фигуры колченогого, уже шедшего мимо окон своей ныряющей по-

ходкой, как бы выбрасывая вперед бедро. Соломенная шляпа-канотье на затылке. Профиль красивого мертвеца. Длинное белое лицо.

Ход к нам вел через ворота. Мы ждали звонка. Дружочек прижалась к ключику. Однако звонка не последовало.

— Непонятно,— сказал ключик.

— Вполне понятно,— оживленно ответила дружочек.— Я его хорошо изучила. Он стесняется войти и теперь, наверное, сидит где-нибудь во дворе и ждет, чтобы я к нему выскочила.

— Ни в коем случае! — резко сказал ключик.

Но надо же было что-то делать. Я вышел во двор и увидел два бетонных звена канализационных труб, приготовленных для ремонта, видимо, еще с дореволюционных лет. Одно звено стояло. Другое лежало. Оба уже немного ушли в землю, поросшую той травкой московских двориков с протоптанными тропинками, которую так любили изображать на своих небольших полотнах московские пейзажисты-передвижники.

...Несколько тополей. Почерневший от времени, порванный веревочный гамак висел перед желтым флигелем. Он свидетельствовал о мучительно длинной череде многолетних затяжных дождей. Но теперь сквозь желтоватые листья кленов светило грустное солнце, и весь этот старомосковский поленовский дворик, сохранившийся на задах нашего многоэтажного доходного дома, служил странным фоном для изломанной фигуры колченогого, сидевшего на одном из двух бетонных звеньев.

Нечто сюрреалистическое.

Он сидел понуро, выставив вперед свою искалеченную, плохо сгибающуюся ногу в щегольском желтом полуботинке от Зеленкина.

Вообще он был хорошо и даже щеголевато одет в стиле крупного администратора того времени. Культяпкой обрубленной руки, видневшейся в глубине рукава, он прижимал к груди свое канотье, в другой же руке, бессильно повисшей над травой, держал увесистый комиссарский наган-самовзвод. Его наголо обритая голова, шафранно-

желтая, как дыня, с шишкой, блестела от пота, а глаза были раскосо опущены. Узкий рот иезуитски кривился, и вообще в его как бы вдруг еще более постаревшем лице чудилось нечто католическое, может быть униатское, и вместе с тем украинское, мелкопоместное.

Он поднял на меня потухший взор и, назвав меня официально по имени-отчеству, то и дело заикаясь, попросил передать дружочку, которую тоже назвал как-то церемонно по имени-отчеству, что если она немедленно не покинет ключика, названного тоже весьма учтиво по имени-отчеству, то он здесь же у нас во дворе выстрелит себе в висок из нагана.

Пока он все это говорил, за высокой каменной стеной заиграла дряхлая шарманка, доживавшая свои последние дни, а потом раздались петушиные крики петрушки.

Щемящие звуки уходящего старого мира. Вероятно, они извлекали из глубины сознания колченогого его стихи:

«Жизнь моя, как летопись, загублена, киноварь не вьется по письму. Ну, скажи: не знаешь, почему мне рука вторая не отрублена?»

«Ну застрелюсь, и это очень просто»...

Колченогий был страшен, как оборотень.

Я вернулся в комнату, где меня ждали ключик и дружочек. Я сообщил им о том, что видел и слышал. Дружочек побледнела:

— Это он сделает. Я его слишком хорошо знаю.

Ключик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком. Однако его реакция на мой рассказ оказалась гораздо проще, чем я ожидал.

— Господа,— рассудительно сказал он, скрестив по-наполеоновски руки,— что-то надо предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы представляете последствия? Ответственный работник стреляется почти на наших глазах! Следствие. Допросы. Прокуратура. В лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем... даже страшно подумать! Нет, нет! Пока не поздно, надо что-то предпринять.

А что можно было предпринять?

Через некоторое время после коротких переговоров, которые с колченогим вел я, дружочек со слезами на гла-

зах простилась с ключиком, и, выглянув в окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего колченогого, удаляется в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка.

Было понятно, что это уже навсегда.

Кровавый конец колченогого отдалился на неопределенный срок. Но все равно — он был обречен: недаром так мучительно-сумбурными могли показаться его пророческие стихи.

Окончательный разрыв с дружочком ключик наружно перенес легко и просто. Он даже как бы несколько помолодел, будто для него началась вторая юность.

Но наши отношения с колченогим и дружочком, как это ни странно, ничуть не изменились. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались.

Мы с ключиком были неразлучны до тех пор, пока он не женился. Но и его женитьба ничего не изменила. Мы были оба внутренне одиноки, оба со шрамами от первой неудачной любви.

Но никто этого не замечал.

Последние годы Мыльникова переулка, о котором я еще расскажу более обстоятельно, оставили в моей душе навсегда неизгладимый след, как первая любовь.

Чистые пруды. Цветущие липы. Кондитерская Бартельса в большом пряничном доме стиля модерн-рюс на углу Покровки, недалеко от аптеки, сохранившейся с петровского времени. Кинотеатр «Волшебные грезы», куда мы ходили смотреть ковбойские картины, мелькающие ресницы Мери Пикфорд, развороченную походку Чарли Чаплина в тесном сюртучке, морские маневры — окутанные дымом американские дредноуты с мачтами, решетчатыми, как Эйфелева башня...

А позади бывшая гренадерская казарма, где в восемнадцатом году восставшие левые эсеры захватили в плен Дзержинского.

В том же доме, где помещались «Волшебные грезы», горевшие по ночам разноцветными электрическими лампочками, находилось и то прекрасное, что называлось у нас с легкой руки ключика на ломаном французском языке «экутэ ле богемьен», что должно было означать «слушать цыган».

Пока из окон «Волшебных грез» долетали звуки фор-

тепьянного галопа, крашеные двери пивной то и дело визжали на блоке, оттуда на морозный воздух вылетали облака пара, и фигуры в драповых пальто с каракулевыми воротниками то и дело по двое, по трое бочком спасались от снежных вихрей там, где на помосте уже рассаживался пестрый цыганский хор.

Мы с ключиком в надвинутых на глаза кепках, покрытых снегом, входили в эту второразрядную пивнушку, чувствуя себя по меньшей мере гусарами, примчавшимися на тройке к «Яру» слушать цыган.

Стоит ли описывать после Льва Толстого цыганские песни, надрывавшие души не одного поколения русских людей? Стоит ли описывать ночную метель — от неба до земли,— раскачиванье предутренних фонарей, отчего вся улица ныряла, как сорвавшийся с якоря корабль, и тени убегавших от нас цыганок с узелками под мышкой, в которых они несли своим детям-цыганятам в Петровский парк еду, полученную в трактире?

Бесплодная погоня за неземной, выдуманной цыганской любовью.

Единственно, что стоит вспомнить, это слова ключика по поводу одной старой-престарой, но могучей цыганки, сидевшей как идол в первом ряду хора, посередине, с длинными буклями по сторонам грубого мужского лица. Видимо, она была хозяйкой и повелительницей хора. Нечто вроде пчелиной матки.

— Ты знаешь, на кого она похожа? — спросил ключик.

— На кого?

Он сделал длинную паузу, во время которой несколько раз окунул подбородок в пивную пену, и наконец торжественно провозгласил:

— Она похожа на Джонатана Свифта!

Слово «Свифт» его не удовлетворяло. Ему непременно надо было произнести эффектное — Джонатан.

Однажды в присутствии Командора ключик не удержался и произнес с пафосом:

— Протуберанец!

Командор слегка поморщился, вокруг его рта появились складки, и он сказал:

— Послушайте, ключик, а вы не могли бы выражаться менее помпезно?

Ключик стал обидчиво объяснять, что слово «протуберанец» вполне научное и обозначает астрономическое

явление, связанное со структурой солнечной короны, на что Командор только безнадежно махнул рукой.

«...ночью снежной и мятежной чей-то струнный перебор» — и тени саней, летящих к «Яру», и звон колокольчика, и шорох крупных бубенцов...

...Так мы некоторое время и жили с ключиком...

Но не думайте, что я описываю двух бездельников, оторванных от жизни, от революции. Это совсем не так. Мы много и усердно работали в газете «Гудок», предназначенной для рабочих-железнодорожников.

По странному стечению обстоятельств в «Гудке» собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Три толстяка», «Зависть», «Двенадцать стульев», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Растратчики», «Мастер и Маргарита» и много, много других. Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу.

Каждый такой счет должна была подписать заведующая финансовым отделом, старая большевичка из ленинской гвардии еще времен «Искры».

Эта толстая пожилая дама в вязаной кофте с оторванной нижней пуговицей, с добрым, но измученным финансовыми заботами лицом и юмористической, почти гоголевской фамилией — не буду ее здесь упоминать — брала счет, пристально его рассматривала и чесала поседевшую голову кончиком ручки, причем глаза ее делались грустными, как у жертвенного животного, назначенного на заклание.

— Неужели все это вы умудрились настрочить за одну неделю? — спрашивала она, и в этой фразе как бы слышался осторожный вопрос: не приписали ли вы в своем счете что-нибудь лишнего?

Затем она тяжело вздыхала, отчего ее обширная грудь еще больше надувалась, и, обтерев перо о юбку, мака-

ла его в чернильницу и писала на счете сбоку слово «выдать».

Автор брал счет и собирался поскорее покинуть кабинет, но она останавливала его и добрым голосом огорченной матери спрашивала:

— Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их деваете?

Эти, в сущности, скромные выплаты казались ей громадными суммами.

Куда вы их деваете?

Могли ли мы с ключиком ответить на ее вопрос? Она бы ужаснулась. Ведь мы были одиноки, холосты, вокруг нас бушевал нэп... Наконец, «экутэ ле богемьен» — это ведь было не даром!

Мы молчали.

Она огорченно махала рукой. В самом деле, что она могла о нас подумать? Беспартийные, без роду без племени, неизвестно откуда взявшиеся, сомнительно одетые, с развязными манерами газетной богемы... Правда, не лишенные литературного таланта... И этим-то, в общем, подозрительным личностям приходилось выдавать святые партийные деньги.

Она так привыкла к понятию «партийная касса», что всякие деньги считала партийными и отдавать их на сторону считала чуть ли не преступлением перед революцией.

Подписывая наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой экономической политике. С волками жить — по-волчьи выть. Ее можно было понять.

Ключик зарабатывал больше нас всех. Он вообще родился под счастливой звездой. Его все любили.

— Что вы умеете? — спросили его, когда он, приехав из Харькова в Москву, пришел наниматься в «Гудок».

— А что вам надо?

— Нам надо стихи на железнодорожные темы.

— Пожалуйста.

Получив материал о непорядках на каком-то железнодорожном разъезде, ключик, как был в расстегнутом пальто, сел за редакционный стол, бросил кепку под стул и через пятнадцать минут вручил секретарю редакции требуемые стихи, написанные его крупным, разборчивым, круглым почерком.

Секретарь прочел и удивился — как гладко, складно, а главное, вполне на тему и политически грамотно!

После этого возник вопрос: как стихи подписать?

— Подпишите как хотите, хотя бы «А. Пушкин»,— сказал ключик,— я не тщеславный.

— У нас есть ходовой, дежурный псевдоним Зубило, под которым мы пускаем материалы разных авторов. Не возражаете?

— Валяйте.

Через месяц ходовой редакционный псевдоним прогремел по всем железнодорожным линиям, и Зубило стал уже не серым анонимом, а одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов, едва ли не затмив славу Демьяна Бедного.

Ключик-Зубило оказался бесценной находкой для «Гудка».

Синеглазый и я со своими маленькими фельетонами на внутренние и международные темы потонули в сиянии славы Зубилы. Как мы ни старались, придумывая для себя броские псевдонимы — и Крахмальная Манишка, и Митрофан Горунца, и Оливер Твист,— ничто не могло помочь. Простой, совсем не броский, даже скучный псевдоним Зубило стал в «Гудке» номером первым.

Когда Зубилу необходимо было выехать по командировке на какую-нибудь железнодорожную станцию, ему давали отдельный вагон!

Он часто брал меня с собой на свои триумфальные выступления, приглашая «в собственный вагон», что было для меня, с одной стороны, комфортабельно, но с другой — грызло мое честолюбие.

Ключик-Зубило выступал со своими знаменитыми буриме перед тысячными аудиториями прямо в паровозных депо, имея не меньший успех, чем наш харьковский дурак, некогда сделавший свою служебную карьеру стишками молодого ключика.

Но в «Гудке» произошло еще одно чудо.

В числе молодых, приехавших с юга в Москву за славой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской культуры, ее новейшего искусства — живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы (даже птицелов) еще не имели понятия. Во всем его облике было нечто неистребимо запад-

ное. Он одевался как все мы: во что бог послал. И тем не менее он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобретала на его голове парижский вид, а пенсне без ободков, сидящее на его странном носу и как бы скептически поблескивающее, его негритянского склада губы с небольшой черничной пигментацией были настолько космополитичны, что воспринять его как простого советского гражданина казалось очень трудным. Между тем среди всех нас, одержимых духом революции, он, быть может, был наиболее революционно-советским.

Он дружил с наследником (так мы назовем одного из нашей литературной компании), который и привел его к нам в агитотдел ОдукРОСТы, а потом и в так называемый коллектив поэтов, где он (назовем его просто друг), хотя большей частью и молчаливо, но весьма неравнодушно, принимал участие в наших литературных спорах.

Мы полюбили его, но никак не могли определить, кто же он такой: поэт, прозаик, памфлетист, сатирик? Тогда еще не существовало понятия эссеист.

Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, к кубо-футуристам. Нечто маяковское всегда витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус, и втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний «с места», всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойствен афористический стиль.

Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто весьма своеобразное, ни на что не похожее, но очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упражнениями провинциальных декадентов.

Сейчас, через много лет, мне трудно воспроизвести по памяти хотя бы один из его опусов. Помню только что-то, где по ярко-зеленому лугу бежали красные кентавры, как бы написанные Матиссом, и молнии ложились на темном горизонте, и это была вечная весна или нечто подобное...

Можете себе представить, каких трудов стоило устроить его на работу в Москве. О печатании его произведе-

ний, конечно, не могло быть и речи. Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне не пришла на первый взгляд безумная идея повести его наниматься в «Гудок».

— А что он умеет? — спросил ответственный секретарь.

— Все и ничего,— сказал я.

— Для железнодорожной газеты это маловато,— ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий, последний из рода польских графов Потоцких, подобно Феликсу Дзержинскому примкнувший к революционному движению, старый большевик, политкаторжанин, совесть революции, на вид грозный, с наголо обритой, круглой, как ядро, головой и со сложением борца-тяжеловеса, но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании.— Вы меня великодушно извините,— обратился он к другу, которого я привел к нему,— но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно?

Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись:

— В принципе пишу без грамматических ошибок.

— Тогда мы берем вас правщиком,— сказал Август.

Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников.

Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе; дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления.

•

Другу вручили пачку писем, вкривь и вкось исписанных чернильным карандашом. Друг отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. Он уважал рабочий класс, невиновный в своей безграмотности — наследии дореволюционного прошлого.

Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки.

Друг же поступил иначе. Вылущив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму — нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти — пятнадцати строчек в две колонки. Но зато ка-

ких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной.

Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать. Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии.

Это была маленькая газетная революция.

Старые газетчики долго вспоминали невозвратимо далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка».

Создатель же этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным, хотя через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность, о чем своевременно и будет рассказано.

Пока же мне не хочется расставаться с ключиком, с Мыльниковым переулком, с его особым поэтическим миром, где наши свободные мнения могли не совпадать с общепринятыми, где для нас не существовало авторитетов и мы независимо судили об исторических событиях, а о великих людях просто как о соседях по квартире.

О Льве Толстом и Наполеоне судили строго, но справедливо, не делая скидок на всемирную славу. Некоторых из великих мы совсем не признавали. Много читали. Кое-чем чрезмерно восхищались. Кое-что напрочь отвергали. Словом, позволяли себе «колебать мировые струны».

Вокруг нас бушевали политические страсти. Буржуазный мир еще не мог смириться с победой Октябрьской революции. Волны ненависти катились на нас с Запада. Советская власть с каждым днем мужала, но ей все еще приходилось преодолевать множество препятствий.

Сегодня трудно себе представить, но в стране была безработица и в Москве работала Биржа труда. Среди бурь и потрясений рождалось могучее государство рабо-

чих и крестьян. Появились новые формы общественного сознания, производственных отношений.

Эпоха Великого Поиска.

Все несло на себе печать новизны.

Новый кинематограф. Новый театр. Новая поэзия. Новая проза. Новая живопись.

Новые имена гремели вокруг нас. Новые поэмы. Новые фильмы. Новая техника.

Появились первые радиоаппараты — самодельные ящики с детекторными приемниками, и, надев на голову наушники, можно было слушать муравьиную возню неразборчивой человеческой речи на разных языках и слабую музыку, бог весть откуда доносившуюся из мирового эфира в наш Мыльников переулок.

Но все это как бы не имело к нам отношения.

Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений. А то, что было написано нами раньше, преждевременно умирало, едва успев родиться. Однако это нас нисколько не огорчало.

Может быть, этим и восхищался Брунсвик...

Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в Колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая, как паруса.

Мы посещали знаменитую первую Сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян, колхозников и единоличников, из всех союзных республик в своих национальных одеждах, в тюбетейках и папахах, оставя павильоны и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная вонь скотных дворов, толпились на берегу разукрашенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким дюралевым «юнкерсом» на водяных лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пестрым табором выставки, то садился на воду, бегущую синей рябью под дряхлым Крымским мостом на том месте,

где ныне мы привыкли видеть стальной висячий мост с натянутыми струнами креплений.

«И чего глазеет люд? Эка невидаль — верблюд! Я на «юнкерсе» катался, да и то не удивлялся».

Именно к этому периоду нашего творческого бездействия, изнурительно-медленного созревания гражданского самосознания мне бы хотелось отнести те отрывочные воспоминания о ключике на пороге его зрелости, о его оригинальном мышлении, о его совершенно невероятных метафорах, секрет которых ныне утрачен, как утрачен секрет химического состава неповторимых красок мастеров старинной итальянской живописи, и по сей день не потерявшей своей светящейся свежести.

Вероятно, здесь мы имеем дело с физиологическим феноменом: особым устройством механизма запоминания в мозговых клетках ключика, странным образом соединенного с механизмом ассоциативных связей.

Метафора — это, в общем, довольно банальная форма поэтической речи. Кто из писателей не пользовался метафорой! Но метафоры ключика отличаются такой невероятной ассоциативной сложностью, которая уже не в состоянии выдержать собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной простоты.

В жизни он был так же метафоричен, как в своих произведениях.

Уже тяжело больной, на пороге смерти он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок:

— Вы переворачиваете меня, *как лодку*.

Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком.

Быть может, самая его блестящая и нигде не опубликованная метафора родилась как бы совсем случайно и по самому пустому поводу:

у нас, как у всяких холостяков, завелись две подружки-мещаночки в районе Садовой-Триумфальной, может быть в районе Миусской площади. Одна чуть повыше, другая чуть пониже, но совершенно одинаково одетые в белые батистовые платьица с кружевами, в белых носоч-

ках и в белых шляпках с кружевными полями. Одна была «моя», другая — «его».

Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших прежних любовных неудач.

Наши юные подруги были малоразговорчивы, ненавязчиво нежны, нетребовательны, уступчивы и не раздражали нас покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого, возможно, даже и не подозревали.

Иногда они приходили к нам в Мыльников переулок, никогда не опаздывая, и ровно в назначенный час обе появлялись в начале переулка — беленькие и нарядные.

(Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких возлюбленных!)

Однако ключик решил эту стилистическую задачу очень просто.

Однажды, посмотрев в окно на садящееся за крыши солнце, он сказал:

— Сейчас придут флаконы.

Так они у нас и оставались на всю жизнь под кодовым названием флаконы, с маленькой буквы.

По-моему, безукоризненно!

Одно только слово — и все совершенно ясно, вся, так сказать, картина.

На этом можно и остановиться.

Остальные метафоры ключика общеизвестны:

«Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев» — и т. д.

Наконец, неизвестные «голубые глаза огородов».

Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал:

— Можешь закончить длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой, нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов. Непременно эти три волшебных слова как заключительный аккорд. «Голубые глаза ого-

родов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь.

Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть.

Боюсь, что она так и останется как неприкаянная. Но ведь она уже и так, одна, сама по себе произведение искусства и никакого рассказа для нее не надо.

Что же касается классической ветки, полной цветов и листьев, то она нашла место в одном из самых популярных сочинений ключика. Эта прошумевшая ветка, полная цветов и листьев, вероятнее всего ветка белой акации («...белой акации гроздья душистые вновь аромата полны»), была той неизлечимой душевной болью, которую ключик пронес через всю свою жизнь после измены дружочка, подобно Командору, у которого украли его Джиоконду еще во времена «Облака в штанах».

...тщетные поиски навсегда утраченной первой любви, попытки как-то ее воскресить, найти ей замену...

Конечно, этой заменой не могли стать для нас флаконы, так же незаметно исчезнувшие, как и появившиеся, не оставив после себя никакого следа, даже запаха.

Боже мой, сколько еще потом появлялось и исчезало подобных флаконов, получавших, конечно, другие кодовые названия, изобретенные ключиком вместе со мной в Мыльниковом переулке.

Так как это мое сочинение — или, вернее, лекция — не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю, а является продуктом мовизма, придуманного мною в счастливую минуту, то я считаю вполне естественным рассказать в этом месте обо всех изобретенных нами кодовых названиях, облегчавших нам определение разных знакомых женских типов.

Но прежде хочется привести кусочек из письма Пушкина Вяземскому 1823 года из Одессы в Москву. Может быть, это прольет некоторый свет на мовизм, а также на литературный стиль моих сочинений последних десятилетий.

Вот что писал Пушкин:

«...я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобыт-

ном нашем языке утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе...»

Ломаю эту привычку. Итак:

высший тип женщины — небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных, как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена,— на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа. Она неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в «Метрополе» вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные Матиссом золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забывали о существовании мимолетных видений и гениев чистой красоты. В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор, а в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, а два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в смокинге, под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает, с ее ресниц течет черная краска и шлейф крепдешинового платья оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника.

Следом за небожительницей в ранге красавиц идет хорошенькая девушка более современного полуспортивного типа, в кофточке джерси с короткими рукавами, с ямочками на щеках и на локотках, чаще всего азартная любительница пинг-понга, имеющая у нас кодовое название «Ай дабль-даблью. Блеск домен. Стоп! Лью!».

(Дань американизму Левого фронта двадцатых годов: из стихов соратника.)

После ай дабль-даблью идет таракуцка (происходит от румынского слова «тартакуца», то есть маленькая вы-

сушенная тыквочка, величиной с яблоко, превратившегося у нас в южнорусское слово «таракуцка» — любимая игрушка маленьких деревенских детей). Если ее потрясти, в середине зашуршат высушенные семечки. Таракуцки были наиболее распространенным у нас типом молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса — продавщиц, вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик, наполнявших в часы пик московские улицы. Они были большие модницы, хотя и одевались стандартно: лихо надетые набекрень белые суконные беретики, аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав, на плотных ножках туфелькитанкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка. Они были самостоятельны, независимы, улыбчивы; их всегда можно было видеть вечером под светящимися уличными часами, в ожидании свиданья с каким-нибудь красавцем или даже с немолодым советским служащим, улизнувшим от бдительного ока супруги. Их еще называли «фордики» в честь первых такси, недавно появившихся на улицах Москвы. Признаться, из всех видов красавиц они были для нас самые привлекательные, конечно не считая флаконов. Таракуцки были маленькие московские парижанки, столичные штучки, то, что когда-то во Франции называлось «мидинетки», их не портило даже то, что пальчики на руках и ногах у них были как бы не до конца прорезаны, вроде некоторых видов сдобного печенья, надрезанного по краям. Видимо, создавая их, бог очень торопился и не вполне закончил свою работу.

За таракуцками шли женщины неприятные, и среди них самый неприятный тип был холера — тощая, очень чернобровая, с плохими зубами, висящими космами прямых волос и пронзительным индюшачьим голосом. Как ни странно, но бывали случаи, когда небожительница перерождалась в холеру, а холера каким-то образом преображалась в небожительницу, но это случалось крайне редко.

Зато между таракуцками и ай дабль-даблью было больше сходства, и мужчины нередко их путали, что, впрочем, не приносило им особых огорчений.

Был еще более возвышенный и одухотворенный тип холеры, — с пятнами черных глазных впадин и страстно

раскинутыми, как бы распятыми руками, как известный барельеф, высеченный на длинной кладбищенской стене.

И, наконец, первый день творенья. Очень молоденькая, рано созревшая, малограмотная, с неразвитой речевой артикуляцией, испуганными глазами на толстом свекловично-багровом лице, каким-то образом, чаще всего случайно, очутившаяся в большом городе и показывающая прохожим листок бумаги, на котором каракулями написан адрес, который она разыскивает. Первый день творенья чаще всего превращалась в няньку (няньки в то время еще не перевелись), в железнодорожную сторожиху, держащую в руке зеленый флажок, но чаще всего поступала на фабрику и с течением времени превращалась в таракуцку.

Были еще какие-то разновидности, открытые мною с ключиком, но я уже о них забыл. Имелись также типы и мужчин, но перечислять их не стоит, так как все они являлись для нас игрой воображения, выходцами из старого мира, заимствованными из дореволюционной классической литературы.

Все это было для нас литературной игрой, вечной тренировкой наблюдательности, в особенности же упражнением в сравнениях.

Однажды мы так заигрались в эту игру в сходства, что ключик, рассердившись не на шутку, закричал:

— Будем считать, что все похоже на все, и кончим это метафорическое мучение!

В чем-то он, конечно, был прав. Но я думаю, что подобного рода игра ума, которой мы занимались чуть ли не с гимназических лет, сослужила нам впоследствии, когда мы стали всерьез писателями, большую службу.

...я чувствовал, что ключик никак не может забыть ту, которая еще так недавно прошумела в его жизни, как ветка, полная цветов и листьев.

Подобно Прусту, искавшему утраченное время, ключик хотел найти и восстановить утраченную любовь. Он смоделировал образ ушедшего от него дружка, искал ей замену, его душа находилась в состоянии вечного тайного любовного напряжения, которое ничем не могло разрешиться.

То, что он так упорно искал, оказалось под боком, рядом, в Мыльниковом переулке, почти напротив наших окон.

Моя комната была проходным двором. В ней всегда, кроме нас с ключиком, временно жило множество наших приезжих друзей. Некоторое время жил с нами вечно бездомный и неустроенный художник, брат друга, прозванный за цвет волос рыжим. Друг говорил про него, что когда он идет по улице своей нервной походкой и размахивает руками, то он похож на манифестацию. Вполне допустимое преувеличение.

Так вот этот самый рыжий художник откуда-то достал куклу, изображающую годовалого ребенка, вылепленную совершенно реалистически из папье-маше и одетую в короткое розовое платьице.

Кукла была настолько художественно выполнена, что в двух шагах ее нельзя было отличить от живого ребенка.

Наша комната находилась в первом этаже, и мы часто забавлялись тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка на подоконник и, дождавшись, когда в переулке появлялся прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок вываливается из окна.

Раздавался отчаянный крик прохожего, что и требовалось доказать.

Скоро слава о чудесной кукле распространилась по всему району Чистых прудов. К нашему окну стали подходить любопытные, прося показать искусственного ребенка.

Однажды, когда ключик сидел на подоконнике, к нему подошли две девочки из нашего переулка — уже не девочки, но еще и не девушки, то, что покойный Набоков назвал «нимфетки», и одна из них сказала, еще несколько по-детски шепелявя:

— Покажите нам куклу.

Ключик посмотрел на девочку, и ему показалось, что это то самое, что он так мучительно искал. Она не была похожа на дружочка. Но она была ее улучшенным подобием — моложе, свежее, прелестнее, невиннее, а главное, по ее фаянсовому личику не скользила ветреная улыбка изменницы, а личико это было освещено серьезной любознательностью школьницы, быть может совсем и не отличницы, но зато честной и порядочной четверочницы.

Тут же не сходя с места ключик во всеуслышание поклялся, что напишет блистательную детскую книгу-сказку, красивую, роскошно изданную, в коленкоровом переплете, с цветными картинками, а на титульном листе бумаги напечатано, что книга посвящается...

Он спросил у девочки имя, отчество и фамилию; она добросовестно их сообщила, но, кажется, клятва ключика на нее не произвела особого впечатления. У нее не была настолько развита фантазия, чтобы представить свое имя напечатанным на роскошной подарочной книге знаменитого писателя. Ведь он совсем еще был не знаменитость, а всего лишь, с ее точки зрения, немолодой симпатичный сосед по переулку, не больше.

Он стал за ней ухаживать как некий добрый дядя, что выражалось в потоке метафорических комплиментов, остроумных замечаний, которые пропадали даром, так как их не могла оценить скромная чистопрудная девочка, едва вышедшая из школьного возраста. Дело дошло до того, что ключик пригласил ее с подругой в упомянутое уже здесь кино «Волшебные грезы» на ленту с Гарри Пилем; девочки получили большое удовольствие, в особенности от того, что ключик купил им мороженое с вафлями, которое они бережливо облизывали со всех сторон во время сеанса.

Одним словом, роман не получился: слишком велика была разница лет и интеллектов. Но обещанную книгу ключик стал писать, рассчитывая, что, пока он ее напишет, пока ее примут в издательстве, пока художник изготовит иллюстрации, пока книга выйдет в свет, пройдет года два или три, а к тому времени девочка созреет, поймет, что он гений, увидит напечатанное посвящение и заменит ему дружочка.

Большая часть расчетов ключика оправдалась. Он написал нарядную сказку с участием девочки-куклы; ее иллюстрировал (по протекции колченогого) один из лучших графиков дореволюционной России, Добужинский, на титульном листе четким шрифтом было отпечатано посвящение, однако девичья фамилия девочки, превратившейся за это время в прелестную девушку, изменилась на фамилию моего младшего братца, приехавшего из провинции и успевшего прижиться в Москве, в том же Мыльниковом переулке.

Он сразу же влюбился в хорошенькую соседку, но не стал ее обольщать словесной шелухой, а начал за ней ухаживать по всем правилам, как заправский жених, имеющий серьезные намерения: он водил ее в театры, рестораны, кафе «Битые сливки» на Петровке за церковкой, которой уже давно не существует и куда водил своих возлюбленных также Командор — очень модное место в Москве, — провожал на извозчике домой, дарил цветы и шоколадные наборы, так что вскоре в моей комнате в Мыльниковом переулке шумно сыграли их свадьбу, на которой ключик, несмотря на то, что изрядно выпил, вел себя вполне корректно, хотя и сделал робкую попытку наскандалить, после чего счастливые молодожены поселились в небольшой квартирке, которую предусмотрительно нанял мой положительный брат.

Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я отрицательным.

В скором времени мой брат стал знаменитым писателем, так что девочка с Мыльникова переулка ничего не потеряла и была вполне счастлива.

Конечно, вас интересует, каким образом мой брат прославился?

Об этом стоит рассказать подробнее, тем более что мне часто задают вопрос, как создавался роман «Двенадцать стульев», переведенный на все языки мира и неоднократно ставившийся в кино многих стран.

...Я встаю и, отстраняя микрофон, который всегда меня раздражает, начинаю свой рассказ с описания авторов «Двенадцати стульев» — сначала я говорю о друге, а потом о брате:

— Мой брат, месье и медам, был на шесть лет моложе меня, и я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал, — вследствие чего и получил название «наш кувака».

Затем я говорю студентам о нашей семье, о рано умершей матери и об отце, окончившем с серебряной медалью Новороссийский университет, ученике прославленного византиниста, профессора, академика Кондакова; говорю о нашей семейной приверженности к великой рус-

ской литературе и папиному книжному шкафу, где как величайшие ценности хранились двенадцатитомная «История Государства Российского» Карамзина, полное собрание сочинений Пушкина, Гоголя, Чехова, Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Лескова, Гончарова и так далее.

Я рассказываю, как у нас в семье ценился юмор и как мой братец, еще будучи гимназистом приготовительного класса, сочинял смешные рассказы — вполне детские, но уже обещавшие большой литературный талант.

Все это я говорю для того, чтобы подвести аудиторию к пониманию источников юмора, которым пронизаны «Двенадцать стульев».

Я говорю довольно связно, повторяя уже много раз говоренное, а в это же самое время, как бы пересекая друг друга по разным направлениям, и в разных плоскостях, передо мной появляются цветные изображения, таинственным образом возникающие из прошлого, из настоящего, даже из будущего, — порождение еще не разгаданной работы множества механизмов моего сознания.

Говорю одно, вижу другое, представляю третье, чувствую четвертое, не могу вспомнить пятое, и все это совмещается с тем материальным миром, в сфере которого я нахожусь в данный миг: маленький золотой карандашик в руке, голубые прописи между линейками большой тетради, переделкинская зелень за окном, сильно тронутая сентябрьской желтизной, или же наоборот — свинцовое майское небо, лужи, покрытые рыбьими глазами весеннего дождя.

...и еще много непознанного в психике, над чем всю жизнь трудился Павлов и гадал Фрейд.

Запись Ю. П. Фролова, сообщенная в книге С. Д. Каминского «Динамическое нарушение коры головного мозга». М., 1948, с. 195—196:

«Павлов говорил: когда я думаю о Фрейде и о себе, мне представляются две партии горнорабочих, которые начали копать железнодорожный туннель в подошве большой горы — человеческой психики. Разница состоит, однако, в том, что Фрейд взял немного вниз и зарылся в дебрях бессознательно, а мы добрались уже до света... Изучая явления иррадиации и концентрации торможе-

ния в мозгу, мы по часам можем ныне проследить, где начался интересующий нас нервный процесс, куда он перешел, сколько времени там оставался и в какой срок вернулся к исходному пункту. А Фрейд может гадать о внутренних состояниях человека. Он может, пожалуй, стать, основателем новой религии».

Почему же я обращаюсь к этим молодым итальянцам или французам славистам, студентам и студенткам, которые стараются записать мою неорганизованную речь в свои блокноты, а сам я смотрю — быть может, последний раз в жизни — в окно на средневековый двор старинного Миланского университета, на белые и черные статуи, на аркады, окружающие невероятно просторный двор, но при этом почему-то думаю о судьбе старых европейских деревьев, которым опоздавшая весна не позволяет зазеленеть, — черных многовековых деревьев, вечно преследующих меня по дорогам Брабанта, Фландрии, Уэльса, Нормандии, Пьемонта, Ломбардии?..

Одни из них бегут за мной и не могут догнать; другие убегают от меня за горизонт, и я не могу их догнать.

Но все они кажутся мне лишь черными скелетами, хотя я и знаю, что в них надежно теплится зеленая жизнь, никогда их не покидающая; летом она бушует, осенью начинает осторожно прятаться, зимой таинственно спит, прикидываясь мертвой, в корневых сосудах, в капиллярах, среди возрастных колец сердцевины, но никогда не умирает, вечно живет.

Лето умирает. Осень умирает. Зима — сама смерть. А весна постоянна. Она живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся материи, только меняет свои формы.

Самая волнующая форма — это миг, предшествующий появлению первой зелени на черноте якобы мертвых древесных развилок.

Может быть, это март в Александровском парке, где мама, вся черная, как и деревья вокруг нас, стояла возле мертвого розариума, и черный ветер с моря нес над трепещущим орлиным пером ее шляпы грузные дождевые облака, и все в мире казалось мертвым, между тем как весна незримо, как жизнь моего еще не родившегося братишки, уже где-то трепетала, и билось маленькое сердечко.

Брат приехал ко мне в Мыльников переулок с юга, вызванный моими отчаянными письмами. Будучи еще почти совсем мальчишкой, он служил в уездном уголовном розыске, в отделе по борьбе с бандитизмом, свирепствовавшим на юге. А что ему еще оставалось? Отец умер. Я уехал в Москву. Он остался один, не успев даже окончить гимназию. Песчинка в вихре революции. Где-то в степях Новороссии он гонялся на обывательских лошадях за бандитами — остатками разгромленной петлюровщины и махновщины, особенно свирепствовавшими в районе еще не вполне ликвидированных немецких колоний.

Я понимал, что в любую минуту он может погибнуть от пули из бандитского обреза. Мои отчаянные письма в конце концов его убедили.

Он появился уже не мальчиком, но еще и не вполне созревшим молодым человеком, жгучим брюнетом, юношей, вытянувшимся, обветренным, с почерневшим от новороссийского загара худым, несколько монгольским лицом, в длинной, до пят, крестьянской свитке, крытой поверх черного бараньего меха синим грубым сукном, в юфтевых сапогах и кепке агента уголовного розыска. Он поселился у меня. Его все время мучило, что он живет, ничем не занимаясь, на моих хлебах. Он решил поступить на службу. Но куда? В стране все еще была безработица. У него имелись отличные рекомендации уездного уголовного розыска, и он пошел с ними в московский уголовный розыск, где ему предложили место, как вы думаете, где? — ни более ни менее как в Бутырской тюрьме надзирателем в больничном отделении.

Он сообщил мне об этом не без некоторой гордости, прибавив, что теперь больше не будет мне в тягость.

Я ужаснулся.

...мой родной брат, мальчик из интеллигентной семьи, сын преподавателя, серебряного медалиста Новороссийского университета, внук генерал-майора и вятского соборного протоиерея, правнук героя Отечественной войны двенадцатого года, служившего в войсках Кутузова, Багратиона, Ланжерона, атамана Платова, получившего четырнадцать ранений при взятии Дрездена и Гамбурга, — этот юноша, почти еще мальчик, должен будет за двадцать рублей в месяц служить в Бутырках, открывая ключами больничные камеры, и носить на груди металлическую бляху с номером!..

Несмотря на все мои уговоры, брат не соглашался отказаться от своего намерения и аккуратно стал ездить на трамвае в Бутырки, до которых было настолько далеко от Мыльникова переулка, что приходилось два раза пересаживаться и еще одну остановку проезжать на дряхлом автобусе: получалось, что на один только проезд уходит почти все его жалованье.

Я настаивал, чтобы он бросил свою глупую затею. Он уперся. Тогда я решил сделать из него профессионального журналиста и посоветовал что-нибудь написать на пробу. Он уперся еще больше.

— Но почему же? — спрашивал я с раздражением.

— Потому что я не умею, — почти со злобой отвечал он.

— Но послушай, неужели тебе не ясно, что каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать?

— Что именно?

— Бог мой, ну что-нибудь.

— Конкретно?

— Мало ли... Не все ли равно... Ты столько рассказывал забавных случаев из своей уголовной практики. Ну возьми какой-нибудь сюжетец.

— Например?

— Ну, например, как вы там где-то в уезде накрыли какого-то типа по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски.

— Я не умею, — заскрипел зубами брат, и его шоколадного цвета глаза китайского разреза свирепо сверкнули.

Тогда я решил употребить самое грубое средство.

— Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?

Мой брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, но сдержался и, еще сильнее стиснув зубы, процедил, с ненавистью глядя на меня:

— Хорошо. Я напишу. Говори, что писать.

— Напиши про Гуся и доски.

— Сколько страниц? — спросил он бесстрастно.

— Шесть, — сказал я, подумав.

Он сел за мой письменный столик между двух окон, придвинул к себе бумагу, обмакнул перо в чернильницу и стал писать — не быстро, но и не медленно, как автомат, ни на минуту не отрываясь от писания, с яростно-

неподвижным лицом, на котором я без труда прочел покорность и отвращение.

Примерно через час, не сделав ни одной помарки и ни разу не передохнув, он исписал от начала до конца ровно шесть страниц и, не глядя на меня, подал свою рукопись через плечо.

— Подавись! — тихо сказал он.

У него оказался четкий, красивый, мелкий почерк, унаследованный от папы. Я пробежал написанные им шесть страниц и с удивлением понял, что он совсем недурно владеет пером. Получился отличный очерк, полный юмора и наблюдательности.

Я тотчас отвез его на трамвае А в редакцию «Накануне», дал секретарю, причем сказал:

— Если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать. Вы понимаете — *надо!* От этого зависит судьба человека.

Рукопись полетела на «юнкерсе» в Берлин, где печаталось «Накануне», и вернулась обратно уже в виде фельетона, напечатанного в литературном приложении под псевдонимом, который я ему дал.

— Заплатите как можно больше,— сказал я представителю московского отделения «Накануне».

После этого я отнес номер газеты с фельетоном под названием «Гусь и доски» (а может быть, «Доски и Гусь») на Мыльников и вручил ее брату, который был не столько польщен, сколько удивлен.

— Поезжай за гонораром,— сухо приказал я.

Он поехал и привез домой три отличных, свободно конвертируемых червонца, то есть тридцать рублей,— валюту того времени.

— Ну,— сказал я,— так что же выгоднее, служить в Бутырках или писать фельетоны? За один час сравнительно легкой и чистой работы ты получил больше, чем за месяц бездарных поездок в Бутырки.

Брат оказался мальчиком сообразительным и старательным, так что месяца через два, облазив редакции всех юмористических журналов Москвы, веселый, общительный и обаятельный, он стал очень прилично зарабатывать, не отказываясь ни от каких жанров: писал фельетоны в прозе и, к моему удивлению, даже в стихах, давал темы для карикатур, делал под ними подписи, подружился со всеми юмористами столицы, наведывался в «Гудок», сдал казенный наган в Московское управле-

ние уголовного розыска, отлично оделся, немного пополнел, брился и стригся в парикмахерской с одеколоном, завел несколько приятных знакомств, нашел себе отдельную комнату, и однажды рано утром я встретил его на Большой Дмитровке.

...он, видимо, возвращался после ночных похождений. Тогда еще не вывелись извозчики, и он ехал в открытом экипаже на дутиках — то есть на дутых резиновых шинах,— модно одетый молодой человек, жгучий брюнет с косым пробором, со следами бессонной ночи на красивом добродушном лице, со скользящей мечтательной улыбкой и слипающимися счастливыми глазами.

Кажется, он спросонья мурлыкал про себя что-то из своих любимых опер, а к пуговице его пиджака был привязан на длинной нитке красный воздушный шарик, сопровождавший его как ангел-хранитель и ярко блестевший на утреннем московском солнышке.

Меня он не заметил.

Проплыл мимо, мягко подпрыгивая на дутиках, и я как старший брат, с одной стороны, был доволен, что из него, как говорится, «вышел человек», а с другой стороны, чувствовал некоторое неодобрение по поводу его образа жизни, хотя сам вел себя в таком же духе, если не хуже.

Наша встреча произошла на том самом месте, где несколько лет спустя Командор назначил мне свидание, с тем чтобы накануне очередной октябрьской годовщины мы пошли в МК и там в отделе пропаганды сочинили бы вместе стихотворные лозунги для праздничной демонстрации на Красной площади после военного парада.

Приглашая меня на эту совместную поэтическую работу, Командор строго заметил:

— Но имейте в виду — это бесплатно. Это наш с вами гражданский долг.

МК помещался тут же рядом, в том особняке, где сейчас находится Прокуратура СССР, и мы сидели в пустой комнате агитпропа и сочиняли лозунги, которые потом, написанные на кумачовых полотнищах, поплыли над толпой по улицам Москвы, а потом через всю Красную площадь мимо Мавзолея, еще в то время деревянного.

По странному стечению обстоятельств через несколько лет на том же самом месте мы встретились с Коман-

дором, шагавшим на голову выше остальных прохожих. Он только что написал «Марш времени» для своей «Бани» и тут же в такт своим чугунным шагам прочитал его мне: видимо, ему не терпелось лишний раз проверить его звучание среди шумной улицы революционной Москвы.

«Вперед, время! Время, вперед!»

Этот кусок города сохранился до сих пор почти в полной неприкосновенности, подобно тому как среди обломков моей разрушающейся и перестраивающейся памяти сохранилось видение Командора, выбрасывающего вперед шагающие ноги с задранными тупыми носами башмаков, и клюквенно-красного, отражающего солнышко воздушного шарика, плывущего над экипажем моего брата, которому в недалеком будущем предстояло сделаться соавтором знаменитого на весь мир романа.

Сейчас я вам, синьоры, расскажу, каким образом появился на свет этот роман.

Прочитав где-то сплетню, что автор «Трех мушкетеров» писал свои многочисленные романы не один, а нанимал нескольких талантливых литературных подельщиков, воплощавших его замыслы на бумаге, я решил однажды тоже сделаться чем-то вроде Дюма-пера и командовать кучкой литературных наемников. Благо в это время мое воображение кипело и я решительно не знал, куда девать сюжеты, ежеминутно приходившие мне в голову. Среди них появился сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура.

Сюжет не бог весть какой, так как в литературе уже имелось «Шесть Наполеонов» Конан Дойля, а также уморительно смешная повесть молодого, рано умершего советского писателя-петроградца Льва Лунца, написавшего о том, как некое буржуазное семейство бежит от советской власти за границу, спрятав свои бриллианты в платяную щетку.

Маленький, худенький, с прелестным личиком обреченного на раннюю смерть, Лев Лунц, приведенный Кавериным в Мыльников переулок, с такой серьезностью читал свою повесть, что мы буквально катались по полу от смеха.

Ну и еще кое-что в этом роде я слышал в ту пору.

Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели.

Теперь-то я знаю, что теория моя ошибочна. Сейчас у меня совсем противоположное мнение: в хорошем романе (хотя я и не признаю деление прозы на жанры) герой должен быть неподвижен, а обращаться вокруг него должен весь физический мир, что и составит если не галактику, то, во всяком случае, солнечную систему художественного произведения.

Ну а тогда, увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила «Мертвых душ» заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя. В силу своей страсти к обогащению Чичиков принужден все время быть в движении — покупать у разных людей мертвые души. Именно это позволило автору создать целую галерею человеческих типов и характеров, что составляет содержание его разоблачительной поэмы.

Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давали, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа.

Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облекают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман, в отличие от Дюма-пера выходящий под нашими тремя именами. А гонорар делится поровну.

Почему я выбрал своими неграми именно их — моего друга и моего брата? На это трудно ответить. Тут, вероятно, сыграла известную роль моя интуиция, собачий нюх на таланты, даже еще не проявившиеся в полную силу.

Я представил себе их обоих — таких разных и таких ярких — и понял, что они созданы для того, чтобы дополнять друг друга. Мое воображение нарисовало некоего двуединого гения, вполне подходящего для роли моего негра.

До этого дня они оба были, в общем, мало знакомы друг с другом. Они вращались в разных литературных сферах. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы. Между ними проскочила, как говорится в старых романах, электрическая искра. Они приветливо улыбнулись друг другу и согласились на мое предложение.

Возможно, их прельстила возможность крупно заработать; чем черт не шутит! Не знаю. Но они согласились. Я же уехал на Зеленый мыс под Батумом сочинять водевиль для Художественного театра, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа.

Несколько раз они присылали отчаянные телеграммы, прося указаний по разным вопросам, возникающим во время сочинения романа.

Сначала я отвечал им коротко:

«Думайте сами».

А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь в субтропиках, среди бамбуков, бананов, мандаринов, висящих на деревьях как маленькие зелено-желтые фонарики, деля время между купаньем, дольче фар ньенте и писанием «Квадратуры круга».

Еще почти совсем летнее октябрьское солнце, косые черноморские волны, безостановочно набегающие на пляж, те самые волны, о которых по ту сторону Зеленого мыса сочинял мулат, еще более посмуглевший на аджарском солнце, следующие строки:

«...Их много. Им немыслим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. Прибой, как вафли, их печет... В родстве со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

Боюсь, что к своему концу я действительно впадаю в ересь неслыханной простоты.

Но что же делать, если так случилось? Впрочем, мовизм — это и есть простота, но не просто простота, а именно неслыханная...

Так пел мулат за Зеленым мысом в Кобулетах —

«...обнявший, как поэт в работе, что в жизни порознь видно двум,— одним концом — ночное Поти, другим — светающий Батум»...

Но я пытаюсь быть пощаженным, соединив в этом своем сумбурном выступлении ересь сложности с ересью неслыханной простоты, чего так и не удалось в своей прозе достигнуть мулату.

Брат и друг обиделись на мое молчание и перестали тревожить меня телеграммами с мольбами о помощи.

Иногда я совершал набег на Батум с бамбуковыми галереями его гостиниц, с бархатной мебелью духанов, где подавалось ни с чем не сравнимое кипиани в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками, нанимал ялик, выезжал на батумский рейд и, сбрасывая с себя одежду, бросался в темную, уже почти ночную воду акватории, покрытую павлиньими перьями нефти.

Пока мои спутники, два грузинских поэта, оставшихся в ялике, с ужасом восхищались моим молодецким поступком, я плавал и нырял среди пароходов, черные корпуса которых были вблизи такими огромными, что рядом с их красными рулями высотой с двухэтажный дом я сам себе казался зеленым лягушонком, готовым каждый миг пойти ко дну, как бы затянутый в зловещую пропасть.

Я испугался.

Грузинские поэты втащили меня за руки в ялик, и я, испуганный и озябший, натянул одежды на свое мокрое тело, так как нечем было вытереться; грудь моя была поцарапана о борт ялика, когда меня вытаскивали.

Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову,

ездили цугом в фаэтонах с зажженными фонарями по сторонам козел, направляясь в загородные духаны пировать, и их сопровождал особый фаэтон, в котором ехал шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки, издававшей щемящие звуки австрийских вальсов и чешских полек, где старуха аджарка в чуваках продавала тыквенные семечки, сидя под лохматым, как бы порванным банановым листом, служившим навесом от солнца...

Едва я появился в холодной, дождливой Москве, как передо мною предстали мои соавторы. С достоинством, несколько даже суховато они сообщили мне, что уже написали более шести печатных листов.

Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух.

Уже через десять минут мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж — Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали — великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной.

Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее:

— Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь. Ваш Остап Бендер меня доконал.

— Позвольте, Дюма-пер, мы очень надеялись, что вы пройдетесь по нашей жалкой прозе рукой мастера,— сказал мой друг с тем свойственным ему выражением странного, вогнутого лица, когда трудно понять, серьезно ли он говорит или издевается.

— Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас бог. Завтра же я еду в издательство и перепишу договор с нас троих на вас двоих.

Соавторы переглянулись. Я понял, что именно этого они от меня и ожидали.

— Однако не очень радуйтесь,— сказал я,— все-таки

сюжет и план мои, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды своих усилий и размышлений...

— В часы одинокие ночи,— дополнил мою мысль братец не без ехидства, и оба соавтора улыбнулись одинаковой улыбкой, из чего я сделал заключение, что за время совместной работы они настолько сблизились, что уже стали как бы одним человеком, вернее, одним писателем.

Значит, мой выбор оказался совершенно точен.

— Чего же вы от нас требуете? — спросил мой друг.

— Я требую от вас следующего: пункт «а»— вы обязуетесь посвятить роман мне и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях как на русском, так и на иностранных языках, сколько бы их ни было.

— Ну, это пожалуйста! — с облегчением воскликнули соавторы.— Тем более что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание — русское.

— Молодые люди,— сказал я строго, подражая дидактической манере синеглазого,— напрасно вы так легко согласились на мое первое требование. Знаете ли вы, что вашему пока еще не дописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но также и мировая слава?

Соавторы скромно потупили глаза, однако мне не поверили. Они еще тогда не подозревали, что я обладаю пророческим даром.

— Ну хорошо, допустим,— сказал друг,— с пунктом «а» покончено. А пункт «б»?

— Пункт «б» обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портсигар.

Соавторы вздрогнули.

— Нам надо посоветоваться,— сказал рассудительный друг.

Они отошли к окну, выходящему на извозчичий двор, и некоторое время шептались, после чего вернулись ко мне и, несколько побледнев, сказали:

— Мы согласны.

— Смотрите же, братцы, не надуйте.

— Вы, кажется, сомневаетесь в нашей порядочности? — голосом дуэлянта произнес друг, для которого

вопросы чести всегда и во всем стояли на первом месте.

Я поклялся, что не сомневаюсь, на чем наша беседа и закончилась.

Долго ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман наконец был напечатан в журнале и потом вышел отдельной книгой, и на титульном листе я не без тайного тщеславия прочел напечатанное мне посвящение.

Пункт «а» был свято выполнен.

— Ну а пункт «б»? — спросило меня несколько голосов в одном из английских университетов.

— Леди и гамильтоны,— торжественно сказал я словами известного нашего вратаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного «леди и джентльмены» начал его восклицанием «леди и гамильтоны», будучи введен в заблуждение нашумевшей кинокартиной «Леди Гамильтон».

...— Ну а что касается пункта «б», то с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я. Молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов:

— Старик Саббакин, нам необходимо с вами повидаться. Когда вы можете нас принять?

— Да валяйте хоть сейчас! — воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем смягченный обращением ко мне «старик Саббакин».

(«Старик Саббакин» был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах.)

Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие.

— Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту «б».

С этими словами один из соавторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза

мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопочкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть раза в два меньше.

Эти жмоты поскупились на мужской.

— Мы не договаривались о том, какой должен быть портсигар — мужской или дамский,— заметил мой друг, для того чтобы сразу же пресечь всяческие словопрения.

Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской «Жалобной книги»:

— Лопай, что дают.

На чем наши деловые отношения закончились, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в «Метрополь».

Роман «Двенадцать стульев», надеюсь, все читали, и я не буду, леди и гамильтоны, его подробно разбирать. Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге: «Мусик, дай мне гусик» — или что-то подобное.

Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое.

Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга птицелова, эскесса и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени за свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов, в обложке из зеленой обойной бумаги, с загадочным названием «Зеленые агаты». Там были такие строки:

«Зеленые агаты! Зелено-черный вздох вам посылаю тихо, когда закат издох». И прочий вздор вроде «...гордостройный виконт в манто из лягушечьих лапок, а в ру-

ке — красный зонт» — или нечто подобное, теперь уже не помню.

Это была поэтическая корь, которая у него скоро прошла, и он стал писать прелестные стихи сначала в духе Михаила Кузьмина, а потом уже и совсем самостоятельные.

К сожалению, в памяти сохранились лишь осколки его лирики.

«Не архангельские трубы — деревянные фаготы пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах... Не таясь и не тоскуя, слышу я как голос милой золотое Аллилуйя над высокою могилой».

Он написал:

«Есть нежное преданье на Ниппоне о маленькой лошадке вроде пони», которая забралась на рисовое поле и лакомилась зелеными ростками. За ней погнался разгневанный крестьянин, но ее спас художник, вставив в свою картину.

Он изобразил осенние груши на лотке; у них от тумана слезились носики и тому подобное.

У него было вечно ироническое выражение добродушного, несколько вытянутого лица, черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, озорной носик сатирикончика, студенческая тужурка, диагоналевые брюки...

Как все поэты, он был пророк и напророчил себе золотое Аллилуйя над высокой могилой.

Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени — короткого отрезка гетманского владычества на Украине. Полная чепуха. Какие-то синие жупаны, державная варта, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по Брестскому миру почти весь юг России.

Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический,

чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить. Но по ошибке, введенные в заблуждение фамилией, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двуспальный полосатый матрац.

Я не был на его похоронах, но ключик рассказывал мне, как молодая жена убитого поэта и сама поэтесса, красавица, еще так недавно стоявшая на эстраде нашей «Зеленой лампы» как царица с двумя золотыми обручами на голове, причесанной директуар, и читавшая нараспев свои последние стихи:

«...Радикальное средство от скуки — ваш изящный мотор-ландоле. Я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле...»

...теперь, распростершись, лежала на высоком сыром могильном холме и, задыхаясь от рыданий, с постаревшим, искаженным лицом хватала и запихивала в рот могильную землю, как будто именно это могло воскресить молодого поэта, еще так недавно слышавшего небесные звуки деревянных фаготов, певших ему о жизни грубой, о печалях, о заботах и о вечной любви к прекрасной поэтессе с двумя золотыми обручами на голове.

— Ничего более ужасного,— говорил ключик,— в жизни своей я не видел, чем это распростертое тело молодой женщины, которая ела могильную землю, и она текла из ее накрашенного рта.

Но что же в это время делал брат убитого поэта Остап?

То, что он сделал, было невероятно.

Он узнал, где скрываются убийцы, и один, в своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скры-

вались бандиты, в так называемую хавиру, и, войдя, положил на стол свое служебное оружие — пистолет-маузер с деревянной ручкой.

Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять.

Бандиты ответили вежливостью на вежливость и, в свою очередь, положили на стол револьверы, обрезы и финки.

— Кто из вас, подлецов, убил моего брата? — спросил он.

— Я его пришил по ошибке вместо вас, я здесь новый, и меня спутала фамилия,— ответил один из бандитов.

Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза.

— Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?

— Тогда не знал. А теперь уже имею сведения: известного поэта, друга птицелова. И я прошу меня извинить. А если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь — и будем квиты.

Всю ночь Остап провел в хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга птицелова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались взасос.

Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря.

Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами.

Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску и в особенности Ростову-на-Дону — вечному сопернику Одессы.

Остапа тянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь

не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас.

Вот каков был прототип Остапа Бендера.

— Это все очень любопытно, то, что вы нам рассказываете, синьор профессоре, но мы интересуемся золотым портсигаром. Не можете ли вы нам его показать?

Я был готов к этому вопросу. Его задавали решительно всюду — и в Европе и за океаном. В нем заключался важный философский смысл: золото дороже искусства. Всем хотелось знать, где золото.

— Увы, синьоры, мистеры, медам и месье, леди и гамильтоны, я его продал, когда мне понадобились деньги.

Вздох разочарования, но вместе с тем и глубокого понимания пролетел по рядам молодых, любознательных и весьма патлатых студентов.

— А что стало с вашей комнатой, месье ле профессёр, в том переулке, который вы называете таким трудно произносимым словом, как «Мильникоф»? Она занимает так много места в ваших лекциях.

К этому стандартному вопросу я тоже был готов.

— Мыльников переулок, или, если вам угодно, виа Мыльников, рю Мыльников или же Мыльников-стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы. Но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер четыре стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший Мыльников переулок, дом четыре. Мою комнату легко заметить с улицы; на ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца, весьма обыкновенная защита от воров как в Европе, так и за океаном.

Время от времени в моей памяти возникают разные события, происшедшие в давние времена в Мыльниковом переулке.

Теперь трудно поверить, но в моей комнате вместе со мной в течение нескольких дней на диване ночевал великий поэт будетлянин, председатель земного шара. Здесь он, голодный и лохматый, с лицом немолодого уездного землемера или ветеринара, беспорядочно читал свои странные стихи, из обрывков которых вдруг нет-нет да и

вспыхивала неслыханной красоты алмазная строчка, например:

«...деньгою серебряных глаз дорога...» —

при изображении цыганки. Гениальная инверсия. Или:
«...прямо в тень тополевых теней, в эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет»...

Или:

«Мне мало надо! Краюшку хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака».

Или же совсем великое!

«Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на ты. Мы, воины, смело ударим рукой по суровым щитам, да будет народ государем всегда, навсегда, здесь и там. Пусть девы споют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца самосвободном народе»...

Многие из нас именно так моделировали эпоху.

Мы с будетлянином питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом.

Председатель земного шара не выражал никакого неудовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из наволочки, которую всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочоночками лото.

Он показывал мне свои «доски судьбы» — большие листы, где были напечатаны математические непонятные формулы и хронологические выкладки, предсказывающие судьбы человечества.

Говорят, он предсказал первую мировую войну и Октябрьскую революцию.

Неизвестно, когда и где он их сумел напечатать, но,

вероятно, в Ленинской библиотеке их можно найти. Мой экземпляр с его дарственной надписью утрачен, как и многое другое, чему я не придавал значения, надеясь на свою память.

Несомненно, он был сумасшедшим. Но ведь и Магомет был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие.

Я был взбешен, что его не издают, и решил повести будетлянина вместе с его наволочкой, набитой стихами, прямо в Государственное издательство. Он сначала противился, бормоча с улыбкой, что все равно ничего не выйдет, но потом согласился, и мы пошли по московским улицам, как два оборванца, или, вернее сказать, как цыган с медведем. Я черномазый молодой молдаванский цыган, он — исконно русский пожилой медведь, разве только без кольца в носу и железной цепи.

Он шел в старом широком пиджаке с отвисшими карманами, останавливаясь перед витринами книжных магазинов и с жадностью рассматривая выставленные книги по высшей математике и астрономии. Он шевелил губами, как бы произнося неслышные заклинания на неком древнеславянском диалекте, которые можно было по мимике понимать примерно так:

«О, Даждь-бог, даждь мне денег, дабы мог я купить все эти драгоценные книги, так необходимые мне для моей поэзии, для моих досок судьбы».

В одном месте на Никитской он не удержался и вошел в букинистический магазин, где его зверино-зоркие глаза еще с улицы увидели на прилавке «Шарманку» Елены Гуро и «Садок судей», второй выпуск — одно из самых ранних изданий футуристов, напечатанное на синеватой оберточной толстой бумаге, посеревшей от времени, в обложке из обоев с цветочками. Он держал в своих больших лапах «Садок судей», осторожно перелистывая толстые страницы и любовно поглаживая их.

— Наверное, у вас тоже нет денег? — спросил он меня с некоторой надеждой.

— Увы,— ответил я.

Ему так хотелось иметь эти две книжки! Ну хотя бы одну — «Садок судей», где были, кажется, впервые напечатаны его стихи. Но на нет и суда нет.

Он еще долго держал в руках книжки, боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина еще более мешковатый, удрученный.

На балконе безвкусного особняка в стиле московского модерна миллионера Рябушинского против церкви, где венчался Пушкин, ненадолго показалась стройная, со скрещенными на груди руками фигура Валерия Брюсова, которого я сразу узнал по известному портрету не то Серова, не то Врубеля. Ромбовидная голова с ежиком волос. Скуластое лицо, надменная бородка, глаза египетской кошки, как его описал Андрей Белый. Он еще царствовал в литературе, но уже не имел власти. Время символизма навсегда прошло, на нем был уже не сюртук с шелковыми лацканами, а нечто советское, даже, кажется, общепринятая толстовка. Впрочем, не ручаюсь.

Оставив будетлянина в вестибюле внизу на диване, среди множества авторов с рукописями в руках и строго наказав ему никуда не отлучаться и ждать, я помчался вверх по широченной, манерно изогнутой лестнице с декадентскими, как бы оплывшими перилами, украшенными лепными барельефами символических цветов, полулилиями-полуподсолнечниками, и, несмотря на строгий окрик барышни-секретарши, ворвался в непотребно огромный кабинет, где за до глупости громаднейшим письменным столом сидел не Валерий Брюсов, а некто маленький, ничтожный человечек, наставив на меня черные пики усов. Профессор!

Терять мне в ту незабвенную пору было нечего, и я, кашляя от скрытого смущения и отплевываясь, не стесняясь, стал резать правду-матку: дескать, вы издаете халтуру всяких псевдопролетарских примазавшихся бездарностей, недобитых символистов, в то время как у вас под носом голодает и гибнет величайший поэт современности, гениальный будетлянин, председатель земного шара, истинный революционер-реформатор русского языка и так далее.

Я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное и меня с позором вышвырнут из кабинета.

Однако человечек с грозными пиками усов (тот самый литературный критик, фамилию которого Командор так ужасно и, кажется, несправедливо зарифмовал со словом «погань») оказался довольно симпатичным и даже ласковым. Он стал меня успокаивать, всплеснул ручками, захлопотал:

— Как! Разве он в Москве? Я не знал. Я думал, что он где-то в Астрахани или Харькове!

— Он здесь,— сказал я,— сидит внизу, в толпе ваших халтурщиков.

— Так тащите же его поскорее сюда! Он принес свои стихи?

— Да. Целую наволочку.

— Прекрасно! Мы их непременно издадим в первую очередь.

Я бросился вниз, но будетлянина уже не было. Его и след простыл. Он исчез. Вероятно, в толпе писателей, как и всегда, нашлись его страстные поклонники и увели его к себе, как недавно увел его к себе и я.

Я бросился на Мыльников переулок. Увы. Комната моя была пуста.

Больше я уже никогда не видел будетлянина.

Потом до Москвы дошла весть, что он умер где-то в глубине России, по которой с котомкой и посохом странствовал вместе со своим другом, неким художником. Потом уже стало известно, что оба они пешком брели по дорогам родной, милой их сердцу русской земли, по ее городам и весям, ночевали где бог послал, иногда под скупыми северными созвездиями, питались подаянием. Сперва простудился и заболел воспалением легких художник. Он очень боялся умереть без покаяния. Будетлянин его утешал:

— Не бойся умереть среди родных просторов. Тебя отпоют ветра.

Художник выздоровел, но умер сам будетлянин, председатель земного шара. И его «отпели ветра».

...Кажется, он умер от дизентерии.

Впрочем, за достоверность не ручаюсь. Так гласила легенда. Да и вообще вся наша жизнь в то время была легендой.

Затем на некоторое время в комнату на Мыльниковом переулке вселилась банда странных, совсем юных поэтов-ничевоков, которые спали вповалку на полу и прыгали в комнату в окно прямо с улицы, издавая марсианские вопли. Они напечатали сборник своих сумбурных стихотворений под названием «Собачий ящик», поставив вместо даты:

«Москва. Хитров рынок. Советская водогрейня».

Один из них носил почему-то котелок.

Хитров рынок был тем самым прибежищем босяков, местом скопления самых низкопробных московских ночлежек, которые некогда послужили материалом для Художественного театра при постановке «На дне».

Я еще застал Хитров рынок, сохранившийся в неприкосновенности с дореволюционных времен.

Помню яркую лунную ночь. Голубое и черное среди опасных закоулков, дряхлых проходных дворов, полуразрушенных домов, этих ни с чем не сравнимых трущоб, населенных болезненными людьми в серых лохмотьях, стариками, чахоточными, базарными проститутками, мелкими рахитичными воришками-домушниками, беспросветно пьяными, нанюхавшимися кокаина, зеленолицыми, иногда с проваленными носами сифилитиками. Они ютились в ночлежках на нарах, покрытых вшивой, трухлявой соломой. Они как тени бродили среди помоек освещенного луною двора и подбирали какие-то бумажки, принимая их за кредитки.

Это было неописуемо ужасно.

А водогрейня, откуда ничевоки добывали себе бесплатный кипяточек, отбрасывала черную коленкоровую тень своего навеса на половину зловещей площади, залитой голубым лунным светом, куда не отваживалась заглядывать даже милиция. Это была неуправляемая часть столицы.

Хитров рынок помещался сравнительно недалеко от моих Чистых прудов.

Незадолго до своего конца однажды грустным утром ко мне зашел королевич, трезвый, тихий, я бы даже сказал благостный — инок, послушник. Только скуфейки на нем не было.

— Ты знаешь,— негромко сказал он,— не такой уж я пропащий, как обо мне говорят. Послушай мои последние стихи. Это лучшее, что я написал.

Он подсел ко мне на тахту, как-то по-братски обнял меня одной рукой и, заглядывая в лицо, стал читать те свои самые последние прелестные стихи, которые и до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез.

Всем известны эти стихи, прозрачные и ясные, как маленькие алмазики чистейшей воды.

Не могу удержаться, чтобы не переписать здесь по памяти:

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой? Или что увидел? Или что услышал? Словно за деревню погулять ты вышел. И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу... Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым»...

Он читал со слезами на слегка уже полинявших глазах. Ну и, конечно:

«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый робок и застенчив, по равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый! Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим — что такое? И станцуем вместе под тальянку трое».

Он с таким детским удивлением произнес это «спросим — что такое?», что мне захотелось плакать сам не знаю отчего.

Тогда я не понимал, что это его действительно последнее.

— Знаешь что,— сказал он вдруг,— давай сегодня не будем пить, а пойдем ко мне, будем пить не водку, а чай с медом и читать стихи.

Мы не торопясь пошли к нему через всю по-осеннему

солнечную Москву, в конце Пречистенки, мимо особняка, где некогда помещалась школа Айседоры Дункан, и поднялись на четвертый или пятый этаж большого, богатого доходного дореволюционного дома в нордическом стиле, вошли через переднюю, где стояли скульптуры Коненкова — Стенька Разин и персидская княжна, одно время даже украшавшие Красную площадь, гениально грубо вырубленные из бревен,— и вступили в барскую квартиру, в столовую, золотисто наполненную осенним солнцем. Там немолодая дама — новая жена королевича, внучка самого великого русского писателя, вся в деда грубоватым мужицким лицом, только без известной всему миру седой бороды,— налила нам прекрасно заваренный свежий красный чай в стаканы с подстаканниками и подала в розетках липовый мед, золотисто-янтарный, как этот солнечный грустноватый день.

И мы пили чай с медом, ощущая себя как бы в другом мире, между ясным небом и трубами московских крыш, видневшихся в открытые двери балкона, откуда потягивало осенним ветерком.

...и читали, читали, читали друг другу — конечно, наизусть — бездну своих и чужих стихов: Блока, Фета, Полонского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова...

Я даже удивил королевича Иннокентием Анненским, плохо ему знакомым:

«Нависнет ли пламенный зной, бушуя расходятся ль волны — два паруса лодки одной, одним мы дыханием полны. И в ночи беззвездные юга, когда так отрадно, темно, сгорая коснуться друг друга, одним парусам не дано».

Мы были с ним двумя парусами одной лодки — поэзии.

Я думаю, в этот день королевич прочитал мне все свои стихи, даже «Радуницу», во всяком случае все последние, самые-самые последние... Но самого-самого-самого последнего он не прочел. Оно было посмертное, написанное мокрой зимой в Ленинграде, в гостинице «Англетер», кровью на маленьком клочке бумажки:

«До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки и слова, не грусти и не печаль бровей,— в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Он верил в загробную жизнь.

Долгое время мне казалось — мне хотелось верить,— что эти стихи обращены ко мне, хотя я хорошо знал, что это не так.

И долгое время передо мной стояла — да и сейчас стоит! — неустранимая картина:

...черная похоронная толпа на Тверском бульваре возле памятника Пушкину с оснеженной курчавой головой, как бы склоненной к открытому гробу, в глубине которого виднелось совсем по-детски маленькое личико мертвого королевича, задушенного искусственными цветами и венками с лентами...

Прошло то, что мы привыкли называть временем,— некоторое время,— и, судя по тому, что в объемистой стеклянной чаше, наполненной белым сухим вином ай-даниль, мокла клубника, а на Чистых прудах отцветала сирень и начинали цвести липы, вероятно, кончался месяц май.

Мы сидели в Мыльниковом переулке: мулат, альпинист — худой, высокий, резко вырезанный деревянный солдатик с маленьким носиком, как у Павла Первого,— птицелов, арлекин, еще кто-то из поэтов и я.

Здесь уместно объяснить читателю, почему я избегаю собственных имен и даже не придумываю вымышленных, как это принято в романах.

Но, во-первых, это не роман. Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется выплевывая косточки.

А во-вторых, сошлюсь на Пушкина:

«Те, которые пожурили меня за то, что никак не назвал моего финна, не нашед ни одного имени собственного, конечно почтут это за непростительную дерзость — правда, что большей части моих читателей никакой нужды нет до имени, и что я не боюсь никакой запутанности в своем рассказе» (черновик письма Гнедичу от 29 апреля 1822 года).

Я тоже не боюсь никаких запутанностей.

Итак — мулат, альпинист, птицелов, арлекин, ключик, еще кто-то из поэтов и я.

При открытых окнах мы всю ночь читали стихи, постепенно пьянея от поэзии, от крюшона, который мы черпали чашками из стеклянного сосуда, где кисли уже побелевшие, как бы обескровленные, разбухшие ягоды клубники, отдававшие свой сок дешевому белому вину, время от времени подливаемому из булькающих бутылок.

Это было то, что в пушкинское время называлось дружеской пирушкой или даже попойкой.

Мы все уже были пьяны, «как пьяный Дельвиг на пиру».

Деревянный солдатик был наш ленинградский гость, автор романтических баллад, бывший во время первой мировой войны кавалеристом, фантазер и дивный рассказчик, поклонник Киплинга и Гумилева, он мог бы по табели поэтических рангов занять среди нас первое место, если бы не мулат. Мулат царил на нашей дружеской попойке. Деревянный солдатик был уважаемый гость, застрявший в Москве по дороге в Ленинград с Кавказа, где он лазил по горам и переводил грузинских поэтов. Мы его чествовали как своего собрата, в то время как мулат был хотя и свой брат, московский, но стоял настолько выше как признанный гений, что мог считаться не только председателем нашей попойки, но самим богом поэзии, сошедшим в Мыльников переулок в обличии мулата с конскими глазами и наигранно простодушными повадками Моцарта, якобы сам того не знающим, что он бог.

Его стихи из книги «Сестра моя жизнь» и из «Темы и вариации», которые он щедро читал, мыча в нос и перемежая густыми, низкоголосыми междометиями полуглухонемого, как бы поминутно теряющего дар речи, были на-

столько прекрасны, что по сравнению с ним все наши, даже громогласные до истерики пассажи арлекина и многозначительные строфы птицелова, казались детским лепетом.

Если у художников бывают какие-то особые цветовые периоды, как, например, у Пикассо розовый или голубой, то в то время у мулата был «период Спекторского».

Изображая косноязычным мычанием, подобно своему юродствующему инвалиду, гундося подражающему пиле (то, что в глубине его сознания звучало как оркестровая сюита), мулат читал нам:

«Я бедствовал. У нас родился сын. Ребячества пришлось на время бросить. Свой возраст взглядом смеривши косым, я первую на нем заметил проседь... Весь день я спал, и, рушась от загона, на всем ходу гася в колбасных свет, совсем еще по-зимнему вагоны к пяти заставам заметали след... Как лешие, земля, вода и воля сквозь сутолоку вешалок и шуб за голою русалкой алкоголя врываются, ища губами губ».

Нас потрясла «голая русалка алкоголя», к которой мы уже были близки.

«Покамест оглашаются открытия на полном съезде капель и копыт, пока бульвар с простительною прытью скамью дождем растительным кропит, пока березы, метлы, голодранцы, афиши, кошки и столбы скользят виденьями влюбленного пространства, мы повесть на год отведем назад».

Важны были совсем не повесть, не все эти неряшливые, маловразумительные перечисления, а отдельные строки, которые в свалке мусора мог найти как бриллиант только гуляка праздный, гений...

«...с простительною прытью скамью дождем растительным кропит»...

Может быть, это изображение с пьяных глаз рассветного московского бульвара стоило всей поэмы.

Мы были восхищены изобразительной силой мулата и признавали его безусловное превосходство.

Дальше развивался туманный «спекторский» сюжет, сумбурное повествование, полное скрытых намерений и темных политических намеков. Но все равно это было прекрасно.

«Забытый дом служил как бы резервом кружку людей, знакомых по Москве, и потому Бухтеевым не первым подумалось о нем на рождестве... Их было много, ехавших на встречу. Опустим планы, сборы, переезд...» — и т. д.

Триумф мулата был полный. Я тоже, как и все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных строф вторичны. Где-то давным-давно я уже все это читал. Но где? Не может этого быть! И вдруг из глубины памяти всплыли строки:

«...И вот уже отъезд его назначен, и вот уж брат зовет его кутить. Игнат мой рад, взволнован, озадачен, на все готов, всем хочет угодить. Кутить в Москве неловко показалось по случаю великопостных дней, и за город, по их следам помчалось семь троек, семь ямских больших саней... Разбрасывая снег, стучат подковы, под шапками торчат воротники, и слышен смех и говор: «Что вы! Что вы, шалите!» — и в ногах лежат кульки».

Что это: мулат? Нет, это Полонский, из поэмы «Братья».

А это тот же пятистопный рифмованный ямб с цезурой на второй стопе:

«...был снег волнист, окольный путь — извилист, и каждый шаг готовился сюрприз. На розвальнях до колики резвились, и женский смех, как снег, был серебрист.— Особенно же я вам благодарна за этот такт, за то, что ни с одним...— Ухаб, другой — ну как? А мы на парных! — А мы кульков своих не отдадим».

Кто это: Полонский? Нет, это мулат, но с кульками Полонского.

Впрочем, тогда в Мыльниковом переулке об этом както не думалось. Все казалось первозданным. Невероятно

было представить, что в «Спекторском» мулат безусловно вторичен!

В окошки уже начал приливать ранний весенний рассвет цвета морской воды. На миг настала предрассветная тишина. Мы почему-то замолкли перед опустевшей чашей крюшона.

Вдруг послышался цокот подков по мостовой Мыльникова переулка, уже не ночного, но еще и не утреннего. К нашему дому приближался извозчичий экипаж. Была такая тишина, что угадывалось его мягкое подпрыгивание на рессорах. Экипаж поравнялся с нашими открытыми окнами. Поравнялся и остановился. Мы увидели в экипаже господина с испитым лицом, в шляпе на затылке. Видимо, он возвращался домой после бессонной ночи. Усы, трость с набалдашником.

Господин повернул к нашим распахнутым окнам бледное лицо игрока и произнес утренним, хотя и несколько с перепою, но четким, хрипловатым, громким, на весь переулок, голосом нечто похожее на зловещую, как бы гекзаметрическую строку:

— Всех ждет неминуемая петля!

После чего тронул извозчичью спину тростью, и звонкое цоканье по мостовой возобновилось и постепенно все слабело и слабело до тех пор, пока экипаж не скрылся за углом.

Мы некоторое время пребывали в молчании. В конце концов расхохотались. Ночная пирушка кончилась. Надо было расходиться. Но нам трудно было так вдруг расстаться друг с другом.

Все вместе пошли мы провожать мулата. Еще по-ночному пустынные улицы были уже ярко освещены утренним июньским солнцем, жарко бившим в глаза откуда-то из Замоскворечья.

По дороге мы изо всех сил старались шутить и острить, как будто бы ничего особенного не случилось.

Арлекин — маленький, вдохновенный, весь набитый романтическими стихотворными реминисценциями,— орал на всю улицу свои стихи, как бы наряженные в наиболее яркие исторические платья из театральной костюмерной: в камзолы, пудреные парики, ложноклассичес-

кие тоги, рыцарские доспехи, шутовские кафтаны...

В конце концов как бы придя ко взаимному соглашению, мы сделали вид, что с нами ничего особенного не произошло, что появление в Мыльниковом переулке экипажа со странным седоком не более чем галлюцинация, хотя ужасная тень покончившего с собой королевича незримо сопровождала нас до самого дома, где жил тогда мулат, недалеко от Музея изящных искусств на Волхонке, против храма Христа Спасителя, в громадном золотом куполе которого неистово горело все еще низкое утреннее солнце.

Мне показалось, что на пустынных ступенях храма я вижу две обнявшиеся тени — ее и его,— как бы выходцев из другого, навсегда разрушенного мира вечной любви. Она была синеглазка, он был — я.

Мулат простился с нами и вошел в подъезд, а потом по лестнице в свою, разгороженную фанерой квартиру.

«...Как образ входит в образ и как предмет сечет предмет»...

А отражение солнца било как прожектор из купола храма Христа Спасителя в немытые, запущенные окна его квартиры, где его ждали жена и маленький сын.

На этом позвольте сегодняшнюю лекцию закончить. Благодарю за внимание. Как? Вы еще хотите что-нибудь узнать о Мыльниковом переулке? Вы его называете легендарным? Возможно. Пожалуй, я еще могу рассказать, как однажды я вез к себе в Мыльников переулок два кожаных кресла, купленных мною на аукционе, помещавшемся в бывшей церкви в Пименовском переулке.

Упомянутые кресла коричневой, еще не вполне потертой кожи были установлены на площадке ломового извозчика. Мы с птицеловом комфортабельно развалились в креслах и поехали по бульварному кольцу в Мыльников переулок, представляя довольно курьезное зрелище: два молодых человека, заложив ногу на ногу и покуривая папиросы, едут, сидя в кожаных креслах, посреди многолюдной столицы, едут мимо Цветного бульвара, мимо па-

мятника Достоевскому, мимо Трубного рынка, где вовсю идет торговля птицами, кошками, рыбками; затем поднимаются вверх мимо Рождественского монастыря, мимо его высокой стены, выходящей на Рождественский бульвар острым углом, похожим на нос броненосца.

И так далее и так далее вплоть до Чистых прудов, источающих медвяный аромат цветущих лип.

При этом мы все время громко, во весь голос, к удивлению прохожих, читаем друг другу стихи, и я узнаю многое из того, что написал птицелов за последнее время.

Именно во время этой поездки в креслах я впервые услышал «Думу про Опанаса» и «Стихи о соловье и поэте».

Забыл сказать, что у птицелова всю жизнь была страсть сначала к птицам, а потом к рыбкам. Его комната в Одессе была заставлена клетками с птицами, пух и шелуха птичьего корма летали по комнате, наполненной птичьими криками. В Москве же страсть к птицам перешла в страсть к рыбам. И в комнате птицелова появились аквариумы, в которых среди водорослей и пузырьков воздуха плавали тени тропических рыб, и птицелов сидел возле них на кровати, поджав ноги, в расстегнутой сорочке и кальсонах и читал своим ученикам свои и чужие стихи, временами кашляя и дыша дымом селитренного порошка.

Когда мы ехали в креслах, страсть к птицам еще не прошла, а страсть к рыбам уже началась, и он с вожделением смотрел, проезжая мимо Трубного рынка, на птичьи клетки и банки с золотыми рыбками, полосатыми, как зебры, и вуалехвостами.

Вот что он мне тогда прочел:

«Весеннее солнце дробится в глазах, в канавы ныряет и зайчиком пляшет, на Трубную выйдешь — и громом в ушах огонь соловьиный тебя ошарашит... Любовь к соловьям — специальность моя, в различных коленах я толк понимаю: за лешевой дудкой вразброд стукотня, кукушкина песня и дробь рассыпная... Куда нам пойти? Наша воля горька! Где ты запоешь? Где я рифмой раскинусь?

Наш рокот, наш посвист распродан с лотка... Как хочешь — распивочно или на вынос? Мы пойманы оба, мы оба — в сетях. Твой свист подмосковный не грянет в кустах, не дрогнут от грома холмы и озера... Ты выслушан, взвешен, расценен в рублях... Греми же в зеленых кустах коленкора, как я громыхаю в газетных листах!»

Это были традиционные для русского поэта порывы к свободе.

...В Мыльниковом же переулке ключик впервые читал свою новую книгу «Зависть». Ожидался главный редактор одного из лучших толстых журналов. Собралось несколько друзей. Ключик не скрывал своего волнения. Он ужасно боялся провала и все время импровизировал разные варианты этого провала. Я никогда не видел его таким взволнованным. Даже вечное чувство юмора оставило его.

Как раз в это время совсем некстати разразилась гроза, один из тех июльских ливней, о которых потом вспоминают несколько лет.

Подземная речка Неглинка вышла из стоков и затопила Трубную площадь, Цветной бульвар, все низкие места Москвы превратила в озера, а улицы в бурные реки. Движение в городе нарушилось. А ливень все продолжался и продолжался, и конца ему не предвиделось. Ключик смотрел в окно на сплошной водяной занавес ливня, на переулок, похожий на реку, покрытую белыми пузырями, освещавшимися молниями, которые вставали вдруг и дрожали среди аспидных туч, как голые березы.

Гром обрушивал на крыши обвалы булыжника. Преждевременно наступила ночь. Надежды на прибытие редактора с каждым часом убывали, рушились, и ключик время от времени восклицал:

— Так и следовало ожидать! Я же вам говорил, что у меня сложные взаимоотношения с природой. Природа меня не любит. Видите, что она со мной сделала? Она мобилизовала все небесные силы для того, чтобы редактор не приехал. Она построила между моим романом и редактором журнала стену потопа!

Ключика вообще иногда охватывала мания преследования. Бывали случаи, когда он подозревал городской

транспорт. Он уверял, что трамваи его не любят: нужный номер никогда не приходит.

Однажды мы стояли с ним на остановке, ожидая трамвая, номер, скажем, 23.

— Ты напрасно решил ехать вместе со мной,— говорил ключик с раздражением.— Двадцать третий номер никогда не придет. Я это тебе предсказываю. Трамваи меня ненавидят.

В этот миг в отдалении появился вагон трамвая номер 23.

Я был в восторге.

— Грош цена твоим предсказаниям,— сказал я.

Он скептически посмотрел на приближающийся вагон и обреченно пробормотал:

— Посмотрим, посмотрим...

В это время, не доехав до нас десятка два шагов, трамвай остановился, немного постоял и поехал назад, попятился, как будто его притягивал сзади какой-то магнит, и наконец скрылся из глаз.

Это было совершенно невероятно, но я клянусь, что говорю чистую правду.

— Ну что я тебе говорил? — с грустной улыбкой сказал ключик.— Трамваи меня ненавидят. У меня сложные взаимоотношения с городским транспортом. Это печально. Но это так.

Не думайте, что я шучу. Это именно так и было: трамвай номер 23 уехал назад, куда-то в неизвестность. Каким образом это могло произойти, не знаю. И, вероятно, никогда не узнаю. Но повторяю: даю честное слово, что говорю святую, истинную правду. Вероятно, произошел единственный случай за все время существования московского электрического трамвая. Эксцесс, не поддающийся анализу.

Теперь же на город обрушился потоп, и ключик был уверен, что какие-то высшие силы природы сводят с ним счеты.

Он покорно стоял у окна и смотрел на текущую реку переулка.

Уже почти совсем смеркалось. Ливень продолжался с прежней силой, и конца ему не предвиделось.

И вдруг из-за угла в переулок въехала открытая машина, которая, раскидывая по сторонам волны, как мо-

торная лодка, не подъехала, а скорее подплыла к нашему дому. В машине сидел в блестящем дождевом плаще с капюшоном главный редактор.

В этот вечер ключик был посрамлен как пророк-провидец, но зато родился как знаменитый писатель.

Преодолев страх, он раскрыл свою рукопись и произнес первую фразу своей повести:

«Он поет по утрам в клозете».

Хорошенькое начало!

Против всяких ожиданий именно эта криминальная фраза привела редактора в восторг. Он даже взвизгнул от удовольствия. А все дальнейшее пошло уже как по маслу. Почуяв успех, ключик читал с подъемом, уверенно, в наиболее удачных местах пуская в ход свой патетический польский акцент с некоторой победоносной шепелявостью.

Никогда еще не был он так обаятелен.

Отбрасывая в сторону прочитанные листы жестом гения, он оглядывал слушателей и делал короткие паузы.

Чтение длилось до рассвета, и никто не проронил ни слова до самого конца.

Правда, один из слушателей, попавший на чтение совершенно случайно и застрявший ввиду потопа, милый молодой человек, некий Стасик, не имевший решительно никакого отношения к искусству, примерно на середине повести заснул и даже все время слегка похрапывал, но это нисколько не отразилось на успехе.

Главный редактор был в таком восторге, что вцепился в рукопись и ни за что не хотел ее отдать, хотя ключик и умолял оставить ее хотя бы на два дня, чтобы кое-где пошлифовать стиль. Редактор был неумолим и при свете утренней зари, так прозрачно и нежно разгоравшейся на расчистившемся небе, умчался на своей машине, прижимая к груди драгоценную рукопись.

Когда же повесть появилась в печати, то ключик, как говорится, лег спать простым смертным, а проснулся знаменитостью.

В повести все вытесненные желания ключика превратились в галерею странно правдоподобных персонажей, хотя и как бы сказочных, но вполне современных, социальных, реальных и вместе с тем нереальных, как бывает только во сне.

Здесь ключик свел счеты со своим прошлым, здесь мимо него прошумела знаменитая ветка, полная цветов и листьев...

Извините. Я устал. Позвольте мне на этом закончить сегодняшнюю лекцию. Дайте мне воды, у меня пересохло в горле. Спасибо, синьора, как вы хороши в своем нарядном платье. Вы похожи на «Весну» Сандро Боттичелли. Извините, что я выражаюсь в стиле ключика. И вам так идут эти оранжерейные цветы, которые вы держите в руках. Как? Эти цветы мне? О, спасибо! Грацио! Право, я этого не заслуживаю. Отнесем мой успех на счет моего друга ключика. До скорой встречи. До свидания. Ариведерчи. Чао.

О, красное бархатное кресло с высокой спинкой, тоже бархатно-красной, одиноко стоящее на возвышении под аркадами площади Святого Марка в том уголке, куда не достигает бурливый плеск Канале Гранде, вызванный вечным движением речных трамваев, моторных лодок и гондол со своими высокими секирами на поднятых носах, но где все еще слышны звуки двух оркестров возле двух ресторанов, расставивших свои столики на площади под открытым небом напротив светло-розовой кирпичной кампанилы и столба со львом, положившим лапу на Евангелие, раскрытое на страницах святого Марка.

Красное кресло, как бы предназначенное для главного судьи, стояло одиноко, и не каждый мог догадаться о его назначении. Не для дожа ли венецианского оно было предназначено? Отнюдь! Оно было мне странно знакомо. Оно было выходцем из моего детства, когда я впервые вместе с покойным папой и покойным братцем вступил на площадь Святого Марка, окруженный стаей грифельно-серых голубей, хлопающих крыльями вокруг нас на высоте не более двух аршин над плитами знаменитой площади, над нашим папой в соломенной шляпе и люстриновом пиджа-

ке, прижавшим к груди красный томик путеводителя «Бедекер».

Это было кресло, на которое мог сесть любой смертный, желающий почистить свои ботинки. Стоило только сесть на него, как тотчас откуда ни возьмись появлялся синьор в жилетке поверх белой сорочки с рукавами, перехваченными резинкой, вынимал из потайного ящика под креслом пару щеток, бархатку, баночки с кремами. Он стучал щеткой о щетку, и этот стук напоминал пощелкивание кастаньет и какой-то ранний рассказ мулата о Венеции — первые пробы в прозе.

Синьор садился на скамеечку у ваших ног и, напевая приятным голосом «О, соле мио», начинал чистить ваши ботинки, придавая им зеркальность, в которой криво отражались три византийских купола Сан-Марко.

В последний раз я взглянул на опасную пустоту вокруг бархатного кресла, и этого было достаточно для того, чтобы его величественное видение преследовало меня потом всю жизнь до того самого мига, когда вдруг под нами на глубине нескольких километров не открылись вершины Альп, над которыми пролетал из Милана в Париж наш самолет — как любят выражаться обозреватели-международники, воздушный лайнер.

Много раз я бывал в непосредственной близости от Альп, иногда даже в самих Альпах, но всегда они играли со мной в прятки. Мне никогда, например, не удавалось увидеть Монблан. Его можно было увидеть только на лакированной открытке на фоне литографически синего, неестественного неба. А в натуре его белый треугольник почему-то всегда покрывали облака, тучи, туманы, многослойно плывущие над горной цепью, вздымающиеся волнами, как сумрачный плащ Воланда (плод воображения синеглазого, заряженного двумя магическими Г), возникшего в районе Садовой-Триумфальной между казино, цирком, варьете и Патриаршими прудами, где в лютые морозы, когда птицы падали на лету, мы встречались с синеглазкой возле катка у десятого дерева с краю и наши губы были припаяны друг к другу морозом.

Тогда еще там проходила трамвайная линия, и вагон, ведомый комсомолкой в красном платке на голове — вагоновожатой,— отрезал голову атеисту Берлиозу, поскользнувшемуся на рельсах, политых постным маслом из бутылки, разбитой раззявой Аннушкой по воле сине-

глазого, который тогда уже читал мне страницы из будущего романа.

Действие романа «Мастер и Маргарита» происходило в том районе Москвы, где жил синеглазый, и близость цирка, казино и ревю помогли ему смоделировать дьявольскую атмосферу его великого произведения.

«Прямо-таки гофманиада!..»

Но я отвлекся.

Судьба подарила нам безоблачно-яркий день, и мы летели над Альпами, над их снежными вершинами, ущельями, ледниками и озерами, глядя на них как бы в увеличительное стекло иллюминатора, настолько приблизившее их к нам, что казалось очень возможным сделать один только шаг для того, чтобы ступить ногой на Монблан — белый, плотный, как бы рельефно отлитый из гипса — и пойти по его крутой поверхности, дыша стерильно очищенным воздухом, острым на вкус, как глоток ледяного шампанского, налитого нам стюардессой из бутылки, завернутой в салфетку.

Все сулило нам приближение вечной весны, обещанной Брунсвиком, но увы — мы не встретили ее и в Париже.

Крупные почки конских каштанов, все еще как бы обмазанные столярным клеем, не собирались лопнуть. Деревья чернели голыми ветками, быть может даже более черными, чем зимой, а это все-таки вселяло надежду, что в конце концов почки лопнут: должна же когда-нибудь чернота сучьев разразиться зеленью!

Все-таки парижские чугунные фонари были более безжизненны, чем деревья, и это обнадеживало.

Мы бесцельно бродили по городу, и почему-то я все время вспоминал ключика, так здесь и не побывавшего.

А он так часто о нем мечтал. Впрочем, кто из нашего брата, начиная с Александра Сергеевича, не мечтал о Париже?

Ключик никак не мог поверить, что я собственными глазами видел Нотр-Дам. Тут уж он мне не скрываясь завидовал.

Он был не только любителем красивых фамилий, но также и большим фантазером. Кроме того, у него была какая-то тайная теория узнавать характер человека по

ушам. Уши определяли его отношение к человеку. Дурака он сразу видел по ушам. Умного тоже. Честолюбца, лизоблюда, героя, подхалима, эгоиста, лгуна, правдолюбца, убийцу — всех он узнавал по ушам, как графолог узнает характер человека по почерку. Однажды я спросил его, что говорят ему мои уши. Он помрачнел и отмолчался. Я никогда не мог добиться от него правды. Вероятно, он угадывал во мне что-то ужасное и не хотел говорить. Иногда я ловил его мимолетный взгляд на мои уши.

Бунин говорил, что у меня уши волчьи.

Ключик ничего не говорил. Так я никогда и не узнаю, что ключику мои уши открыли какую-то самую мою сокровенную тайну, а именно то, что я не талантлив. Ключик не хотел нанести мне эту рану.

Он был мнителен и всегда подозревал в себе какую-нибудь скрытую, смертельно неизлечимую болезнь. Одно время он был уверен, что у него проказа. Он сжимал кулаки и протягивал их мне:

— Посмотри. Неужели тебе не ясно, что у меня начинается проказа?

— Где ты видишь проказу?

— Узлики! — кричал он.

— Что за узлики?

— Видишь эти маленькие белые узелочки между косточками моих пальцев?

— Ну, вижу. Так что же?

— Это узлики,— говорил он таинственно,— первый признак проказы. Узлики!

Слово «узлики» он произносил с особым зловещим значением. Не узелочки, а именно узлики.

Однажды под зловещим знаком узликов прошел целый месяц: ключик ждал проказы и был в отчаянии, что проказа не проявилась.

Еще одно слово в течение довольно долгого времени владело ключиком. Совершенно невинное слово «возчики». Но оно приобрело зловещий оттенок. И не без основания. Когда ключик женился и обзавелся собственной жилой площадью, понадобилось пианино. Его жена была музыкантшей. Взяли напрокат пианино и, конечно, никогда в срок не платили за него. Тогда прокатная контора присылала напоминание, что если в недельный срок долг не будет погашен, то за инструментом пришлют возчи-

ков. Об этом забывалось, и через неделю действительно приезжали возчики. Тогда начиналась паника и крики:

— Приехали возчики!

Иногда беда разражалась внезапно. Входил бледный ключик и восклицал:

— Возчики приехали!

Начинались поиски денег. Неприятность улаживалась. Под пальцами ключиковой жены снова начинал звенеть турецкий марш Моцарта. А через некоторое время безоблачной жизни вдруг, неожиданно, как молния, как смерть, раздавался тревожный крик:

— Возчики приехали!

Ключика можно было разбудить среди ночи, и он кричал:

— Что, возчики приехали?

Однажды в редакцию «Гудка» в разгар рабочего дня вошла подавленная жена ключика. На ней было нарядное черное бархатное платье. Он посмотрел на ее побледневшее лицо с янтарными глазами и сразу догадался:

— Что? Возчики приехали?

В конце концов возчики однажды-таки увезли инструмент. Но ключик заплатил долг, и возчики привезли пианино обратно.

Помнится также крылатое выражение ключика: железные пальцы идиота.

Был такой сорт людей, говорунов и себялюбцев, которые, как бы силой заставляя себя слушать, тыкали в собеседника двумя твердыми вытянутыми пальцами в плечо, в грудь, в солнечное сплетение:

— Слушай, что я тебе говорю. Слушай! Слушай!

Это у ключика называлось железные пальцы идиота. По-моему, блестяще.

Во время первого шахматного турнира в Москве, в разгар шахматного безумия, когда у всех на устах были имена Капабланки, Ласкера, Боголюбова, Рети и прочих, а гостиницу «Метрополь», где проходили матчи на мировое первенство, осаждали обезумевшие любители, ключик сказал мне:

— Я думаю, что шахматы игра несовершенная. В ней не хватает еще одной фигуры.

— Какой?

— Дракона.

— Где же он должен стоять? На какой клетке?

— Он должен находиться *вне* шахматной доски. Понимаешь: вне!

— И как же он должен ходить?

— Он должен ходить без правил. Он может съесть любую фигуру. Игрок в любой момент может ввести его в дело и сразу же закончить партию матом.

— Позволь...— пролепетал я.

— Ты хочешь сказать, что это чушь. Согласен. Чушь. Но чушь гениальная. Кто успеет первый ввести в бой дракона и съесть короля противника, тот и выиграл. И не надо тратить столько времени и энергии на утомительную партию. Дракон — это революция в шахматах!

— Бред!

— Как угодно. Мое дело предложить.

В этом был весь ключик.

...но вдруг наискось, во всю длину Елисейских полей от каштановой рощи до Триумфальной арки подул страшно сильный северный ветер, по-зимнему острый, насквозь пронизывающий. Небо потемнело, покрытое сумрачным плащом Воланда, и даже, кажется, пронеслось несколько твердых снежинок. Нас всюду преследовала зима, от которой мы бежали. Ледяной дождь пополам со снегом бил в лицо, грудь, спину, грозя воспалением легких, так как мы были одеты очень легко, по-весеннему.

Ветер нес воспоминания о событиях моей жизни, казавшихся навсегда утраченными. Память продолжала разрушаться, как старые города, открывая среди развалин еще более древние постройки других эпох. Только города разрушались гораздо медленнее, чем человеческое сознание. Их разрушению часто предшествует изменение названий, одни слова заменяются другими, хотя сущность пока остается прежней.

Бульвар Орлеан, по которому некогда проезжал на велосипеде Ленин, теперь уже называется бульваром Леклерк, и многие забыли его прежнее название. Исчез навсегда Центральный рынок — чрево Парижа. Его уже не существует. Вместо него громадный котлован, над которым возвышаются гигантские желтые железные башни строительных кранов. Что здесь будет и как оно будет называться — никто не знает. Вместе с Центральным рынком ушла в никуда целая полоса парижской жизни

Мне трудно примириться с исчезновением маленького провинциального Монпарнасского вокзала, такого привычного, такого милого, такого желтого, где так удобно было назначать свидания и без которого Монпарнас уже не вполне Монпарнас постимпрессионистов, сюрреалистов и гениального сумасшедшего Брунсвика.

На его месте выстроена многоэтажная башня, бросающая свою непомерно длинную тень на весь левый берег, как бы превратив его в солнечные часы. Это вторжение американизма в добрую старую Францию. Но я готов примириться с этой башней, как пришлось в конце прошлого века примириться с Эйфелевой башней, от которой бежал сумасшедший Мопассан на Лазурный берег и метался вдоль его мысов на своей яхте «Бель ами». Воображаю, какую ярость вызвал бы в нем сверхиндустриальный центр, возникший в тихом Нейи: темные металлические небоскребы, точно перенесенные какой-то злой силой сюда, в прелестный район Булонского леса, из Чикаго.

Но и с этим я уже готов примириться, хотя из окна тридцать второго этажа суперотеля «Конкорд-Лафайет» Париж уже смотрится не как милый, старый, знакомый город, а как выкройка, разложенная на дымном, безликом застроенном пространстве, по белым пунктирам которого бегают крошечные насекомые — автомобили.

Иногда разрушение города опережает разрушение его филологии. Целые районы Москвы уничтожаются с быстротой, за которой не в состоянии угнаться даже самая могучая память.

С течением лет архитектурные шедевры Москвы, ее русский ампир, ее древние многокупольные церквушки, ее дворянские и купеческие особняки минувших веков со львами и геральдическими гербами, давным-давно не ремонтированные, захламленные, застроенные всяческой дощатой дрянью — будками, сараями, заборами, ларьками, голубятнями,— вдруг выступили на свет божий во всей своей яркой прелести.

Рука сильной и доброй власти стала приводить город в порядок. Она даже переставила Триумфальную арку от Белорусского вокзала к Поклонной горе, где, собственно ей быть и полагалось, невдалеке от конного памятника Кутузову, заманившего нетерпеливого героя в ловушку горящей Москвы.

Я еду по Москве, и на моих глазах происходит чудо великого разрушения, соединенного с еще большим чудом созидания и обновления. В иных местах рушатся и сжигаются целые кварталы полусгнивших мещанских домишек, и очищающий огонь прочесывает раскаленным гребнем землю, где скоро из дыма и пламени возникнет новый прозрачный парк или стеклянное здание. В иных местах очищение огнем и бульдозерами уже совершилось, и я вижу древние — прежде незаметные — постройки неслыханной прелести и яркости красок, они переживают вторую молодость, извлекая из захламленного мусором времени драгоценные воспоминания во всей их подлинности и свежести, как то летнее, бесконечно далекое утро, когда курьерский поезд, проскочив сквозь каменноугольный газ нескольких черных туннелей, внезапно вырвался на ослепительный простор и я увидел темно-зеленую севастопольскую бухту с заржавленным пароходом посередине, а потом поезд остановился, и я вышел на горячий перрон под жгучее крымское солнце, в лучах которого горели привокзальные розы — белые, черные, алые,— расточая свой сильный и вместе с тем нежный, особый крымский аромат, говорящий о любви, счастье, а также о розовом массандрском мускате и татарском шашлыке и чебуреках, надутых горячим перечным воздухом.

Несколько богатых пассажиров стояли на ступенях в ожидании автомобилей, среди них, но немного в стороне, я заметил молодого человека, отличавшегося от нэпманских парвеню, приехавших в Крым на бархатный сезон со своими самками, одетыми по последней, еще довоенной парижской моде, дошедшей до них только сейчас, с большим опозданием, в несколько искаженном стиле аргентинского танго; ну а о самцах я не говорю: они были в новеньких, непременно шевиотовых двубортных костюмах разных оттенков, но одинакового покроя.

Одинокий молодой человек, худощавый и стройный, обратил на себя мое внимание не только приличной скромностью своего костюма, но главным образом своим багажом — небольшим сундучком, обшитым серым брезентом. Подобные походные сундучки были непременной принадлежностью всех офицеров во время первой мировой войны. К ним также полагалась складная походная кровать-сороконожка, легко складывающаяся, а все это вместе называлось «походный гюнтер».

Из этого я заключил, что молодой человек — бывший

офицер, судя по возрасту подпоручик или поручик, если сделать поправку на прошедшие годы.

У меня тоже когда-то был подобный «гюнтер». Это как бы давало мне право на знакомство, и я улыбнулся молодому человеку. Однако он в ответ на мою дружескую улыбку поморщился и отвернулся, причем лицо его приняло несколько высокомерное выражение знаменитости, утомленной тем, что ее узнают на улице.

Тут я заметил, что на брезентовом покрытии «гюнтера» довольно крупными, очень заметными буквами — так называемой елизаветинской прописью — лиловым химическим карандашом были четко выведены имя и фамилия ленинградского писателя, автора маленьких сатирических рассказов, до такой степени смешных, что имя автора не только прославилось на всю страну, но даже сделалось как бы нарицательным.

Так как я печатался в тех же юмористических журналах, где и он, то я посчитал себя вправе без лишних церемоний обратиться к нему не только как к товарищу по оружию, но также и как к своему коллеге по перу.

— Вы такой-то? — спросил я, подойдя к нему.

Он смерил меня высокомерным взглядом своих глаз, похожих на не очищенный от коричневой шкурки миндаль, на смугло-оливковом лице и несколько гвардейским голосом сказал, не скрывая раздражения:

— Да. А что вам угодно?

При этом мне показалось, что черная бородавка под его нижней губой нервно вздрогнула. Вероятно, он принял меня за надоевший ему тип навязчивого поклонника, может быть даже собирателя автографов.

Я назвал себя, и выражение его лица смягчилось, по губам скользнула доброжелательная улыбка, сразу же превратившая его из гвардейского офицера в своего брата — сотрудника юмористических журналов.

— Ах, так! Значит, вы автор «Растратчиков»?

— Да. А вы автор «Аристократки»?

Дальнейшее не нуждается в уточнении.

Конечно, мы тут же решили поселиться в одном и том же пансионате в Ялте на Виноградной улице, хотя до этого бывший штабс-капитан намеревался остановиться в знаменитой гостинице «Ореанда», где, кажется, в былое время останавливались все известные русские писатели, наши предшественники и учителя.

(Не буду их называть. Это было бы нескромно.)

Пока мы ехали в высоком, открытом старомодном автомобиле в облаках душной белой крымской пыли от Севастополя до Ялты, мы сочлись нашим военным прошлым. Оказалось, что мы воевали на одном и том же участке западного фронта, под Сморгонью, рядом с деревней Крево: он в гвардейской пехотной дивизии, я — в артиллерийской бригаде. Мы оба были в одно и то же время отравлены газами, пущенными немцами летом 1916 года, и оба с той поры покашливали. Он дослужился до штабс-капитана, а я до подпоручика, хотя и не успел нацепить на погоны вторую звездочку ввиду Октябрьской революции и демобилизации: так и остался прапорщиком.

Хотя разница в чинах уже не имела значения, все же я чувствовал себя младшим как по возрасту, так и по степени литературной известности.

...Туман, ползущий с вершины Ай-Петри, куда мы впоследствии вскарабкались, напоминал нам газовую атаку...

Тысячу раз описанные Байдарские ворота открыли нам внезапно красивую бездну какого-то иного, совсем не русского мира с высоким морским горизонтом, с почти черными веретенами кипарисов, с отвесными скалистыми стенами Крымских гор того бледно-сиреневого, чуть известкового, мергельного, местами розоватого, местами голубоватого оттенка, упирающихся в такое же бледно-сиреневое, единственное в мире курортное небо с несколькими ангельски белыми облачками, обещающее вечное тепло и вечную радость.

Исполинская темно-зеленая туманная мышь Аю-Дага, припав маленькой головкой к прибою, пила морскую воду сине-зеленого бутылочного стекла, а среди нагромождения скал, поросших искривленными соснами, белел водопад Учан-Су, повисший среди камней, как фата невесты, бросившейся в пропасть перед самой свадьбой.

В мире блаженного безделья мы сблизились со штабс-капитаном, оказавшимся вовсе не таким замкнутым, каким впоследствии изображали его различные мемуаристы, подчеркивая, что он, великий юморист, сам никогда не улыбался и был сух и мрачноват.

Все это неправда.

Богом, соединившим наши души, был юмор, не оставлявший нас ни на минуту. Я, по своему обыкновению, хохотал громко — как однажды заметил ключик, «ржал»,— в то время как смех штабс-капитана скорее можно было бы назвать сдержанным ядовитым смешком, я бы даже сказал — ироническим хехеканьем, в котором добродушный юмор смешивался с сарказмом, и во всем этом принимала какое-то непонятное участие черная бородавка под его извивающимися губами.

Выяснилось, что наши предки происходили из мелкопоместных полтавских дворян и в отдаленном прошлом, быть может, даже вышли из Запорожской Сечи.

Такие географические названия, как Миргород, Диканька, Сорочинцы, Ганькивка, звучали для нас ничуть не экзотично или, не дай бог, литературно, а вполне естественно; фамилию Гоголь-Яновский мы произносили с той простотой, с которой произносили бы фамилию близкого соседа.

...Бачеи, Зощенки, Ганьки, Гоголи, Быковы, Сковорода, Яновские...

Это был мир наших не столь отдаленных предков, родственников и добрых знакомых.

Но вот что замечательно:

впервые я услышал о штабс-капитане от ключика еще в самом начале двадцатых годов, когда Ленинград назывался еще Петроградом.

Ключик поехал в Петроград из Москвы по каким-то газетным делам. Вернувшись, он принес вести о петроградских писателях, так называемых «Серапионовых братьях», о которых мы слышали, но мало их знали. Ключик побывал на их литературном вечере. Особого впечатления они на него не произвели, кроме одного — бывшего штабс-капитана, автора совсем небольших рассказов, настолько оригинально и мастерски написанных особым мещанским «сказом», что даже в передаче ключика они не теряли своей совершенно неповторимой прелести и вызывали взрывы смеха.

Вскоре слава писателя-юмориста — бывшего штабс-

капитана — как пожар охватила всю нашу молодую республику.

Это лишний раз доказывает безупречное чутье ключика, его высокий, требовательный литературный вкус, открывший москвичам новый петроградский талант — звезду первой величины.

Штабс-капитан, несмотря на свою, смею сказать, всемирную известность, продолжал оставаться весьма сдержанным и по-питерски вежливым, деликатным человеком, впрочем, не позволявшим по отношению к себе никакого амикошонства, если дело касалось «посторонних», то есть людей, не принадлежащих к самому близкому для него кружку, то есть «всех нас».

У него были весьма скромные привычки. Приезжая изредка в Москву, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь недалеко от вокзала и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в номере и своим четким елизаветинским почерком без помарок писал один за другим несколько крошечных рассказиков, которые потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его прибытии в Москву узнавали друзья.

Приходя в гости в семейный дом, он имел обыкновение делать хозяйке какой-нибудь маленький прелестный подарок — чаще всего серебряную с чернью старинную табакерку, купленную в комиссионном магазине. В гостях он был изысканно вежлив и несколько кокетлив: за стол садился так, чтобы видеть себя в зеркале, и время от времени посматривал на свое отражение, делая различные выражения лица, которое ему, по-видимому, очень нравилось.

Он деликатно и умело ухаживал за женщинами, тщательно скрывал свои победы и никогда не компрометировал свою возлюбленную, многозначительно называя ее по-пушкински N. N., причем бархатная бородавочка под его губой вздрагивала как бы от скрытого смешка, а миндальные глаза делались еще миндальнее.

Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков, где должен был состояться его литературный вечер, к вагону подкатили красную ковровую дорожку и поклонники повели его, как коронованную особу, к выходу, поддерживая под руки.

Распространился слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство, поселиться в столице Украины и обещали ему райскую жизнь. Переманивала его также и Москва. Но он навсегда остался верен своему Петербургу-Петрограду-Ленинграду.

Случалось, что мы, его московские друзья, внезапно ненадолго разбогатев, совершали на «Красной стреле» набег на бывшую столицу Российской империи. Боже мой, какой переполох поднимали мы со своими московскими замашками времен нэпа!

По молодости и глупости мы не понимали, что ведем себя по-купечески, чего терпеть не мог корректный, благовоспитанный Ленинград.

Мы останавливались в «Европейской» или «Астории», занимая лучшие номера, иной раз даже люкс. Появлялись шампанское, знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые красавицы. Известный еще со времен Санкт-Петербурга лихач, бывший жокей, дежуривший возле «Европейской» со своим бракованным рысаком по имени Травка, мчал нас по бесшумным торцам Невского проспекта, а в полночь мы пировали в том знаменитом ресторанном зале, где Блок некогда послал недоступной красавице «черную розу в бокале золотого, как небо, аи... а монисто бренчало, цыганка плясала и визжала заре о любви»...

...а потом сумрачным утром бродили еще не вполне отрезвевшие по достоевским закоулкам, вдоль мертвых каналов, мимо круглых подворотен, откуда на нас подозрительно смотрели своими небольшими окошками многоэтажные жилые корпуса, бывшие некогда пристанищем униженных и оскорбленных, мимо решеток, напоминавших о том роковом ливне, среди стальных прутьев которого вдруг блеснула молния в руке Свидригайлова, приложившего револьвер к своему щегольскому двубортному жилету, после чего высокий цилиндр свалился с головы и покатился по лужам.

Со страхом на цыпочках входили в дом, на мрачную лестницу, откуда в пролет бросился сумасшедший Гаршин, в черных глазах которого навсегда застыл «остекленелый мир».

Всюду преследовали нас тени гоголевских персона-

жей среди решеток, фонарей, палевых фасадов, арок Гостиного двора.

...Поездки в наемных автомобилях по окрестностям, в Детское Село, где среди черных деревьев царскосельского парка сидел на чугунной решетчатой скамейке ампир чугунный лицеист, выставив вперед ногу, курчавый, потусторонний, еще почти мальчик, и в вольно расстегнутом мундире,— Пушкин.

«...здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни»...

А где-то неподалеку от этого священного места некто скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке, приобретенном за гроши у какой-нибудь бывшей дворцовой кастелянши или швеи, и так далее...

Когда же наша московская братия, душой которой был ключик, прокучивала все деньги, наставал час разлуки. Штабс-капитан, выбитый из своей равномерной, привычной рабочей колеи, утомленный нашей безалаберной гостиничной жизнью, с облегчением вздыхал, нежно нас на прощанье целуя и называя уменьшительными именами, и «Красная стрела» уносила нас в полночь обратно в Москву, где нам предстояло еще долго заштопывать дыры в бюджете.

О, эти полночные отъезды из Ленинграда, чаще всего в разгар белых ночей, когда вечерняя заря еще светилась за вокзалом и на ее щемяще-печальном зареве рисовались черные силуэты дореволюционных старопитерских фабричных корпусов, заводских труб и безрадостных, закопченных паровозных депо, помнивших царское время и народные мятежи в героические дни свержения самодержавия, брандмауэры с рекламами давно не существующих фирм, железный хлам, оставшийся от времен разрухи и гражданской войны.

Город таял далеко позади, а полночная заря все еще светилась за мелколесьем, отражаясь в болотах, и долго-долго не наступала ночь, и, качаясь на рессорах международного вагона, нам с ключиком казалось, что мы слишком преждевременно покидаем странное, полумерт-

вое царство, где, быть может, нас ожидало, да так и не дождалось некое несбыточное счастье новой жизни и вечной любви.

С Ленинградом связана моя последняя встреча со штабс-капитаном совсем незадолго до его исчезновения.

Город, переживший девятисотдневную блокаду, все еще хранил следы немецких артиллерийских снарядов, авиационных бомб, но уже почти полностью залечил свои раны.

На этот раз я приехал сюда один и сейчас же позвонил штабс-капитану. Через сорок минут он уже входил в мой номер — все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторой потертости костюма и обуви — свидетельства наступившей бедности. Впрочем, знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки натерты щеткой до блеска.

Он был в несправедливой опале.

Мы поцеловались и тут же по традиции совершили прогулку на машине, которую я вызвал через портье.

Я чувствовал себя молодцом, не предвидя, что в самом ближайшем времени окажусь примерно в таком же положении.

Так или иначе, но я еще не чувствовал над собой тучи, и мы со штабс-капитаном промчались в большом черном автомобиле — только что выпущенной новинке отечественного автомобилестроения, на днях появившейся на улицах Ленинграда.

Мы объехали весь город, круто взлетая на горбатые мостики его единственной в мире набережной, мимо уникальной решетки Летнего сада, любуясь широко раскинувшейся панорамой с неправдоподобно высоким шпилем Петропавловской крепости, разводными мостами, ростральными колоннами Биржи, черными якорями желтого Адмиралтейства, Медным всадником, «смуглым золотом» постепенно уходящего в землю Исаакиевского собора.

Мы промчались мимо Таврического дворца, Смольного, Суворовского музея с двумя наружными мозаичными картинами. Одна из них — отъезд Суворова в поход 1799 года — была работы отца штабс-капитана, известного в свое время художника-передвижника, и штабс-капитан

поведал мне, что когда его отец выкладывал эту мозаичную картину, а штабс-капитан был тогда еще маленьким мальчиком, то отец позволил ему выложить сбоку картины из кубиков смальты маленькую елочку, так что он как бы являлся соавтором этой громадной мозаичной картины, что для меня было новостью.

...Он, как всегда, был сдержан, но заметно грустноват, как будто бы уже заглянул по ту сторону бытия, туда, откуда нет возврата, нет возврата!.. что, впрочем, не мешало ему временами посмеиваться своим мелким смешком над моими прежними московскими замашками, от которых я все никак не мог избавиться.

Наша поездка была как бы прощанием штабс-капитана со своим городом, со своим старым другом, со своей жизнью.

Я предложил ему по старой памяти заехать на Невский проспект в известную кондитерскую «Норд», ввиду своего космополитического названия переименованную в исконно русское название «Север», и напиться там кофе с весьма знаменитым, еще не переименованным тортом «Норд».

Он встревожился.

— Понимаешь,— сказал он, по обыкновению нежно называя меня уменьшительным именем,— в последнее время я стараюсь не показываться на людях. Меня окружают, рассматривают, сочувствуют. Тяжело быть ошельмованной знаменитостью,— не без горькой иронии закончил он, хотя в его словах слышались и некоторые честолюбивые нотки.

Он, как и все мы, грешные, любил славу!

Я успокоил его, сказав, что в этот час вряд ли в кондитерской «Север» особенно многолюдно. Хотя и неохотно, но он согласился с моими доводами.

Оставив машину дожидаться нас у входа, мы проворно прошмыгнули в «Север», где, как мне показалось, к некоторому своему неудовольствию, имевшему оттенок удовольствия, штабс-капитан обнаружил довольно много посетителей, которые, впрочем, не обратили на нас внимания. Мы уселись за столик во второй комнате в темноватом углу и с удовольствием выпили по стакану кофе со сливками и съели по два куска торта «Норд».

Мой друг все время подозрительно посматривал по сторонам, каждый миг ожидая проявления повышенного интереса окружающих к его личности. Однако никто его не узнал, и это, по-моему, немного его огорчило, хотя он держался молодцом.

— Слава Богу, на этот раз не узнали,— сказал он, когда мы выходили из кондитерской на Невский и сразу же попали в толпу, стоявшую возле нашей машины и, видимо, ожидавшую выхода опального писателя.

— Ну я же тебе говорил,— с горькой иронией, хотя и не без внутреннего ликования, шепнул мне штабс-капитан, окруженный толпой зевак.— Просто невозможно появиться на улице! Какая-то гофманиада,— вспомнил он нашу старую поговорку и засмеялся своим негромким дробным смешком.

Я провел его через толпу и впихнул в машину. Толпа не расходилась. Мне даже, признаться, стало завидно, вспомнился Крым, наша молодость и споры: кто из нас Ай-Петри, а кто Чатыр-Даг. Конечно, в литературе. Пришли к соглашению, что он Ай-Петри, а я Чатыр-Даг. Обе знаменитые горы, но Ай-Петри больше знаменита и чаще упоминается, а Чатыр-Даг реже.

На долю ключика досталась Роман-Кош!

— Товарищи,— обратился я к толпе, не дававшей возможности нашей машине тронуться.— Ну чего вы не видели?

— Да нам интересно посмотреть на новую модель автомобиля. У нас в Ленинграде она в новинку. Вот и любуемся. Хорошая машина! И ведь, главное дело, своя, советская, отечественная!

Шофер дал гудок. Толпа разошлась, и машина двинулась, увозя меня и штабс-капитана, на лице которого появилось удовлетворенно-смущенное выражение и бородавка на подбородке вздрогнула не то от подавленного смеха, не то от огорчения.

Мы переглянулись и стали смеяться. Я громко, а он на свой манер — тихонько.

Прав был великий петроградец Александр Сергеевич:

«Что слава? Яркая заплата» — и т. д.

А вокруг нас все разворачивались и разворачивались каналы и перспективы неповторимого города, прежняя душа которого улетела подобно пчелиному рою, покинувшему свой прекрасный улей, а новая душа, новый пчелиный рой, еще не вполне обжила свой город.

Новое вино, влитое в старые мехи.

Над бело-желтым Смольным суровый ветер с Финского залива нес тучи, трепал флаг победившей революции, а в бывшем Зимнем дворце, в Эрмитаже, под охраной гранитных атлантов, в темноватом зале испанской живописи, плохо освещенная и совсем незаметная, дожидалась нас Мадонна Моралеса, которую ключик считал лучшей картиной мира, и мы со штабс-капитаном снова — в который раз! — прошли по обветшавшему, скрипящему дворцовому паркету мимо этой маленькой темной картины в старинной золоченой раме, как бы прощаясь навсегда с нашей молодостью, с нашей жизнью, с нашей Мадонной.

Вот каким обыкновенным и незабываемым возник передо мной образ штабс-капитана среди выгорающей дребедени гнилых мещанских домиков, охваченных дымным пламенем, над которым возвышалась, отражаясь в старом подмосковном пруде, непомерно высокая бетонная многочленистая Останкинская телевизионная башня — первый выходец из таинственного Грядущего.

...возле бывшего Брянского вокзала на месте скопления лачуг раскинулся новый прекрасный парк, проезжая мимо которого, с поразительной отчетливостью вижу я мулата в нескольких его ипостасях, в той нелогичной последовательности, которая свойственна свободному человеческому мышлению, живущему не по выдуманным законам так называемого времени, хронологии, а по единственно естественным, пока еще не изученным законам ассоциативных связей.

...вижу мулата последнего периода — постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины переделкинского пруда, в зимнем пальто с чер-

ным каракулевым воротником, в островерхой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие, как лезвия, листья старых серебристых ветел.

Он издали напоминал стручок черного перца — как-то ужасно не совпадающий с опрокинутым отражением деревни на той стороне самаринского пруда.

...весь одиночество, весь ожидание.

В тот день он был гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона.

Все было в традициях доброй старой русской литературы: застекленная дачная терраса, всклокоченные волосы уже седеющего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших рослых черноликих подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, в золотых нимбах лепестков, как святые, написанные альфреско на стене подмосковного пейзажа с сельским кладбищем, и золотыми луковками патриаршей церкви времен Ивана Грозного.

Святые подсолнечники тоже пришли послушать прозу мулата.

А вот он на крыше нашего высокого дома в Лаврушинском переулке, против Третьяковской галереи, ночью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротником сорочки, озаренный зловещим заревом пылающего где-то невдалеке Зацепского рынка, подожженного немецкими авиабомбами, на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов противовоздушной обороны, среди бегающих красных звездочек зенитных снарядов, в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой.

Мулат ходил по крыше, и под его ногами гремело кровельное железо, и каждую минуту он был готов засыпать песком шипящую немецкую зажигалку, брызгающую искрами, как елочный фейерверк.

Мы с ним были дежурными противовоздушной обороны. Потом он описал эту ночь в своей книге «На ранних поездах».

«Запомнится его обстрел. Сполна зачтется время, когда он делал, что хотел, как Ирод в Вифлееме. Настанет новый, лучший век. Исчезнут очевидцы...»

Не знаю, настал ли в мире лучший век, но очевидцы исчезали один за другим. Исчез и мулат — великий очевидец эпохи. Но я помню, что среди ужасов этой ночи в мулате вдруг вспыхнула искра юмора. И он сказал мне, имея в виду свою квартиру в самом верхнем этаже дома, а также свою жену по имени Зинаида и зенитное орудие, установленное над самым его потолком:

«Наверху зенитка, а под ней Зинаидка».

Для него любая жизненная ситуация, любой увиденный пейзаж, любая отвлеченная мысль немедленно и, как мне казалось, автоматически превращались в метафору или в стихотворную строчку. Он излучал поэзию, как нагретое физическое тело излучает инфракрасные лучи.

Однажды наша шумная компания ввалилась в громадный черный автомобиль с горбатым багажником. Меня с мулатом втиснули в самую его глубину, в самый его горбатый зад. Автомобиль тронулся, и мулат, блеснув белками, смеясь, предварительно промычав нечто непонятное, прокричал мне в ухо:

— Мы с вами сидим в самом его *мозжечке*!

Он был странно одет. Совсем не в своем обычном европейском стиле: брюки, засунутые в голенища солдатских сапог, и какая-то зеленая фетровая шляпа с нелепо загнутыми полями, как у чеховского Епиходова в исполнении Москвина.

Мы все были навеселе, и мулат тоже.

Вы хотите еще что-нибудь узнать о мулате? Я устал. Да и время лекции исчерпано. Впрочем, если угодно, несколько слов.

Я думаю, основная его черта была чувственность от первых стихов до последних.

Из ранних, мулата-студента:

«...что даже антресоль при виде плеч твоих трясло»... «Ты вырывалась, и чуб касался чудной челки и губ-фиалок»...

Из последних:

«Под ракитой, обвитой плющом, от ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Ну, так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелем»...

В эту пору он уже был старик. Но какая любовная энергия!

Вот он стоит перед дачей, на картофельном поле, в сапогах, в брюках, подпоясанных широким кожаным поясом офицерского типа, в рубашке с засученными рукавами, опершись ногой на лопату, которой вскапывает суглинистую землю. Этот вид совсем не вяжется с представлением об изысканном современном поэте, так же как, например, не вязались бы гладко выбритый подбородок, элегантный пиджачный костюм, шелковый галстук с представлением о Льве Толстом.

Мулат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих. Между тем он хорошо зарабатывает на своих блестящих переводах Шекспира и грузинских поэтов, которые его обожают. О нем пишут в Лондоне монографии. У него автомобиль, отличная квартира в Москве, дача в Переделкине.

Он смотрит вдаль и о чем-то думает среди несвойственного ему картофельного поля. Кто может проникнуть в тайны чужих мыслей? Но мне представляется, что, глядя на подмосковный пейзаж, он думает о Париже, о французской революции. Не исключено, что именно в этот миг он вспоминает свою некогда начатую, но брошенную пьесу о французской революции.

Не продолжить ли ее? Как бишь она начиналась?

«В Париже. На квартире Леба. В комнате окна стоят настежь. Летний день. В отдалении гром. Время действия между 10 и 20 мессидора (29 июня — 8 июля) 1794 года. Сен-Жюст: — Таков Париж. Но не всегда таков. Он был и будет. Этот день, что светит кустам и зданьям на пути

к моей душе, как освещают путь в подвалы, не вечно будет бурным фонарем, бросающим все вещи в жар порядка, но век пройдет, и этот теплый луч, как уголь, почернеет, и в архивах пытливость поднесет свечу к тому, что нынче нас слепит, живит и греет, и то, что нынче ясность мудреца, потомству станет бредом сумасшедших».

Октябрьская революция была первой во всей мировой истории, совершенно не похожей на все остальные революции мира. У нее не было предшественниц, если не считать Парижской коммуны.

Не имея литературных традиций для ее изображения, многие из нас обратились не к Парижской коммуне, а к Великой французской революции, имевшей уже большое количество художественных моделей. Может быть, только один Александр Блок избежал шаблона, написав «Двенадцать» и «Скифов», где русская революция была изображена первично.

Попытки почти всех остальных поэтов — кроме Командора — были вторичны. Несмотря на всю свою гениальность, мулат принадлежал к остальным. Он не сразу разгадал неповторимость Октября и попытался облечь его в одежды французской революции, превратив Петроград и Москву семнадцатого и восемнадцатого годов в Париж Сен-Жюста, Робеспьера, Марата.

Кто из нас не писал тогда с восторгом о зеленой ветке Демулена, в те дни, когда гимназист Канегиссер стрелял в Урицкого, а Каплан отравленной пулей — в Ленина, и не санкюлоты в красных фригийских колпаках носили на пиках головы аристократов, а рабочие Путиловского завода в старых пиджаках и кепках, перепоясанные пулеметными лентами, становились на охрану Смольного.

Быть может, неповторимость, непохожесть нашей революции, темный ноябрьский фон ее пролетарских толп, серость ее солдатских шинелей, чернота матросских бушлатов, георгиевских лент черноморцев, питерские и московские предместья, так не похожие на литературную яркость Парижа 1794 года, и были причиной многих наших разочарований.

Столкновение легенды с действительностью, «Марсельезы» с «Интернационалом».

Париж Консьержери и Пале-Рояля был для нас притягательной силой. Мы стремились в Париж.

Не избежал этого и один из самых выдающихся среди нас прозаиков — конармеец, тем более что он действительно в качестве одного из первых советских военных корреспондентов проделал польскую кампанию вместе с Первой конной Буденного.

Он сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. «Леф» напечатал его рассказ «Соль», и сам Командор на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть, вроде Нобелевской премии.

Конармеец стал невероятно знаменит. На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в буденновском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки.

Он, так же как и многие из нас, приехал с юга, с той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. Он прославился еще до революции, во время первой мировой войны, так как был напечатан в горьковском журнале «Летопись». Кажется, даже одновременно с поэмой Командора «Война и мир». Алексей Максимович души не чаял в будущем конармейце, пророча ему блестящую будущность, что отчасти оправдалось.

В Москве он появился уже признанной знаменитостью.

Но мы знали его по ЮгРОСТе, где вместе с нами он работал по агитации и пропаганде, а также в губиздате, где заведовал отделом художественной литературы и принадлежал к партийной элите нашего города, хотя сам был беспартийным. Его обожали все вожди нашего города как первого писателя.

Подобно всем нам он ходил в холщовой толстовке, в деревянных босоножках, которые гремели по тротуарам со звуком итальянских кастаньет.

У него была крупная голова вроде несколько деформированной тыквы, сильно облысевшая спереди, и вечная ироническая улыбка, упомянутые уже круглые очки, за стеклами которых виднелись изюминки маленьких детских глаз, смотревших на мир с пытливым любопытст-

вом, и широкий, как бы слегка помятый лоб с несколькими морщинами, мудрыми не по возрасту,— лоб философа, книжника, фарисея.

...И вместе с тем — нечто хитрое, даже лисье...

Он был немного старше нас, даже птицелова, и чувствовал свое превосходство как мастер. Он был склонен к нравоучениям, хотя и делал их с чувством юмора, причем его губы принимали форму ижицы или, если угодно, римской пятерки.

У меня сложилось такое впечатление, что ни ключика, ни меня он как писателей не признавал. Признавал он из нас одного птицелова. Впрочем, он не чуждался нашего общества и снисходил до того, что иногда читал нам свои рассказы о местных бандитах и налетчиках, полные юмора и написанные на том удивительном южноновороссийском, черноморском, местами даже местечковом жаргоне, который, собственно, и сделал его знаменитым.

Манера его письма в чем-то сближалась с манерой штабс-капитана, и это позволило честолюбивым ленинградцам считать, что наш конармеец всего лишь подражатель штабс-капитана.

Ходила такая эпиграмма:

«Под пушек гром, под звоны сабель от Зощенко родился Бабель».

Конармеец вел загадочную жизнь. Где он кочует, где живет, с кем водится, что пишет — никто не знал. Скрытность была основной чертой его характера. Возможно, это был особый способ вызывать к себе дополнительный интерес. От него многого ждали. Им интересовались. О нем охотно писали газеты. Горький посылал ему из Сорренто письма. Лучшие журналы охотились за ним. Он был неуловим. Иногда ненадолго он показывался у Командора на Водопьяном, и каждое его появление становилось литературным событием.

В Мыльниковом он совсем не бывал, как бы стесняясь своей принадлежности к «южнорусским».

У него была масса поклонников в разных слоях московского общества. Однако большинство из этих поклонников не имело отношения к литературной среде. Наоборот. Все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные.

Первое время в Москве я совсем мало с ним встречался. Наши встречи были случайны и коротки. Но он никогда не упускал случая, чтобы преподать мне литературный урок:

— Литература — это вечное сражение. Сегодня я всю ночь сражался со словом. Если вы не победите слово, то оно победит вас. Иногда ради одного-единственного прилагательного приходится тратить несколько не только ночей, но даже месяцев кровавого труда. Запомните это. В диалоге не должно быть ни одного необязательного выражения. К диалогу надо прибегать только в самых крайних случаях: диалог должен быть краток, работать на характер персонажа и как бы источать терпкий запах... Только что я прочитал вашу повесть. Она недурна. Но, вероятно, вы воображаете, что превзошли своего учителя Бунина. Не обольщайтесь. До Бунина вам как до Полярной звезды. Вы сами не понимаете, *что такое* Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о N. N.? Он написал, что у него вкрадчивая, бесшумная походка вора. Вот это художник! Не вам и не мне чета. Перед ним нужно стоять на коленях.

Литературным божеством для конармейца был Флобер. Все советы, которые давал автор «Мадам Бовари» автору «Милого друга», являлись для конармейца законом. Иногда мне даже казалось, что он «играет во Флобера», придавая чрезмерное значение красотам формы со всеми ее стеснительными условностями и предрассудками, как я теперь понимаю, совершенно не обязательными для свободного самовыражения.

Некогда и я страдал этой детской болезнью флоберизма: страхом повторить на одной странице два раза одно и то же слово, ужасом перед недостаточно искусно поставленным прилагательным или даже знаком препинания, нарушением хронологического течения повествования — словом, перед всем тем, что считалось да и до сих пор считается мастерством, большим стилем. А по-моему, только добросовестным ремесленничеством, что, конечно, не является недостатком, но уж во всяком случае и не признаком большого стиля.

Конармеец верил в законы жанра, он умел различить повесть от рассказа, а рассказ от романа. Некогда и я

придерживался этих взглядов, казавшихся мне вечными истинами.

Теперь же я, слава богу, освободился от этих предрассудков, выдуманных на нашу голову литературоведами и критиками, лишенными чувства прекрасного. А что может быть прекраснее художественной свободы?

...Это просто новая форма, пришедшая на смену старой. Замена связи хронологической связью ассоциативной. Замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность ни казалась плоха. По-французски «мовэ» — то есть плохо. Одним словом, опять же — мовизм.

Тогда я, конечно, так не думал.

Как я теперь понимаю, конармеец чувствовал себя инородным телом в той среде, в которой жил. Несмотря на заметное присутствие в его флоберовски отточенной (я бы даже сказал, вылизанной) прозе революционного, народного фольклора, в некотором роде лесковщины, его душой владела неутолимая жажда Парижа. Под любым предлогом он старался попасть за границу, в Париж. Он был прирожденным бульвардье. Лучше всего он чувствовал себя за крошечным квадратным столиком на одной ножке прямо на тротуаре, возле какого-нибудь кафе на Больших бульварах, где можно несколько часов подряд сидеть под красным холщовым тентом, за маленькой чашкой мокко, наблюдая за прохожими и мысленно вписывая их в какой-то свой воображаемый роман вроде «Человеческой комедии».

Не исключено, что он видел себя знаменитым французским писателем, блестящим стилистом, быть может даже одним из сорока бессмертных, прикрывавшим свою лысину шелковой шапочкой академика вроде Анатоля Франса.

Под высоким куполом Института на берегу Сены он чувствовал бы себя как дома.

В те времена заграничные поездки делались все труднее и труднее. В конце концов он стал оседлым москвичом, женился, поселился в хорошей квартире в особнячке в районе Воронцова поля и даже стал принимать у себя гостей. В это время мы с ним очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного ма-

стерства. Общение с конармейцем было весьма похоже на общение мое с щелкунчиком. Возможно, это и нескромно, но мне кажется — оно было взаимным обогащением.

Конармеец оказался в конце концов прекрасным семьянином и любезным хозяином. У него всегда можно было выпить стакан на редкость душистого, хорошо заваренного чая или чашку настоящего итальянского черного кофе эспрессо: он собственноручно приготовлял его, пользуясь особой заграничной кофеваркой.

— Скажите, каким образом у вас получается такой на редкость вкусный чай? Откройте ваш секрет.

— Нет никакого секрета. Просто не надо быть скупердяем и не экономить на заварке. Заваривайте много чая, и ваши гости всегда будут в восторге.

Однажды он вдруг показался у нас в дверях, а рядом с ним стоял некий предмет домашнего обихода красного дерева, нечто вроде комнатного бара с затейливым устройством, довольно неуклюжее произведение столярного искусства, которое он, пыхтя, собственноручно втащил на пятый этаж, так как лифт не работал. Оказалось, что это был его подарок нам на новоселье. Надо было распахнуть верхние крышки, и из недр сооружения поднимался целый набор посуды для коктейлей. Этот бар занимал много места, и мы не знали, куда его приткнуть. Я думаю, конармеец сам не знал, куда его девать, а так как я однажды похвалил бар, то конармеец и решил таким элегантным образом избавиться от сей громоздкой вещи. Чисто восточная любезность. Впрочем, я понимаю, что он это сделал от души. Вещь была все же дорогая. Он не поскупился.

...Ему очень нравилась моя маленькая двухлетняя дочка, и он любил с нею весьма серьезно разговаривать, как со взрослой, сидя перед ней на корточках и несколько пугая ее своими большими очками.

Мы часто сиживали перед огромным окном, за которым виднелся классический московский пейзаж, словно бы вышедший из царства «Тысячи и одной ночи», но только несколько древнерусской.

Конармеец смотрел на этот пейзаж, но, мне кажется, видел нечто совсем другое: старые деревья, косо наклонившиеся над Сеной с нижнего ее парапета, а на верхнем парапете ящики букинистов, на ночь запиравшиеся

большими висячими замками; белую конную статую Генриха Четвертого, сообразившего, что Париж стоит обедни; круглые островерхие башни Консьержери, где до сих пор в каменных недрах, за тюремными решетками, прикрепленный навечно к каменной стене, сумрачно чернел совсем не страшный на вид косой нож гильотины, тот самый, который некогда на площади Согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться и из-под него на Гревской площади покатились в черный мешок одна за другой головы Дантона, Сен-Жюста, Демулена, множество других голов, каждая из которых вмещала в себя вселенную, и, наконец, голова самого Робеспьера с разбитой челюстью и маленьким, почти детским, упрямым и гордым подбородочком первого ученика.

...Ну и, конечно, чашечка мокко на одноногом столике в тени тента с красными фестонами.

Он пил кофе маленькими глотками, растягивая наслаждение, оттягивая миг возвращения, и его детские глазки видели тень Азраила, несущего меч над графитными плитками парижских крыш...

...А может быть, это и был тот самый косо режущий ледяной ветер во всю длину Елисейских полей, ветер возмездия и смерти...

В расчете на вечную весну мы были одеты совсем легко, а ветер, свистя, как нож гильотины, нес мимо нас уже заметные крупинки снега, и для того, чтобы не схватить американской дрог-стори, где с трудом отыскался свободный столик под неизмеримо громадным, длинным, низким потолком, унизанным параллельными рядами светящихся шариков, умноженных до бесконечности зеркалами во всю стену, что угнетало нас какой-то безвыходностью.

Мы уже были уверены, что весна никогда не наступит и мы навсегда останемся здесь как в аду, среди беготни обезумевших официанток, знакомых музыкальных звуков бьющихся тарелок, восклицаний, разноязыкого галдежа, мелодий проигрываемых пластинок, где противоестественно смешивались все музыкальные стили, начиная с древнегалльской музыки и кончая все еще не вышедшим из моды поп-артом.

Мы были в отчаянии.

Но в один прекрасный день, когда наше отчаяние дошло до высшей точки, весна наступила внезапно, как взрыв всеобщего цветения под лучами жгучего солнца в безоблачном и безветренном небе, при температуре воздуха более двадцати девяти градусов в тени, когда вдруг как по мановению черной палочки, перевитой розами, изо всех настежь открытых парижских окон выбросились и косо повисли огненно-желтые, раскаленно-красные маркизы, совершенно меняя облик города, который мы привыкли видеть элегантно-серым, а теперь он превратился в нечто карнавальное, яркое, почти итальянское, где рядом с каменными стенами средневековых церквей горели кусты персидской сирени со всеми ее оттенками, начиная с самого нежного и кончая самым яростным.

Я почувствовал, что в мире произошло нечто имеющее отношение лично ко мне. И в этот же миг из ледяных пещер памяти, совсем живой, снова появился Брунсвик.

Он стоял передо мною, как всегда чем-то разгневанный, маленький, с бровями, колючими, как креветки, в короне вздыбленных седых волос вокруг морщинистой лысины, как у короля Лира, в своем синем вылинявшем рабочем халате с засученными рукавами, с мускулистыми руками — в одной руке молоток, в другой резец,— весь осыпанный мраморной крошкой, гипсовой пудрой и еще чем-то непонятным, как в тот день, когда я впервые — через год после гибели Командора — вошел в его студию.

— Наконец я нашел подходящий материал. Нет! Не материал, а вещество! Подходящее вещество для ваших друзей, о которых вы мне столько рассказывали! — закричал он с порога.— Мне доставили это вещество из околозвездного пространства Кассиопеи. Из этого вещества построена Вселенная. Это лучшее из того, что можно было достать на мировом рынке. Вещество из глубины галактики. Торопитесь же!

Он кричал, он брызгал слюной, он топал ногами. Я понял его с полуслова.

— Теперь пора,— сказал я, и мы с женой побежали в парк Монсо.

— Но прежде мне пришлось прочитать весь гениальный вздор, который написали вы и все ваши друзья. Мо-

жет быть, у меня дурной вкус, но ваша чепуха мне понравилась, иначе я не взялся бы за эту работу! — крикнул он нам вдогонку и тотчас исчез, на этот раз навсегда.

За свежевыкрашенными черными пиками железной ограды с ярко позолоченными остриями, за траурными, еще более высокими решетчатыми воротами, за их золочеными вензелями и балдахином, сияющим на солнце, перед нами предстали головокружительно высокие купы цветущих каштанов, белых и розовых, как совершенное воплощение вечной весны.

Мы вошли в парк.

Одно лишь название улицы, со стороны которой мы появились — Бульвар Мальзерб,— как бы погрузило нас в обманчивую тишину девятнадцатого века после франко-прусской войны и Парижской коммуны.

Это был мир Мопассана.

Широкоплечий бюст этого бравого красавца француза с нормандскими усами, которые умели так хорошо щекотать женские шейки и затылки с пушком каштановых волос, что в конце концов и привело его к ужасному преждевременному уничтожению, был установлен на колонне, у подножия которой была изваяна фигура полулежащей дамы в широкой юбке, с узкой талией, в кофточке — рукава буфами; она держала перед собой раскрытый томик, самозабвенно замечтавшись над строками Мопассана, и мне почему-то кажется, что эта книга была «Иветта».

В жарком сумраке неистово цветущего каштанового дерева эта хрестоматийная композиция уже заметно потемнела от времени, каждая складка широкой юбки со шлейфом и пятипалая тень какого-то отдельного каштанового листа, лежащая на прямом лбу писателя,— все это было хорошо знакомо и, в окружении цветущих сирени, боярышника, пионов, японской вишни, пронизанное неистовыми лучами солнца, отдаленное от шумящего города высокой решеткой тишины и безветрия, как бы перенесло нас в страну, куда мы наконец после стольких разочарований попали.

Однако на этот раз что-то вокруг изменилось.

Сначала я не мог понять, что именно изменилось. Но наконец понял: недалеко от изваяния замечтавшейся дамы под бюстом Мопассана стояло еще одно изваяние, которого раньше здесь не было.

Фигура конармейца в предпоследний период его земного существования.

Он сидел за маленьким одноногим столиком, перед чашечкой под сенью каштана, как бы под тентом кафе, взирая вокруг сквозь очки изумленно-детскими глазами обреченного.

Он был сделан в натуральную величину с реалистической точностью и вместе с тем как-то условно, сказочно, без пьедестала.

Я употребил слово «сделан», потому что не могу найти ничего более точного. Изваян — не годится. Вылеплен — не годится. Иссечен — не годится. Может быть, отлит, но и это тоже не годится, потому что материал не был металлом, он был именно веществом. Лучше всего было бы сказать — создан. Но это слишком возвышенно. Нет, не создан. Именно сделан. Вещество, из которого он был сделан, не поддавалось определению. Человеческий глаз лишь замечает некоторые его особенности: поразительную, как бы светящуюся неземную белизну, по сравнению с которой лучший каррарский мрамор показался бы сероватым; необъяснимую непрозрачную прозрачность. Скульптура не отбрасывала от себя тени, хотя все предметы вокруг отбрасывали резкие утренние тени: кусты, скамейки, стволы деревьев, из которых одному — сикомору — было сто двадцать лет и оно, кажется, помнило еще автора «Милого друга», детские коляски, фигурки бегающих детей и их нянек, бабушек, матерей с открытыми книгами на коленях. Красно-синие мячики прыгали по уже пыльным дорожкам, отбрасывая прыгающие тени.

Даже маленькие маргаритки, выросшие на газонах, отбрасывали миниатюрные тени.

Я потрогал плечо конармейца, оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом. И судя по тому, что почва под изваянием сильно осела, можно было заключить, что материал, из которого был сделан конармеец, в несколько десятков, а может быть, и сотен раз тяжелее любого известного на земном шаре вещества.

Вместе с тем, как это ни странно, материал, сияющий несказанной белизной, казался невесомым.

Мы пошли по парку и заметили, что, кроме знакомых серых статуй, ослепительно белеет несколько новых, сделанных из того же материала, что и статуя конармейца,— ярко-белых и не отбрасывающих теней.

Никто из посетителей парка их не замечал, кроме нас, это были наши сновидения. Они были расставлены прямо на земле и на газонах — без пьедесталов — в каком-то продуманном беспорядке.

На одном из газонов под розовым кустом лежала фигура ключика. Он был сделан как бы спящим на траве — маленький, с поджатыми ногами, юноша-гимназист,— положив руки под голову, причесанную а-ля Титус, с твердым подбородком, и видел неземные сны, а вокруг него, как некогда он сам написал:

«...летали насекомые. Вздрагивали стебли. Архитектура летания птиц, мух, жуков была призрачна, но можно было уловить кое-какой пунктир, очерк арок, мостов, башен, террас — некий быстро перемещающийся и ежесекундно-деформирующийся город»...

Парк Монсо, где лежал ключик, глубоко уйдя в травяной покров, был действительно городом вечной весны, славы и тишины, еще более подчеркнутой возгласами играющих детей.

В романтических зарослях цветущих кустов боярышника, рядом со старым памятником Гуно, возле пробирающегося по камешкам ручейка, дружески обнявшись с Мефистофелем, белела фигура синеглазого — в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г — Гуно, но не забывающего и двух первых: Гоголя, Гофмана...

Я сразу узнал его по ядовитой улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника сидящего на Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже с третьей своей женой.

Он сказал по своему обыкновению:

— Я стар и тяжело болен.

На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как врач хорошо это знал.

У него было измученное землистое лицо.

У меня сжалось сердце.

— К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого,— сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды.

Мы чокнулись и отпили по глотку.

Он с достоинством нес свою бедность.

— Я скоро умру,— сказал он бесстрастно.

Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях,— убеждать, что он мнителен, что он ошибается.

— Я даже вам могу сказать, как это будет,— прервал он меня, не дослушав.— Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже.

Все произошло именно так, как он предсказал. Угол его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова...

Его похоронили.

Теперь он бессмертен.

Раскинувши руки в виде распятия, но с ног до головы перекрученное на манер бургундского тирбушона-штопора, как бы перевитое лианами, перед нами мелькнуло и тут же померкло изваяние забытого всеми вьюна, невдалеке от которого под столетним сикомором сидел на камне босой будетлянин, председатель земного шара, с котомкой за плечами, с дорожным посохом, прислоненным к дереву,— нищий с заурядно-уездным лицом русского гения, обращенный к небу, словно бы говоря:

«...Пусть девы споют у оконца, меж песен о древнем походе, о верноподданном Солнца самосвободном народе».

Он сам был верноподданным солнца, сыном самосвободного народа.

На повороте аллеи, не замечаемый играющими детишками — белокожими и чернокожими,— в цилиндре и шелковой накидке, с тростью, протянутой вперед, как рапира, с ужасом, написанным на его почти девичьем лице, стоял, расставив ноги, королевич, как бы видя перед собой собственное черное отражение в незримом разби-

том зеркале. Он был сделан все из того же межзвездного материала, но только как-то особенно нежно и грустно светился изнутри.

Птицелов со свернутой охотничьей сетью на плече неподвижно шагал по парку, ведя за руку маленького сына, тоже поэта, чем-то напоминая Вильгельма Телля на фоне каменного декоративного грота, заросшего плющом.

На двух белых железных стульях, повернувшись друг к другу, в почти одинаковых кепках, в позе дружелюбных спорщиков сидели звездно-белые фигуры брата и друга, а остальные десять садовых стульев были заняты живыми посетителями парка в разных местах центральной его аллеи.

Вдалеке парк соприкасался с чьими-то недоступными простым смертным владениями, скрытыми за колючими изгородями, решетками и зарослями дикого винограда, шиповника, терний, тех самых терний, чьи острые чугунно-синие шипы впивались в восковое чело человекобога, оставляя на нем ягоды крови.

Там, на отшибе, отрешенный от всех, как некогда на плотине переделкинского пруда, ждал свою последнюю любовь постаревший мулат, по-прежнему похожий издали на стручок черного перца, но чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделан из самого лучшего галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва.

Парк оказался наполненным творениями сумасшедшего ваятеля.

Мы ходили по аллеям, узнавая друзей, пока наконец не остановились возле фигуры, которую я узнал еще издали.

Перед нами сиял неземной белизной мальчик-переросток, худой, глазастый, длинноволосый, с маленьким револьвером в безнадежно повисшей руке.

«...Без шапки и шубы. Обмотки и френч. То сложит руки, будто молится. То машет, будто на митинге речь... Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь... Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить... До чего ж на меня похож!..»

Да, это он: Командор в юности. И так — навсегда: мальчик-самоубийца. До чего ж на него похож.

А вокруг горел жгучий полдень вечной памяти и вечной славы.

Внезапно остановившийся взрыв.

В его неподвижном горении, сиянии, в ярких прозрачных красках повсюду вокруг нас белели изваяния, сделанные все из того же неиссякаемого космического вещества белее белого, тяжелее тяжелого, невесомей невесомого.

Неземное на земном.

Мы уже шли к выходу, когда в заресничной стране парка Монсо увидели фигуру щелкунчика.

Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пасхального полудня.

Он был без шапки.

Его маленькая верблюжья головка была высокомерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены в сладкой муке рождающегося на бритых губах слова-психеи.

Может быть, таким образом рождались стихи:

«Есть иволги в лесах и гласных долгота в тонических стихах единственная мера. Но только раз в году бывает разлита такая длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурою зияет этот день: уже с утра покой и трудные длинноты; волы на пастбище, и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты»...

Он боялся извлечь из своего тростника богатство целой ноты. Он часто ограничивался обертоном слова-психеи, неполным его звучанием, неясностью созревавшей мысли.

Однако именно эта незрелость покоряла, заставляла додумывать, догадываться...

«...Россия. Лета. Лорелея»...

Что это такое? Догадайтесь сами!

Невдалеке от щелкунчика стоял во весь рост, но как-то корчась, другой акмеист — колченогий, с перебитым коленом и культяпкой отрубленной кисти, высовывающейся из рукава: худощавый, безусый, как бы качающийся, с католически голым, прекрасным, преступным лицом падшего ангела, выражающим ни с чем не сравненную муку раскаяния, чему совсем не соответствовала твердая соломенная шляпа-канотье, немного набок сидевшая на его наголо обритой голове с шишкой.

Шляпа Мориса Шевалье.

Издалека волнами долетали мощные, густые, ликующие звуки пасхальных колоколов Нотр-Дам и Сакре-Кёр, гипсовые колпаки которой светились где-то за парком Монсо, на высоком холме Монмартра, царя над празднично-безлюдным Парижем.

Виднелись еще повсюду среди зелени и цветов изваяния, говорящие моему гаснущему сознанию о поэзии, молодости, минувшей жизни.

Маленький сын водопроводчика, соратник, наследник, штабс-капитан и все, все другие.

Читателям будет нетрудно представить их в виде статуй без пьедесталов.

Я хотел, но не успел проститься с каждым из них, так как мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец.

Потом звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу, с настойчивой медлительностью останавливая кровообращение и не позволяя мне сделать ни шагу, для того чтобы выйти из-за черных копий с золотыми остриями заколдованного парка, постепенно превращавшегося в переделкинский лес, и — о боже мой! — делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазией Ваятеля.

1975—1977
Переделкино — Нижняя Ореанда

Уже написан Вертер

Убегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении, не туда, куда бы ему хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение,— все дальше, и дальше, и дальше.

Но вот он неизвестно каким образом оказывается на вполне благополучном дачном полустанке, на полузнакомой дощатой платформе.

Кто он? Не представляю. Знаю только, что он живет и действует во сне. Он спит. Он спящий.

Ему радостно, что его уже больше не уносит в неизвестность и что он твердо стоит на дачной платформе.

Теперь все в порядке. Но есть одна небольшая сложность. Дело в том, что ему надо перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону. Это было бы сделать совсем не трудно, если бы противоположную сторону не загораживал только что прибывший поезд, который должен простоять здесь всего две минуты. Так что благоразумнее было бы подождать, пока поезд не уйдет, и уже спокойно, без помех перейти через рельсы на другую сторону.

Но неизвестный спутник хотя и мягко, но настойчиво советует перейти на другую сторону через загораживающий состав, тем более что такого рода переходы делались много раз, особенно во время гражданской войны, когда станции были забиты эшелонами и постоянно приходилось пробираться на другую сторону за кипяточком под вагонами, под бандажами, опасаясь, что каждую минуту состав тронется и он попадет под колеса.

Теперь же это было гораздо безопаснее: подняться по ступеням вагона, открыть дверь, пройти через тамбур, открыть противоположную дверь, спуститься по ступеням и оказаться на другой стороне.

Все было просто, но почему-то не хотелось поступать именно таким образом. Лучше подождать, когда очистится путь, а потом уже спокойно, не торопясь перейти через гудящие рельсы.

Однако спутник продолжал соблазнять легкостью и простотой перехода через тамбур.

Он не знал, кто его спутник, даже не видел его лица. Он только чувствовал, что тот ему кровно близок: может быть, покойный отец, а может быть, собственный сын, а может быть, это он сам, только в каком-то ином воплощении.

Он сошел с платформы на железнодорожное полотно, поднялся по неудобным, слишком высоким ступеням вагона, легко открыл тяжелую дверь и очутился в тамбуре с красным тормозным колесом.

В это время поезд очень легко, почти незаметно медленно тронулся. Но это не беда. Сейчас он откроет другую дверь и на ходу сойдет на противоположную платформу. Но вдруг оказалось, что другой двери вообще нет. Она не существует. Тамбур без другой двери. Это странно, но это так. Объяснений нет. Двери просто не существует. А поезд оказывается курьерским, и он все убыстряет ход.

Стремительно несутся рельсы.

Прыгнуть на ходу обратно? Опасно! Время потеряно. Ничего другого не остается, как ехать в тамбуре курьерского поезда, уносящегося опять куда-то в обратную сторону, еще дальше от дома.

Досадно, но ничего. Просто небольшая потеря времени. На ближайшей станции можно сойти и пересесть во встречный поезд, который вернет его обратно.

Предполагается, что поезда ходят по летнему расписанию, очень часто. Однако до ближайшей станции оказывается неизмеримо далеко, целая вечность, и неизвестно, будет ли вообще встречный поезд.

Неизвестно, что делать. Он совершенно один. Спутник исчез. И быстро темнеет. И курьерский поезд превращается в товарный и с прежней скоростью несет его на открытой площадке в каменноугольную тьму осенней железнодорожной ночи с холодным, пыльным ветром, продувающим тело насквозь.

Невозможно понять, куда его несет и что вокруг. Какая местность? Донбасс, что ли?

Но теперь он уже идет пешком, окончательно потеряв всякое представление о времени и месте.

Пространство сновидения, в котором он находится,

имело структуру спирали, так что, отдаляясь, он приближался, а приближаясь, отдалялся от цели.

Улитка пространства.

По спирали он проходил мимо как будто знакомого недостроенного православного собора, заброшенного и забытого среди пустыря, поросшего бурьяном.

Кирпичи почернели. Стены несколько расселись. Из трещин торчали сухие злаки. Из основания неосуществленного купола византийского стиля росло деревцо дикой вишни. Тягостное впечатление от незавершенности строения усиливалось тем, что почти черные кирпичи казались мучительно знакомыми. Кажется, из них было сложено когда-то другое строение, не такое громадное, а гораздо меньше: возможно, тот самый гараж, у полуоткрытых ворот которого стоял человек, убивший императорского посла для того, чтобы сорвать Брестский мир и разжечь пожар новой войны и мировой Революции.

Его кличка была Наум Бесстрашный.

Лампочка слабого накала, повешенная на столбе с перекладиной возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконной звездой.

Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженых цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входившим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма. Довольно высокий стог этих черных, змеино-блестящих, туго заплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним Наум Бесстрашный казался в облаках пыли призраком.

Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием:

— Отрезанные косы — это урожай реформы.

Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа». Время от времени он повторял его вслух,

каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые слюнявые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость.

Полон рот каши.

Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в «Стойле Пегаса» перед испуганными имажинистами.

А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе.

Теперь он, нетерпеливо помахивая маузером, ожидал, когда все четверо — бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина-сексот Инга, скрывшая, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсер, савинковец, бывший комиссар Временного правительства, некий Серафим Лось,— наконец разденутся и сбросят свои одежды на цветник сизых петуний и ночной красавицы.

Среди черноты ночи лампочка так немощно светилась, что фосфорически белели одни лишь голые тела раздевшихся. Все же остальные, нераздевшиеся, почти не виделись.

Четверо голых один за другим входили в гараж, и, когда входила женщина, можно было заметить, что у нее широкий таз и коротковатые ноги, а в облике четвертого, в его силуэте было действительно что-то сохатое.

Они были необъяснимо покорны, как все входившие в гараж.

Но эта картина внезапно исчезла в непроглядном пространстве сновидения, а спящий уже находился среди недостроенных зданий мертвого города, где, однако же, как ни в чем не бывало проехал хорошо освещенный внутри электрический трамвай с вполне благополучными, несколько старомодными, дореволюционными пассажирами, выходцами из другого мира.

Некоторые из них читали газеты и были в панамах и пенсне.

К несчастью, маршрут трамвая не годился, так как вел в обратную сторону, в сторону желтых маков на хи-

лых декадентских ножках,— туда, где в тучах пыли угадывались многоярусные черепичные крыши с приподнятыми углами буддийских храмов, угнетающе пустынные, непомерно обширные, раскаленные солнцем монастырские дворы и крытые черепицей ворота, охраняемые четырьмя идолами, по два с каждой стороны, их ужасные, раскосые, размалеванные лица — известково-белое, желтое, красное и черное,— отпугивающие злых духов, хотя сами тоже были злыми духами.

Злые духи рая отпугивали злых духов ада.

Однако если был трамвай, значит, где-то имелась и стоянка такси. Действительно, виднелась длинная вереница свободных такси со светлячками, подававших надежду выпутаться из безвыходного положения.

Он приблизился к стоянке и вдруг обнаружил, что забыл, куда надо ехать. Адрес исчез из памяти, так же как исчезла вторая дверь в тамбуре, благодаря чему его унесло неведомо куда.

Ах, как было бы хорошо сесть в свободное такси, произнести магические слова адреса и погрузиться в сладостное ожидание.

Пришлось опять одиноко передвигаться во враждебном пространстве сновидения, уносившем все дальше и дальше от цели.

Удаление в то же время являлось и приближением, как бы моделируя перпетуум-мобиле кровообращения.

Вероятно, в это время сердечный мускул сокращался с перебоями, даже на миг останавливался, и тогда внезапно кабина испорченного лифта падала в шахту, сложенную все из того же кирпича.

Он находился в лифте и вместе с ним падал в пропасть, хотя в то же время как бы со стороны видел падающий ящик испорченного лифта в пропасти лестничной клетки между третьим и четвертым этажами этого ужасного здания.

Все вокруг было испорчено, еле держалось, каждый миг грозило обрушиться: падение с обморочной высоты погашенного маяка, некогда нового, прекрасного на фоне летнего моря с итальянскими облаками над горизонтом, а теперь одряхлевшего, с облупившейся штукатур-

кой и обнаженными кирпичами все того же венозного цвета.

Разрушающуюся дачу тянул вниз оползень, половина ее уже съезжала на берег вместе с частью обрыва, спящий хватался за корни бурьяна и повисал на их хрупких нитях, рискуя каждый миг сорваться и полететь в прекрасную пропасть.

Обнаженная роща нервной системы. Двухцветный вензель кровообращения. Перепады кровяного давления.

Из глубины памяти непроизвольно извлекались давно уже умершие люди. Они действовали как живые, что придавало сновидению недостоверность.

Иные из этих ненадолго оживших казались совсем не теми, за кого их можно было принять, а были оборотнями. Например, Лариса Германовна. Оставаясь матерью Димы, она одновременно оказывалась и другой женщиной — тоже уже покойной,— гораздо более молодой, порочно привлекательной, коварной, от которой произошли все несчастья.

Впрочем, она не ушла от возмездия.

Покойная Лариса Германовна бежала как живая мимо водопроводной станции, сложенной все из тех же проклятых кирпичей.

Она была в старом летнем костюме, пропотевшем под мышками, и в высоких ботинках из потертой замши, на пуговицах. Она казалась излишне торопливой, что не соответствовало ее обычной дамской походке, полной собственного достоинства.

Когда-то он видел ее за праздничным столом, накрытым крахмальной скатертью, как бы отлитой из гипса. Лариса Германовна сидела на хозяйском месте и черпала из прямоугольной фарфоровой супницы серебряной разливательной ложкой суп-крем д'асперж, который распределяла по кузнецовским тарелкам, а горничная разносила их по гостям. К супу-крему д'асперж подавались крошечные слоеные пирожки с мясом, такие вкусные, что невозможно было удержаться, чтобы не взять еще один или даже два, а потом украдкой вытереть промаслившиеся пальцы о гимназические брюки, что никогда не укрывалось от ее якобы рассеянного взгляда сквозь стекла золотого пенсне, причем породистый нос ее слегка морщился, хотя она и делала вид, что ничего не заметила.

Весной и в начале лета она страдала от сенной лихорадки.

Воскресный обед на открытой террасе, в виду моря, отражавшего колонну маяка и расчленявшего его на горизонтальные полоски. Общество приятелей ее мужа, известного адвоката,— архитекторы, писатели, депутаты Государственной думы, яхтсмены, музыканты. Длинные винные пробки с выжженными французскими надписями. Запах гаванских сигар, теснота, место за столом как раз против ножки стола, о которую стукались колени.

Конечно, Дима был центром внимания.

— Мой мальчик прирожденный живописец! — восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом — сладким и убедительным.— Не правда ли, у него что-то от Врубеля, от его сирени?

Белый жилет. Обручальное кольцо. Золотые запонки.

Сновидение несло вместе со всеми гостями вверх по лестнице в ту заветную комнату, пронизанную послеобеденным солнцем, которая называлась «его студия». Большой мольберт с трехаршинным картоном: «Пир в садах Гамилькара». На стуле большой плоский ящик с пастельными карандашами, уложенными в шелковистую вату, как недоношенные младенцы.

Гости смотрели на картину в кулак. Лариса Германовна тоже смотрела на картину в кулак. Все восхищались Димой. Но, кажется, Лариса Германовна чувствовала неловкость. Все-таки это была детская работа мальчика-реалистика, прочитавшего «Саламбо».

Она представлялась императрицей Екатериной Второй. Даже в ее сенной лихорадке, заставлявшей пухнуть и розоветь нос и слезиться глаза, было нечто августейшее.

Но с какой скоротечностью все это разрушилось!

Теперь ее движения на фоне кирпичной стены водопроводной станции были беспомощно порывисты. Кошелка с тускло блестевшими помидорами нищенски болталась в руке.

Она смотрела не узнавая. А потом вдруг узнала. Ее лицо исказилось.

— Вообрази! — сказала она, рыдая.

Нетрудно было вообразить, как она сначала побежа-

ла в тюрьму, где у нее не приняли передачу, сказав «не числится». Значит, он еще «там».

Она хрустнула пальцами без колец и побежала прочь, торопясь предпринять неизвестно что для спасения сына.

Нас несло по раскаленным улицам, но ее невозможно было догнать, и она все время уменьшалась и уменьшалась в перспективах неузнаваемо переменившегося города, как бы составленного из домов, еще не разрушенных землетрясением, но уже лишенных привычных вывесок.

Она превратилась в пятнышко, еле различимое в безвоздушном пространстве, а кровообращение сна уносило спящего в обратную сторону, неумолимо удаляя от неясной цели и в то же время чем дальше, тем ближе к полуциркульному залу бывшего иллюзиона Островского, а ныне общественной столовой, где за квадратными столиками, покрытыми вместо скатертей газетным срывом, обедали по карточкам так называемые совслужащие и работники Изогита, среди которых можно было узнать — хоть и не без труда — Диму, непохожего на себя, так как он был коротко острижен под машинку и вместо гимнастерки на нем была надета сшитая из палатки толстовка — универсальная одежда того времени.

Или, если хотите, той легендарной эпохи, даже эры.

Нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста.

Когда они, Дима и его сотрапезница, заканчивали обед, состоящий из плитки спрессованной ячной каши с каплей зеленого машинного масла, к ним сзади подошли двое. Один в сатиновой рубахе с расстегнутым воротником, в круглой кубанке, другой в галифе, кожаной куртке, чернокурчавый, как овца.

У одного наган. У другого маузер. Они даже не спросили его имени, а только с неистребимым ростовским акцентом велели не оборачиваться, выйти без шума на улицу и идти вниз по Греческой, но не по тротуару, а посередине мостовой.

Его деревянные сандалии щелкали по гранитной брусчатке. Редкие прохожие испытывали, глядя на него, не сочувствие, а скорее ужас.

Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась.

Ах, да. Это была Димина нянька, умершая еще до революции. Она провожала его печальным взглядом.

Но почему же взяли его, а не взяли ту, с которой он обедал?

Она бросала в рот последние крошки пайкового хлеба, собранные со стола в горсть. На ее верхней губе виднелся небольшой белый шрам, который не портил ее грубоватого, но красивого лица.

В столовой было полно обедающих, художников и поэтов Изогита, товарищей Димы по работе, однако ни один из них как бы ничего не заметил.

Дима просто исчез.

Теперь сновидение несло вниз по Греческой вслед за Димой по заржавленным рельсам давно уже бездействующего электрического трамвая. Рельсы, вделанные в брусчатку и засыпанные сухими опавшими цветами белой акации, как бы уводили его вниз, в тот невообразимый мир, который прятался где-то по правую руку от массивных Сабанских казарм.

Там возле проходной будки стоял часовой-китаец в черных обмотках на худых ногах.

Чем быстрее спускались вниз по улице, тем быстрее деформировалось сознание Димы. Еще совсем недавно это было сознание свободного и свободно мыслящего человека, сына, возлюбленного, гражданина, художника...

...Даже — мужа.

Ну да. Он был уже мужем, потому что накануне женился на этой женщине, что оказалось до странности несложно: они зашли в бывший табачный магазин Асвадурова, где еще не выветрился запах турецких и сухумских табаков, и вышли оттуда мужем и женой.

Районное отделение записи актов гражданского состояния.

Документов не требовалось, да их и не было, кроме служебных мандатов. Они только поставили свои подписи. Она несколько замялась и, прикусив губу, аккуратным византийским почерком вывела свое имя и новую фамилию. Имя ее оказалось Надежда, Надя. Но она тут

же пожелала воспользоваться случаем и переменила его сначала на Гильотину, но раздумала и остановилась на имени Инга. Теперь она была Инга, что казалось романтичным и в духе времени.

Для него все это было так ново, и так прекрасно, и так пугающе-рискованно! Ведь он толком не знал, откуда она взялась и кто она такая.

Ставши мужем и женой, они даже не поцеловались. Это было не в духе эпохи. Они вышли на пламенную Дерибасовскую, где в те ушедшие навсегда годы стоял единственный громадный пирамидальный тополь, может быть, еще времен Пушкина, сверху донизу облитый тугоплавким стеклом полудня. Столетний тополь как бы возглавил улицу.

Дима шел вниз по Греческой запинающейся походкой, как будто торопясь к своему концу. Те двое шли сзади. Он обонял запах их жарких немытых тел, запах наплечных ремней, оружейного масла, которым был смазан маузер.

Запах швейной машинки.

Жизнь разделилась на до и после. До — его мысль была свободна, она беспрепятственно плавала во времени и пространстве. Теперь она была прикована к одной точке. Он видел вокруг себя мир, но не замечал его красок. Еще совсем недавно его мысль то улетала в прошлое, то возвращалась в настоящее. Теперь она стала неподвижной: он замечал лишь то, что приближало его к развязке.

В давно немытой витрине бывшего мехового магазина все еще виднелось траченное молью чучело уссурийского тигра с обломанными усами, и оно приближало его к развязке, так же как и выгоревший на солнце флаг над мраморным входом в бывшую банкирскую контору, где теперь разместился горсовет.

Красногубый, обагренные кровью руки, скрюченные пальцы.

Это видение изнуряло сознание Димы в бесконечную ночь сыпного тифа, и неустранимый свет висящей над ним электрической лампочки обливал палату магическим заревом ледяного полярного сияния. А в дверях палаты

стояла его мама, Лариса Германовна, с муфтой в руках, и на ее лице Митя читал отчаяние.

(Но все-таки почему вместе с ним не взяли Ингу?)

Теперь он приближался к развязке, и это уже не был сыпнотифозный бред, а скучная действительность, не оставлявшая надежды на чудо.

Но, может быть, они не знают об его участии, а только предполагают? Нет материала. Нет доказательств. В таком случае еще есть надежда. Надо быть начеку. Язык за зубами. Ухо востро! Ни одного лишнего слова.

Все-таки откуда они могли узнать? Все было так надежно скрыто. Да, собственно, в чем его вина? Ну, положим, он действительно передал письмо! Но ведь он мог не знать его содержания. Одно-единственное письмо. В собраниях на маяке он не участвовал.Только присутствовал, но не участвовал. И то один лишь раз. Случайно. Так что можно считать — совсем не участвовал. Во всяком случае, откуда они могли узнать? Вообще он не сочувствовал этой затее, которую могут теперь посчитать заговором.

Может быть, сначала сочувствовал, хотя и не принимал участия. Но скоро разочаровался.

В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов. Их было по крайней мере семь: деникинцы, петлюровцы, интервенты, гетмановцы, зеленые, красные, белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет советская Россия.

Он честно работал в Изогите, хотя художником оказался не очень хорошим, дилетантом. Много ненужных подробностей. Передвижничество. Другие художники Изогита по сравнению с ним были настоящими мастерами — острыми и современными. Их революционные матросы, написанные в духе Матисса на огромных фанерных щитах, установленных на бульваре Фельдмана, были почти условны. Черные брюки клеш. Шафранно-желтые лица в профиль. Георгиевские ленты бескозырок, вьющиеся на ветру. Ультрамариновое море с серыми утюгами броненосцев: на мачтах красные флаги. Это вписывалось в пейзаж приморского бульвара с платанами про-

тив бывшего дворца генерал-губернатора и бывшей гостиницы «Лондонская».

Левой! Левой! Левой!

На чугунной печурке грелись банки с клеевыми красками. Толстые малярные кисти. Кусок картона. На нем — грубо намалеванная фигура барона Врангеля в папахе, в белой черкеске с черными газырями, летящего в небе над Крымскими горами, а внизу стишок:

«По небу полуночи Врангель летел и песню предсмертную пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел».

Врангель еще держался в Крыму и в любую минуту мог высадить десант.

С запада наступали белополяки, разбившие под Варшавой Троцкого, который нес на штыках мировую революцию, хотя Ленин и предлагал мирное сосуществование. Пилсудский уже перерезал дорогу на Киев, и его войско стояло где-то под Уманью, под Белой Церковью, под Кодымой, под Бирзулой. Ходили слухи, что уже заняты Вапнярка и Раздельная.

Может быть, он сделал глупость, что стал работать в Изогите и нарисовал Врангеля?

Впрочем, он не верил в возможность нового переворота. Как это ни странно, его манила романтика революции.

...Конвент... Пале-Рояль... Зеленая ветка Демулена... Са ира!

Он уже успел прочесть «Боги жаждут», и в него как бы вселилась душа Эвариста Гамелена, члена секции Нового Моста. Как волшебно это звучало, хотя его самого уже вели по другому мосту, по Сабанеевскому, за пиками которого в полуденной жаркой мгле виднелся безлюдный порт со всеми его голыми причалами и остатками сожженной эстакады.

...и внезапно захватившая его страсть к девушке из народа, в которой он видел Теруань де Мерикур, ведущую за собой толпу санкюлотов.

Красный фригийский колпак и классический профиль.

Что-то от Огюста Барбье, стихи которого «Собачий пир» в переводе Курочкина любил декламировать перед гостями его отец, едва сдерживая слезы восторга.

Эти стихи повторялись в Диминой памяти в такт кастаньетам его деревянных сандалий:

«Свобода — женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеках, с зажженным фитилем, приложенным к орудью, в дымящейся руке; свобода — женщина с широким твердым шагом, со взором огневым, под дымом боевым, и голос у нее — не женственный сопрано; ни жерл чугунных ряд, ни медь колоколов, ни шкура барабана его не заглушат»...

...Свобода — женщина, но в сладострастье щедром избранникам верна, могучих лишь одних к своим приемлет недрам могучая жена...

...«Когда-то ярая, как бешеная дева, явилась вдруг она, готовая дать плод от девственного чрева, грядущая жена».

Она была его женой, но почему все-таки ее не взяли вместе с ним?

Он уже почти бежал. С поразительной ясностью он понял, что погиб и уже ничто его не спасет. Может быть, бежать? Но каким образом? Бежал же на днях один поручик, которого вели по городу из Особого отдела в губчека. Поручик бросил в глаза конвойным горсть табачных крошек и, добежав до парапета, спрыгнул вниз с моста и скрылся в лабиринте портовых переулков.

Он быстро шел к развязке и завидовал поручику. Но сам на такой поступок был не способен. Да и табака в кармане не нашлось ни крошки. Ах, если бы хоть щепотка... или соли! Он бы... Но нет, он бы все равно ничего не сделал. Он был трус. Они все равно пальнули бы сзади в его лопатки, эти двое.

Они тотчас прочитали его мысли.

— Господин юнкер, иди аккуратней. Не торопись. Успеешь.

Его ужаснуло слово «успеешь».

Дверь на блоке, завизжав, открылась, точно была не входом в ад, а дверью сарая. Мимо желтой статуэтки китайца все трое вошли в комендатуру, скучную, как про-

винциальное почтовое отделение, с той лишь разницей, что вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенсне без оправы.

Мир сузился еще более.

Проходя по запущенному цветнику, он увидел тот самый гараж, о котором в городе говорили с ужасом. Ничего особенного, темные кирпичи. Запертые ворота. Смутный запах бензина.

Кровообращение сна уносило его все дальше и дальше в безлюдную область пересеченной местности, покрытой слоем каменноугольной пыли, где среди труднопроходимых отвалов шлака моталась белая бабочка сердцебиения, ища выхода из пещеры сна...

Белая бабочка была также и веером в руке матери, молодой и прекрасной, как та красавица гимназистка по фамилии Венгржановская, с которой он некогда танцевал хиавату на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.

Волосы распущены. Она с отчаянием рвется в какую-то закрытую дверь на блоке, стучится кулаками и не может достучаться.

Известно, что туда есть еще какой-то другой ход, открытый, незапертый. Но для того чтобы им воспользоваться, надо сначала подняться на лифте.

...Мы поднимаемся вместе с ней на испорченном лифте, каждый миг готовом развалиться или сорваться со стального троса. Пол лифта под ногами шатается, доски расходятся, зияют щели, и мы падаем вместе с испорченной кабиной в неизмеримую глубину шахты, и, кажется, никакая сила в мире не может нас спасти. Однако я спокоен, так как знаю, что все окончится благополучно и лифт своевременно остановится.

Просто был выбран неверный способ проникнуть туда, куда рвалась, обливаясь слезами, Лариса Германовна, старея на глазах.

Они опускаются в подвал семиэтажного дома. Необходимо пройти несколько миль в плохо освещенном подземном коридоре, пригибая голову под низко проложенными трубами отопительной системы.

Трудно. Очень трудно. Задыхаются.

Но зато подземный коридор выводит куда надо.

А куда надо?

Надо на волю.

Наконец впереди открытая дверь и дневной свет свободы. Они выходят наружу, но оказываются в безвыходном пространстве внутреннего дворика на первый взгляд без выхода. Впрочем, оказывается, выход есть: незаметные ворота, ведущие на улицу. Ворота, к счастью, открыты. Их забыли запереть.

Сквозь короткий туннель открытых ворот они выходят на безлюдный проспект, пролегающий в безрадостной пустынной пересеченной местности, конца и края которой не видно, а ворота, откуда они только что вышли, и семиэтажный дом, и дворик, и подземный коридор — все уже исчезло, и они на миг задерживаются среди непонятного пространства с обломками кирпичных стен, с насыпями, осыпями, оползнями, и уже хорошо знакомая магнитная сила продолжающегося сновидения несет их куда-то в обратную сторону.

Удаляясь, они приближаются.

И вот уже перед Ларисой Германовной опять дверь на блоке и перед ней желтый китаец в черных обмотках, с трехлинейной винтовкой у ноги. Она умоляет впустить ее в комендатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка: фаянсовое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается. Она плачет. Он неподвижен. Она маленькая, еще более постаревшая, стоит перед запертой дверью, уже превратившейся в глухую кирпичную стену, за которой угадывается залитый солнцем запущенный палисадник, сухая клумба петуний, заросших бурьяном, бассейн без воды, с пирамидкой ноздреватых камней и заржавленной трубкой.

Некогда это был фонтан, окруженный радугой водяной пыли.

Плохо прижившиеся липки, почти не дающие тени.

Эту мирную картину запустения видел сын, и она на миг успокоила его, но дорожка, покрытая успевшим запылиться морским гравием, по-дачному скрипевшим под ногами, оказалась слишком короткой. Она подарила ему совсем небольшой кусочек жизни, земного бытия с травой и солнцем. Может быть, это было прощание с миром, с воробьями, которые прыгали возле полуподвальных окон, на три четверти забитых косыми деревянными щитами, откуда невидимые люди бросали им кусочки черного хлеба.

Завизжала еще одна дверь на блоке.

Он стал подниматься по лестнице черного хода, по такой обыкновенной и совсем не страшной дореволюционной лестнице черного хода с чугунными узорчатыми ступенями, крашенными чернилами, запахом кошек.

Он успокоился.

Ну, лестница как лестница. Как обычно, на площадки этажей выходили кухонные двери.

Комиссар, которому его передали в комендатуре, деликатно, почти нечувствительно подталкивал его в спину стволом нагана. Они поднимались все выше и выше мимо мертвого лифта, повисшего между этажами на заржавленном тросе.

Лифт из одного из моих постоянных сновидений — спящий и я временами сливались воедино.

Этажи. Четвертый. Пятый. Площадки без мусора, протертые для дезинфекции керосином.

«Сладко пахнет белый керосин».

Но какая неестественная тишина. Лишь отдаленный стук пишущих машинок, щебетанье крови.

Зелень садика неумолимо уходила вниз, и уже в окнах показалась черепичная крыша противоположного дома с кошкой возле трубы, выше которой была уже пустота равнодушного неба.

Еще один этаж. Теперь вокруг было одно чистое небо. По такому небу могли бы летать ангелы.

Послышались шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье, но без передника,

красавица. Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения. Шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют. От этого шея и руки кажутся удлиненными. Туфельки, кое-где потертые до белизны.

Сзади комиссар с наганом, копия его комиссара. В обоих нечто троцкое, чернокожаное.

Поравнявшись, комиссары обменялись взглядами, как встречные корабли обмениваются в море приспусканием флагов, посторонились, пропуская друг друга. Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх.

Ее щеки горели. Точеный носик просветлел, как слоновая кость. Знаменитая Венгржановская. Самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней когда-то он танцевал хиавату. Он ее узнал. Она его не узнала. Полька. Аристократка, тогда от нее пахло резедой. Ее имя повторялось в городе.

Теперь оно тоже повторялось, но уже в другом роде. Она была участницей польско-английского заговора. Они решили поднять восстание, захватить город и, перебив комиссаров и коммунистов, передать его великой Польше «от моря до моря», войску маршала Пилсудского. Старая мечта польской шляхты завладеть этим городом на Черном море.

Теперь их всех, конечно, уничтожат. Может быть, даже сегодня ночью вместе с ним. Наберется человек двадцать, и хватит для одного списка. Заговор англопольский и заговор врангелевский на маяке. Работы на час.

Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться донага. Как родился, так и уйдет.

Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех?

...Сначала с усилием снимет через голову тесное гимназическое платье с узкими рукавами, потом рубашку, кружевные панталоны, чулки на еще детских резиновых подвязках. Маленькие груди. Немытое тело. Каштановый пушок. Гусиная кожа...

Спускаясь по лестнице, она посмотрела на него. Может быть, узнала и удивилась. Высокомерно и вместе с тем подбадривающе усмехнулась краем искусанного рта. Родинка на шее под маленьким ухом.

— Не задерживайтесь. Проходите.

Стоптанные каблучки застучали вниз по ступеням.

Ему велели подняться еще на один марш. Площадка седьмого этажа. Седьмое небо. На один миг он как бы повис в пустоте неба над Маразлжевской улицей, над Александровским парком с кирпичными сквозными арками старинной турецкой крепости. Морской простор.

Как прекрасен, свободен и необъятен был мир, который у него отнимут.

Комиссар передал его следователю, сказав:

— Последний из маяков.

— Садитесь, — сказал со вздохом следователь, измученный предыдущим допросом.

Отлегло от сердца. Значит, не здесь и не сейчас. Еще может быть долгое следствие, допросы, очные ставки...

Но все-таки как же это получилось? Неужели я тогда не разорвал записку, а только хотел разорвать и сжечь? Сейчас все выяснится. Ведь, собственно, я ничего не совершил. Только маяк.

Стул стоял против окна. Нарочно так поставили. Он сел. На его лицо упал желатиновый закатный свет. Церковный свет.

Следователь оставался в тени. Молодое неразборчивое лицо. Уже не мальчик, но еще и не вполне молодой человек. Юноша, носатый. Лошадиные глаза. На громадном письменном столе возле локтя кольт, источающий запах смазки. Шикарный кабинет с кожаной мебелью. Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, коллега отца.

— Не будем отнимать друг у друга время. Его у вас еще меньше, чем у меня. Вы меня, конечно, не знаете и знать не хотите. А я вас, представьте, помню. Однажды я был у вас на даче. Нет, нет, отнюдь не в гостях. Красил террасу. Приходилось подрабатывать. Балуетесь живописью? Я са́м живописец. Учился в художественном. Главным образом работал по пейзажу. Ну, как Исаак

Левитан и так далее. Не закончил. Средств не хватило. Выперли. А вы покушаетесь на исторические полотна? «Пир в садах Гамилькара». Ого-го! Рабы, распятые на крестах, красный огонь и черный дым костров. Неверная перспектива и все это почему-то пастелью. Конечно! Пастелью легче: ни цвета, ни формы. Детский рисунок. Ну еще бы! Богатый папаша. Ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей. Десять рублей — пустяки. Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна! Я знаю, перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург, пытался по протекции впихнуть вас в Академию художеств. Но вы с треском провалились, только напрасно опозорились. А теперь папаша драпанул вместе с добровольческой армией в Константинополь, захватив с собой красотку из «Альказара», мамочка осталась на бобах и распродает барахло, а вундеркинд подался в контрреволюцию.

Следователь склонил темное лицо и порылся в ящике стола.

Его слова были грубы, справедливы и ужасны, но еще страшнее было полотнище кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции!». Это знамя он уже видел на первомайской демонстрации. Его несли во главе колонны сотрудников губчека.

На стене под знаменем висел знакомый портрет: пенсне без оправы, винтики ненавидящих глаз, обещающих смерть и только смерть.

— Займемся,— сказал следователь.— Имейте в виду — все ваши уже сидят у нас в подвале. Вы последний. Так, может быть, обойдемся без лишней болтовни?

Закатив зрачки и упершись в его лицо белками конских глаз, упершись руками в край лакированного стола с таким напряжением, что даже привстал, следователь сказал:

— Так как же?

— Хорошо, — произнес Дима, с трудом преодолевая тошноту страха.

Первое слово, произнесенное им после того, как те двое подошли к нему сзади в неестественно просторном полуциркульном помещении столовой, где некогда, в легендарном минувшем, показывали знаменитую панораму «Голгофа», смотреть которую водили маленького Диму.

...Перед мальчиком полукругом раскинулась как на-

стоящая черствая иудейская земля: рыжие холмы на рыжем горизонте — неподвижный, бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей в розовых и кубовых хитонах, на ослах и верблюдах и пешком, и надо всем этим царила гора Голгофа с тремя крестами, высоко воздвигнутыми на фоне грозового неба с неподвижными зигзагами молний. Распятый богочеловек и два разбойника, распятые вместе с ним — один одесную, а другой ошую — как бы висели с раскинутыми руками над небольшой живописной группой римских воинов в медных шлемах, украшенных красными щетками.

Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови. Голова в терновом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на камышовой трости к запекшимся устам спасителя губку, смоченную желчью и уксусом.

Живот распятого был втянут под выступавшими ребрами грудной клетки, и чресла стыдливо прикрыты повязкой. Надвигающаяся пылевая буря уже деформировала неподвижно раздувающиеся одежды евангельских персонажей, и мальчику уже трудно было дышать полотняным воздухом панорамы.

Может быть, именно тогда зародилась мечта нарисовать цветными карандашами нечто подобное — величественное, бессмертное.

...Красные щетки медных шлемов римских воинов. Распятые на крестах...

«Пир в садах Гамилькара».

— Тогда подпишите, и не будем терять времени.

Он взял деревянную ручку с обкусанным концом, обмакнул перо в чернильницу и торопливо, как будто бы стараясь поскорее отделаться от жизни, подписался. И сразу почувствовал минутное облегчение, а потом, двигаясь в обратном направлении, очутился в полуподвале с беленными известью стенами, еще довольно ярко освещенном сквозь щели дощатых щитов светом уходящего дня.

Полно знакомых и незнакомых, а над ними семиэтажная громада дома, казавшегося днем мертвым, а теперь постепенно оживавшим. В нем как бы зашевелились какие-то неизвестно откуда появившиеся люди. Может быть, на каком-то этаже начала заседать тройка. Не ис-

ключено, что оглашались списки. Пишущие машинки стучали наперебой.

Товарный вагон полуподвала, где при жалком свете электрической лампочки слабого накала сидели, лежали и стояли фигуры знакомых и незнакомых, уносил его все дальше и дальше от дома, от дачи, от жизни в непознаваемую область с остатками кирпичной кладки, поросшей бурьяном. Тень бронепоезда с погашенными огнями как бы с тяжелыми вздохами медленно двигалась мимо разрушенной водокачки. Угольки сыпались из поддувала, скупо освещая дегтярно-черные шпалы, пахнущие креозотом.

Каким-то образом становится ясно, что бронепоезд, прорываясь сквозь фронты, везет на юг особоуполномоченного по чистке органов от проникших туда врагов. Карающий меч революции в руках Наума Бесстрашного. Бронепоезд приближается. Рельсы несут его все ближе и ближе к городу.

Таинственная деятельность уже явственно ощущается во всех семи этажах. С наступлением ночи она усиливается. Тяжелое предчувствие охватывает товарный вагон полуподвала — всех знакомых и незнакомых.

В коридор полуподвала ворвался топот многих ног. Одна за другой отпираются двери камер. Приближается голос, произносящий фамилии — знакомые и незнакомые — по списку.

— Прокудин. Фон Дидерихс. Сикорский. Николаев. Ралли. Венгржановская. Омельченко.

Пронесет или не пронесет? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрывшейся двери тускло блеснула кожаная куртка. Наплечные ремни. Кубанка. Ручной электрический фонарик. Зайчик света побежал по листу бумаги с треугольной печатью.

— Из камеры с вещами. Карабазов. Вайнштейн. Нечипоренко. Вигланд. Венгржановский.

Неужели их тоже? Он замер. Вот сейчас, сию минуту произнесут его фамилию, и тогда все кончится безвозвратно и навсегда.

Но нет. На этот раз его не вызвали. Других из маяка тоже не вызвали. Значит, их очередь еще не наступила. А вдруг случится чудо и очередь их никогда не наступит?

Те же, чья очередь уже наступила, вели себя по-разному.

Полковник Вигланд в английской шинели, имевшей на нем вид халата, сидевший в углу и безостановочно строчивший по-английски свой дневник, преждевременно седой, дурно подстриженный, быстро дострочил начатую фразу и спрятал заветную тетрадку глубоко под шинель. Вероятно, он надеялся, что в конце концов его записки каким-то образом попадут в руки потомков, как важный исторический документ, и его имя произнесут рядом с именем знаменитого Лоуренса-аравийского, гордостью британской разведки, или, быть может, даже рядом с именем Уинстона Черчилля. Потряхивая серым хохолком на маленькой головке, с выпуклыми склеротическими английскими глазами, солдатским шагом он прошел мимо ручного электрического фонарика и скрылся в темноте коридора.

Приказчик мануфактурного магазина Карабазов в легкой короткой поддевочке долго копался в своем узелке, укладывая остатки сахара, кружку, ложку, салфеточку, оттягивая время, и шея его над вышитым воротом русской рубахи венозно покраснела.

— Побыстрее! Не копайтесь!

Вайнштейн, как только услышал свою фамилию, до неузнаваемости переменился в лице, поднял согнутые в локтях руки и, как бы жеманно вытанцовывая фрейлахс, на цыпочках, осторожненько, осторожненько с ничего не видящими безумными глазами протанцевал в коридор, вполголоса напевая с сильным акцентом: «Каустическая сода, каустическая сода...» — как бы желая отстранить от себя эту проклятую каустическую соду, спрятанную в подвале и теперь отнявшую его жизнь.

Штабс-капитан Венгржановский в студенческой тужурке и длинных шевровых сапогах, гордо закинув голову, — как две капли воды похожий на свою младшую сестру, — вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску.

Фон Дидерихс суетливо раздавал на память остающимся в камере мелкую элегантную чепуху: замшевый кошелек, шелковый платочек для наружного кармана, портсигарчик, маленькую фотографию девушки с испанским гребнем в прическе, обручальное кольцо, долго не снимавшееся с пальца, и по его курносому курляндскому носику ползла аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика.

...он стоял недалеко от двери в третьей танцевальной

позиции, окаменевший, с помраченным сознанием, загадавши, что если он не шелохнется, не вздохнет, не сдвинет ног с третьей позиции ни на один сантиметр, ни на волосок, то его не вызовут, если же хоть чуть-чуть шелохнется, то сейчас же услышит громко произнесенную свою фамилию, и тогда уже будет все кончено и он навсегда перейдет в ту непонятную, ужасную область, откуда нет возврата...

...нет возврата...

Снились ли им в эту ночь какие-нибудь сны? Они сами были сновидениями. Они были кучей валяющихся на полу сновидений, еще не разобранных по порядку, не устроенных в пространстве. Урожай реформы.

Ни в аду, ни в раю, ни в чистилище. Нигде.

Преодолевая угловатые препятствия, чудилось им, польские части, перевалив за Раздельную, приближались к станции Гниляково-Дачная. Вот они уже освобождают Сортировочную. Они непростительно долго путаются среди железнодорожных тупиков, закрытых семафоров, обратно переведенных стрелок. Морской десант прыгает прямо с барж в прибой. Десантники по грудь в пене, подняв над головой новенькие винчестеры и ручные пулеметы черной вороненой стали, устремляются на Мостдорфский пляж, но водоросли и множество медуз мешают им бежать. Вымокшие английские шинели горчичного цвета с трехцветными шевронами на рукавах стесняют движения. Движения угрожающе замедляются. Неужели они не успеют взять штурмом семиэтажный дом, где все время что-то происходит?

Их и без того непростительное замедление осложняется присутствием мамы, папы и его жены Инги с маленьким белым шрамом на губе.

Теперь, как и тогда, она была старше его. Не девушка, не барышня, а молодая женщина, опытная и страстная, которая силой взяла его, не отпуская от себя ни на шаг и не давая ему вздохнуть, и он слышал запах ее

тельняшки и рук — сильных, как у прачки. Она повелевала им, как будто была не женщиной, а мужчиной. Женщиной был он. Их сожитие доставляло ему мучительное наслаждение, вытягивая из него все жилы, издававшие при вытягивании виолончельные звуки хроматической гаммы, переходящей во что-то церковное, панихидное, «творящее песнь». Они сопровождали таинство их бракосочетания в какой-то незнакомой пасмурной церкви.

Она была одновременно и его жена и его мать, которую он совсем забыл, а теперь вдруг вспомнил, и она печально стояла возле него с лицом, не различимым под траурной вуалью. А он, оставаясь ее сыном, в то же время был как бы своим собственным отцом, мужем матери,— в белом галстуке и во фраке с серебряным значком присяжного поверенного на шелковом лацкане, и перед ними стоял вышедший из царских врат священник в траурной ризе, и ко всему этому примешивалось ощущение коварства, погубившего их всех.

Священник помахивал кадилом, но делал это без всякого одушевления, и кадильный дым был без запаха, и это давало понять, что жизнь висит на волоске. Он этого не понимал. Это понимала одна лишь его мать, у которой сердце трепетало, как белая бабочка, улетающая из церкви наружу через разбитое окошко в куполе в поисках спасения.

Лариса Германовна с отчаянием отбрасывала мысль, что все уже совершилось и она опоздала.

Море, еле заметное за деревьями парка за семиэтажным домом, куда она никак не могла проникнуть, кипело, как масло на раскаленной сковородке, и оттуда вместе со звуками жарения доносился запах гниющей тины и мертвых мидий, выброшенных на берег.

Десятки способов спасения сына приходили в ее воспаленный мозг, но ни один не подходил, а между тем она чувствовала, что есть какой-то один-единственный, но верный способ, но он ускользал из ее сознания подобно забытому слову, выпавшему из памяти, но оставившему неразборчивый след.

Это слово есть. Оно существует, но оно забыто, стоит только сделать усилие — и оно вспомнится. И вдруг, как забытое слово, возник перед ней еще не опознанный и не обозначенный словом человек с отторгнутым именем, спаситель сына. Пока еще человек и его имя существо-

вали отдельно друг от друга. Но Лариса Германовна уже предчувствовала их слияние.

Сперва явилось имя. Оно явилось как бы из ничего. Серафим. И тут же имя слилось с человеком. Человек обрел форму: Серафим Лось. Да, именно он. Писатель. Он несомненно когда-то бывал у них на даче. Даже читал что-то свое, революционно-декадентское. Он всегда появлялся внезапно и так же внезапно исчезал. Ходили темные слухи, что он боевик, бомбист.

В его профиле было действительно что-то горбоносо-лосиное, сохатое.

Он сидел, согнувшись над маленькой портативной пишущей машинкой «Эрика» с западающей буковкой «о» и выскакивающей над строчкой буковкой «к».

Он с такой силой стучал по стершимся клавишам, что буквы насквозь пробивали дрянную, почти клозетную бумагу.

Он сводил счеты с русской революцией. Он писал о себе, придумав для своего героя многозначительную фамилию Неизбывнов.

Комиссар Временного правительства Неизбывнов. Это звучало прекрасно. Он мучительно переживает развал русской армии.

«Стоя в окне своего салон-вагона, Неизбывнов видел сон наяву. Явь сегодняшнего дня месяцев восемь тому назад была бы невозможной даже и во сне, под крышей мансарды на рю де Сантэ, куда Париж как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в ночные улицы, заполненные «этими господами» в косоворотках и нелепых шляпах,— знаменитую тюрьму Сантэ, из ворот которой иногда по рельсам вывозили гильотину, так как по закону казни должны были совершаться не в стенах тюрьмы, а публично, на площади. Сон наяву, сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурно, и, оплетаясь с третьим, десятым, сотым, чер-

тило огромный круг, куда таинственная — кем предназначенная? — судьба, бросала все новые и новые звенья».

Это здорово, подумал Серафим Лось, именно звенья, и продолжал долбить по шатким клавишам.

«Каждое звено было отлично от другого, как разнились сибирские каторжные тюрьмы от Сорбонны, и каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаках».

Не чересчур ли насчет Нагасак? И как омерзительно выскакивает над строчкой буква «к», портя все впечатление от стиля, а буква «о» выбивает бумажные белые и черные кружочки, осыпая мои колени, черт бы их побрал!

Движение мысли несло его в обратную сторону, и он махнул рукой на маленькие досадные помехи печатания на машинке.

А почему бы, собственно, и не гейша? Но не слишком ли много звеньев? Он чувствовал их переизбыток, но не мог уже остановиться. Он торопился. Вечерний свет острым углом проник в комнату, полную махорочного дыма. Надо успеть достукать главу до наступления темноты. Электричество было выключено.

«И ковался, ковался загадочный круг, — стучали буковки пишущей машинки, — таща за собой словно назло всему земному, разумному — но во имя неразумного! — Нерчинский острог, и Черемховский рудник с вагонетками и тачками, и номер петербургской «Астории» с бомбой в чемодане якобы английского инженера Джона Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плывущую вниз по Амуру к океану, к Азии, к воле, и смертный приговор, выслушанный в здании военного суда...».

Лось передохнул, отряхнул с колен бумажные кружочки.

«...и ночные парижские кафе возле рынка... и карцер, узкий, как гроб, откуда, кажется, не выйти живому... и коридор Смольного, и залы Таврического дворца... и знамена, знамена, знамена красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон комиссара Временного правительства...»

Дался мне этот салон-вагон. А все-таки приятно вспомнить.

«...с зеркалами, фарфоровым сервизом в голубых с золотом великокняжеских гербах...»

Измученный, обалдевший, он выкрутил из-под валика три листка, переложенных дрянной копиркой, которая уже не пачкала пальцев, и увидел стоящую в дверях женщину, даму, которая кинулась к нему и схватила за руки.

— Ради Бога. Только вы один можете его спасти. Вы были на каторге вместе с этим Маркиным.

Он вытер рукавом френча слезящиеся от напряжения глаза. В его голове, в его лице, в его носе в самом деле было нечто лосиное, хотя Серафим Лось была всего лишь партийная кличка, литературный псевдоним, а на самом деле он был Глузман. Ему все еще казалось, что его куда-то уносит салон-вагон и что женщина стоит в дверях этого салона, за окнами которого проносится метель паровозных искр.

Сначала он не узнал Ларису Германовну, так она постарела, но, придя в себя, вспомнил дачу, картину «В садах Гамилькара» и понял, что речь шла о ее сыне.

— Да, да, конечно, сейчас же.. — торопливо забормотал он, слепо суясь по углам, — мы с Максом были на каторге, даже вместе бежали...

Он нашел в углу среди сора свои деревянные сандалии, сунул в них босые ноги, и они побежали по улицам, уже освещенным закатным багрянцем.

У него был мандат действительного члена общества политкаторжан. Тогда почти каждая бумажка называлась мандатом. Она открыла ему двери губчека.

Вчера по приказу Маркина не в гараже, а прямо во дворе среди бела дня, расстреляли двух оперативников, укравших во время обыска золотые часы и бриллиантовую брошку. Маркин до сих пор не мог успокоиться. Перед его глазами неустранимо стояла картина допроса, а потом казни. Они оба стояли перед ним, еще живые, но уже без поясов и без сапог, переминаясь босыми ногами с ракушками отросших, давно не стриженных ногтей больших пальцев. Потом уже во дворе они повалились в разные стороны, а из стены на них посыпалась кирпичная пыль.

У Маркина был неистребимый местечковый, жаргонный выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого.

Его бурая шея стала еще более бычьей, чем на каторге. Но тогда голова его была наполовину выбрита, а теперь густо заросла жесткими пыльными волосами с рыжеватым оттенком.

— Здравствуй, Глузман, — сказал он без удивления.— Ну что, до сих пор эсерствуешь?

В кабинет, толкнув дверь коленом, вошла молодая женщина в юбке клеш с небольшим шрамом на губе. Обеими руками она прижимала к груди тяжелый громадный «ундервуд». Увидев, что в кабинете посторонний, она поставила машинку на стол, отчего звякнули звоночки, и, кинув на Серафима Лося острый взгляд леденцовых глаз, порочно опушенных тенистыми ресницами, вышла из кабинета, плотно притворив за собой обитую клеенкой дверь.

Неужели на этом допотопном «ундервуде» печатаются проскрипционные списки,— подумал Лось. Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом. Но надо было терпеть.

— Заварки нет, — сказал Маркин. — Кипяток есть. Будем пить с ландринками.

Он протянул на ладони с резко прочерченными чер-

ными линиями судьбы три разноцветных ландринки. Лось выбрал и положил в косой рот с давно не леченными зубами одну ландринку, как бы отлитую из бутылочного стекла, а малиновый и желтый шарики оставил для Маркина — деликатность, принятая на каторге.

— У тебя сидит один юноша... — начал Лось.

— А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово «знаешь» как «жнаишь» и слово «сидит» как «шидит».

— Ко мне приходила его мать.

— Ко мне она тоже приходила, но я ее приказал не пускать. А твой юноша — юнкер, член контрреволюционной организации. Сегодня мы их всех ликвидируем.

Лось помертвел.

— Макс, я прошу тебя, во имя нашей старой дружбы.

— Ты просишь, чтобы я его выпустил?

Он произнес «выпуштиль».

— Ради твоей матери. Ведь у тебя тоже была мать.

— Замолчи! Была у меня мать или не была... Какого черта ты пришел сюда ковыряться в моей душе? Еще неизвестно, чем ты занимаешься у нас в тылу. Может быть, ты работаешь по заданию Савинкова и мечтаешь устроить у нас Ярославль... А вот я сейчас вызову коменданта, и он поставит тебя к стенке.

— Я уже давно разоружился.

— Ага! Осознал свои политические заблуждения? Так почему же ты не идешь работать к нам? Стал обывателем! Эх ты... А еще бросал бомбы в губернаторов.

— Когда-то мы дали друг другу клятву дружбы.

— Врешь. Я не давал никакой клятвы.

— Вспомни напильник. Может быть, ты посмеешь отрицать, что напильник достал я?

— Напильник достал ты, — смущенно пробормотал Маркин.

— Так подари мне жизнь этого мальчика.

— Заткнись! — крикнул Маркин. — Или я застрелю тебя на месте.

«На месте» он произнес как «на мешти».

Он вырвал из кобуры наган.

— Уходи!

Кровь бросилась в лицо Лося. В нем заговорил старый боевик-эсер.

— Стреляй, подлец! — сказал он сквозь зубы. — Стреляй в своего товарища по каторге, если у тебя хватит совести.

Маркин швырнул наган на стол и опустил глаза.

Опустить глаза значило сдаться.

— Даешь слово? — спросил Лось. — Не обманешь?

— Мое слово железо.

На подоконнике продолжали сохнуть корки пайкового хлеба. По закопченному солдатскому бачку с остатками засохшей ячной каши ползали синие мухи. На куске газетной бумаги продолжали блестеть вещественные доказательства — золотые часы и бриллиантовая брошь.

— Но имей в виду, Глузман,— крикнул Маркин вослед уходящему Лосю, — если ты еще хоть раз попадешься мне на глаза, я не посмотрю, что мы когда-то вместе были на колесухе. Мы враги.

Солнце заходило. Трудно дышалось. В кабинет уже начали проникать предвечерние тени. Перед глазами Лося все еще стояла убитая горем женщина. Он видел, как голого юношу с родимым пятном под лопаткой, со сливочно-нежным телом вталкивают в гараж...

Только он один мог его спасти. И он его спас.

— Он дал слово. Его выпустят, — сказал Лось Ларисе Германовне, которая продолжала неподвижно стоять на том самом углу, где он ее оставил, на углу под акацией, увешанной ремешками стручков.

Она стала мелко и часто, по-дамски, креститься. Потом рванулась, схватила руку Лося и стала осыпать ее поцелуями.

— Лариса Германовна, ради Бога, что вы делаете!..

...сновидение уже уносило ее вдоль пустынной улицы вон из города, вдоль заржавевших рельсов дачного трам-

вая. Она иногда присаживалась отдохнуть на станционной скамейке, вделанной в бетон, или просто на обочине, поросшей бурьяном. Сознание ее меркло. Душа отдыхала, хотя в товарном вагоне полуподвального помещения, начиная со вчерашнего утра до наступления сегодняшнего вечера, покорное умопомешательство охватило тех, кто там был заперт, и все их душевные силы сосредоточились на одной-единственной неподвижной мысли: успеет ли несуществующий десант высадиться в Люстдорфе и займут ли поляки Сортировочную.

Незадолго до вечера, когда в вертикальных щелях косых дощатых щитов еще слабо золотилось навсегда уходящее солнце, их стали вызывать по списку. Он услышал свою фамилию, произнесенную так отчетливо, что сомнений быть не могло. Когда сознание его прояснилось, он увидел себя (уже как бы в другом измерении) в большой комнате, все еще освещенной уже почти розовым послезакатным светом, перед ящиком старинного фотографического аппарата, громоздкого, на колесиках, с медными винтами и куском черной материи, брошенной на его потертую гармонику.

Сыпнотифозный запах вокзала смешивался с кислой вонью вираж-фиксажа.

Но все это уже не имело значения.

Взяв за плечо, его водили туда и сюда, распоряжаясь им уже не как живым человеком, а как скульптурной моделью человека.

— Сядьте здесь. Поверните голову. Выше подбородок. Не дышите.

Затылок уперся в железную скобу высокого штатива, тот самый старик, который, кажется, уже один раз когда-то очень давно снимал его, ходил перед ним, устанавливал объектив на фокусное расстояние. Полы синего халата развевались. Но когда-то на нем был бархатный жакет и галстук бантом. Карапузик с ямочками, голенький, веселенький, лежал перед ним на подушке с кистями: это был тоже он.

Все вызванные по списку были разъединены. Фото-

графировали каждого поодиночке. Анфас и в профиль. Голова твердо упиралась в скобу штатива. Визжал винт.

— Внимание. Выдержка десять секунд. Не моргайте. Смотрите прямо в объектив. Снимаю.

Опытная рука мягко сняла черную крышечку и, держа ее изящно на отлете, описала мягкий круг и так же мягко прикрыла объектив, в увеличительном стекле которого успели отразиться все три окна пустынной комнаты.

И опять фотограф с головой, ритуально покрытой черной тканью, полез на него со своим полированным ящиком, одноглазым, как циклоп.

Анфас и в профиль. Как преступника. Впрочем, он ведь и был преступник. Он не знал, какой у него профиль. Говорили, что греческий. Папа всегда говорил: «Господа, не правда ли, у моего мальчика артистический профиль Аполлона. Профиль мой, а овал лица материнский».

У него был несколько выдающийся затылок. Теперь этот затылок упирался в железную скобу. Затылок преступника. Неужели в этот затылок сегодня вбежит пуля?

Но пока еще был желтый, давно не натиравшийся паркет, тускло отсвечивающий восковым, послезакатным светом.

— Давайте следующего. А этот пусть подождет. Может быть, придется делать дубль.

Время перестало существовать, так как вокруг уже чернела ночь, пахло петунией и все они сидели в открытой беседке недалеко от гаража, где уже заводили мотор грузовика.

Лампочка слабого накала под жестяным кружком освещала всю эту картину. По списку он был восьмой.

Два первых уже исчезли. Их вещи кучей лежали на газоне. Стукнуло два выстрела, тупо поглощенных кирпичной стеной. Он почти не услышал этих выстрелов. Он плыл не быстро и не медленно, с усилием продвигаясь в трудной среде неподвижного пространства.

За полуоткрытыми воротами гаража проводилась странная работа.

Прежде чем ему следовало войти туда, наступила еще не имеющая протяженности пауза, необходимая для того, чтобы он успел раздеться, как будто бы это был не гараж, а купальня на краю безбрежного пространства.

Его товарищ по реальному училищу, имя которого вдруг выпало из памяти, уже голый, с гусиной кожей на

груди, неожиданно рванулся в сторону от гаража, побежал по клумбе с петуниями, фосфорически белея телом, его схватили, из носа его потекла кровь, он поник, его подхватили под руки и понесли обратно в гараж. «Боже мой, неужели они хотят то же самое сделать со мной? Неужели мне тоже надо раздеваться?»

Он был такой нежный, с материнским овалом лица, с греческим профилем красавца отца, с кисточкой шелковистых волос на затылке, над той мягкой ямочкой, которую нянька называла «врушкой».

Белая бабочка сердцебиения, зигзагами прилетевшая из степи, кружилась возле Ларисы Германовны. Она открыла глаза и с удивлением увидела над собой серебристый песок Млечного Пути, Большую Медведицу, хрустальную цепочку Ориона. Она неожиданно заснула, когда над степью еще дотлевала заря, а теперь было темно и тихо, и она благодарила создателя как бы повисшей над ней вселенной за жизнь, дарованную ее мальчику.

Легко сказать — двенадцать верст туда, да двенадцать обратно, да опять двенадцать туда, двенадцать обратно. Натруженные ноги горели огнем и опухли. Она сбросила порванные ботинки и пошла босиком, а небо уже отделилось от моря, выпала роса, она с наслаждением ступала босиком по мокрой полыни. Когда она подошла к своей даче, уже третьи петухи пели спросонья хриплыми голосами.

Она едва добралась до постели, легла не раздеваясь, и ее снова достиг глубокий сон во сне, полный мучительных видений, в которых участвовали не только знакомые и незнакомые люди, но также неодушевленные предметы и отвлеченные понятия, принимавшие странные формы.

Эвакуация являлась в виде полурусалки-полуцыганки, увлекаемой по фиолетовым волнам Ионического моря человеком, совсем не похожим на бросившего ее мужа, отца сына, однако именно он — красавец в адвокатском фраке. Золотые запонки, золотое обручальное кольцо. Одновременно этот человек был ей также и сыном, которого уже не полурусалка, а она сама увлекала из госпиталя на дачу, для того чтобы спасти от смерти.

Она продолжала бегать в город на базар, очень невыгодно меняя домашние вещи на хлеб и на сало, она за бесценок сбывала подпольным перекупщикам-спекулянтам меха и драгоценности, даже обручальное кольцо, лишь бы выходить мальчика.

Она опускалась, старела, нищала. Она с трудом узнавала себя в зеркале, хотя все время продолжала оставаться хозяйкой своего разоренного дома — дачи над высоким обрывом, поросшим полынью, откуда открывался широкий, но слишком пустынный морской вид.

Прислуга разбежалась. Некому было убирать комнаты. Оставался только садовник-немец — неизвестно откуда появившийся,— глухой старик из колонистов, все время возившийся со своими теперь уже бесполезными садовыми инструментами.

Полубезумный старик с головой Ницше.

«...А в наши дни и воздух пахнет смертью...»

Она, конечно, лучше других знала недостатки своего мальчика: душевную вялость, избалованность. Она понимала, что он совсем не талантлив: юноша-дилетант из богатого дома. Однако в его характере были и доброта, и нежность, и доверчивость, слабые порывы к красоте, но в то же время какая-то умственная неустойчивость.

У него не было взглядов.

Как наяву, так и во сне она продолжала его любить страстно, отрешенно, с той силой слепой материнской любви, которая составляла смысл ее жизни.

О, как счастливо жила она вдвоем со своим выздоравливающим мальчиком на даче, которую еще не успели реквизировать.

Он быстро поправился, толстел. С коротко остриженной головой по целым дням он писал натюрморты и пейзажи. Ими были увешаны все стены его комнаты-студии.

Она примирилась с изменой бросившего ее мужа. Сын заменил ей все. Революция? Какое ей дело до революции! Она была счастлива. С ее плеч свалились заботы,

связанные со зваными обедами, с ведением большого хозяйства. Из друзей и знакомых почти никого не осталось, все бежали с белыми. А те, кто остался — например, военный врач, сосед по даче, — старались не показываться, отсиживались по домам, ожидая десанта.

Наконец-то она получила возможность вести образ жизни, свойственный ее возрасту: пожилая женщина, мать единственного сына, занятая черной домашней работой, продажей вещей, доставанием продуктов, уходом за выздоравливающим сыном.

Ее сон был наполнен блаженным сознанием, что сын спасен, однако сновидения ее были тревожны. Они неудержимо несли ее все дальше и дальше от успокоения, которого она так жаждала. Минуя все прекрасное, что сияло вокруг нее — море, степь, луну, похожую на дневном небе на слабый отпечаток пальца,— ее уносило навстречу неизбежному горю. Сын, который все время был рядом с ней, вдруг исчез. Он ушел из родного дома и поселился в городе. Это исчезновение сына повторялось в ее сновидении несчетное количество раз со всеми подробностями, хотя все было очень просто и даже как бы предопределено судьбой.

Он исчез, пропал, подобно тому как выпадает из разрушающейся памяти хорошо знакомое, но вдруг забытое слово.

Иногда она ходила пешком — в город. Она не могла понять, какая сила увлекла его в город, переставший быть самим собой, чуждый, полный опасностей.

Кажется, он объяснил ей, что зарегистрировался в губвоенкомате и стал на учет, как бывший юнкер, имеющий гражданскую профессию художника.

Он прошелся по приморскому бульвару над опустевшим портом в виду еще более опустевшего, одичавшего моря.

Во сне, уносившем ее за пределы собственной жизни, она продолжала жить жизнью сына, его впечатлениями,

его чувствами. Она перестала быть собой. Она стала им, своим мальчиком.

Его поразил вид торгового города, лишенного своей торговой души: вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголенного, без фланирующей публики на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнаженности город показался ему новым и прекрасным.

Выступила неповторимая архитектура, освобожденная от наслоения вульгарной торговой рекламы. Ему понравилось дневное малолюдство улиц. Казалось, что праздность навсегда изгнана из города, где царствовал освобожденный труд.

Это было так ново, что он и сам почувствовал себя не только обновленным, но как бы вторично рожденным. Он поступил на работу в Изогит и стал писать агитационные плакаты. Ежедневно ходить с дачи в город на работу было утомительно. Он получил ордер на комнату в городе. Он не подумал, что оставляет мать одну. Для него начиналась новая жизнь, а для нее это был удар, который она с трудом перенесла. Теперь она осталась одна и ходила по пустой даче, по неприбранным комнатам, где всегда гулял ветер — то морской, то степной.

...Однажды она пошла в город навестить сына и понесла ему в веревочной кошелке фунт абрикосов, выменянных на ажурные чулки. Она застала его в маленькой комнате вдвоем с незнакомой молодой женщиной. Он смутился. Молодая женщина с первого же взгляда не понравилась Ларисе Германовне. Она показалась ей слишком привлекательной: свободно держалась, была старше Димы и, что особенно неприятно, называла ее мальчика не Димой, а вульгарно — Митей, а главное, она была старше его...

Что-то зловещее чувствовалось в этом неравенстве возраста. Нет, это не была обычная материнская ревность, хотя ревность тоже присутствовала. Нет, она чувствовала в подруге сына нечто необъяснимо опасное: женщина низшего слоя, может быть даже бывшая горничная.

Чутье не обманывало Ларису Германовну.

...питерская горничная из богатого дома, пошедшая в революцию...

Тревога не оставляла Ларису Германовну даже теперь, когда сын был спасен. Да, он был спасен. Но опасность еще не миновала. Мало ли что могло случиться после того, как его выпустят.

Она оберегала его от превратностей революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с какими-то будто бы хорошо ей знакомыми людьми через Днестр на противоположный берег, где в предутреннем тумане темнели густые прибрежные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников. Теперь он был уже в полной безопасности, но навсегда потерян для нее, и это было невыносимо тяжело.

Почему же он бросил ее одну, не взял с собой!

Это был уже вещий материнский сон, провидение того, что ожидало сына в неизмеримо далеком будущем.

Чем дальше его уносило от смерти, тем вернее он к ней приближался. Но боже мой, какое это длительное приближение! Оно измерялось годами, десятилетиями, войнами, революциями, поражениями, победами. Рушились и возникали новые государства, лилась кровь, в разных частях земного шара гибли миллионы.

Мать и сын неслись рядом в пространствах сновидения, не имеющего никаких опознавательных знаков.

Он старел на ее глазах. Он уже превратился в почти незнакомого шестидесятилетнего старика с сизой щетиной на все еще красивом удлиненном материнском лице с неизгладимыми отпечатками всех его заблуждений, может быть даже пороков. Две клячи тащили конку по несвойственным ей рельсам бездействующего электрического трамвая, увозя его в безнадежно обратном направлении, и под звуки серенады Брага, которые вытекали из-под виолончельного смычка как приторный фруктовый сироп, он с горечью понимал, что уже никакая сила не может его вернуть обратно. Вокруг него уже пахло лагерной дезинфекцией и сосновой смолой госпиталя, где он лежал на нарах один-одинешенек. В окнах, вделанных

высоко над потолком и забранных решеткой, виднелось небо северной России, которая представлялась ему совсем чужой заповедной страной, виднелась хвойная зелень степи.

На соломенном матраце возле него лежала коробочка детских акварельных красок, мензурка с бурой водой, кисточки и лист бумаги, где он начал и никак не мог закончить по-детски старательно вылизанный морской пейзаж с дачей на обрыве, маяком и большим облаком, как-то по-итальянски отраженным в воде. Дача была не вполне дописана, и сделать передний план у него не хватало сил. Он обливался потом.

Слабая попытка вернуть детство, юность, прошлое.

Он все время вспоминал мать, с которой они сначала неслись в незнакомом пространстве, а потом она вдруг пропала за остатками обрушенной кирпичной стены и больше уже не появлялась, хотя была где-то рядом, и он всюду ее искал, но всякий раз, когда чувствовал приближение к ней, его уносило в обратную сторону.

Иногда он видел ее вдалеке, недосягаемую, бегущую в город в стоптанных ботинках, с веревочной кошелкой с абрикосами, ее, бедную маму, могилу которой он так и не нашел, когда вернулся в родной город вместе с чужеземными войсками.

«Ночь» из «Аиды», свернутая в рулон, тряслась по исковерканным дорогам войны в неуклюжем тягостно-сером немецком грузовике с брезентовым верхом. Лунный свет, разлившийся по таинственным водам Нила, казался ему тем самым лунным светом, которым он любовался в юности с обрыва возле Люстдорфа. Очень яркая полуночная луна сияла серебряными озерами по голубым айвазовским просторам. Но только вместо силуэта маяка чернели силуэты финиковых пальм и две далекие пирамиды — одна побольше, другая поменьше.

Начальство относилось к нему неплохо. Будучи много лет театральным художником в эмиграции, он научился хорошо писать декорации и теперь оформлял спектакли лагерной самодеятельности.

Он часто вспоминал о Боге, в которого опять верил, горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой руба-

хой на тесемочке висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это Бог карает его за грехи, и со смирением принимал Божий гнев.

Он думал о своих брошенных мальчиках, которые уже теперь должны были быть взрослыми мужчинами, если они еще существуют. Где они теперь? Простят ли они его когда-нибудь? Знают ли они о его существовании?

Иногда ему являлся отец. Небольшого роста седоватый красавец с серебряной бородкой, хорошо поставленным адвокатским голосом, он декламирует на открытой террасе стихи Огюста Барбье, как бы предсказывающие судьбу его мальчика:

«Свобода — женщина, но в сладострастье щедром избранникам верна, могучих лишь одних к своим приемлет недрам могучая жена...»

А он был слаб, беззащитен, он умирал, задыхаясь от кашля, грубо раздирающего его легкие, с розовой пеной на еще красивых губах, на соломенном тюфяке, залитом кровью, хватая за руки лагерного врача в халате поверх военной формы...

Его уносило туда, где мама склоняла над ним печальное лицо, где на миг появился и пропал папа — белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки,— где два маленьких мальчика в панамках — двойняшки Кирилл и Мефодий — с крашеными ведерками в руках бежали босиком возле Констанцы по песку золотого пляжа, на который языками наползала кружевная пена Черного моря...

...Кто-то взял его некогда за плечо и повел, но не в гараж, а в другую сторону, в то время как за его спиной через небольшие промежутки стучали винтовочные выстрелы, и он понял, что жизнь его спасена, и в тот же миг умер на руках у матери, и эта смерть во сне была очень странной потому, что кто-то незнакомый с темным лицом опустился вниз по множеству лестниц и подошел к Ангелу Смерти, который держал в руке список.

Находясь как бы уже по ту сторону жизни, Дима тем не менее все видел и слышал, но только не мог понять смысла происходящего.

— Хорошо. Выстрел пойдет в кирпичи, а юнкера мы покажем как выведенного в расход. Но имей в виду...

Даже в темноте Дима увидел подозрение, мелькнувшее в фосфорических глазах Ангела Смерти.

...предплечье еще побаливало от укола, который ему сделали в комнате с белыми стеклянными шкафами и клеенчатой лежанкой...

На бугристом лице Маркина еще лежала тяжелая тень ночи. Но уже светало. Он велел Диме встать и повел его вниз по множеству лестниц — кухонных и парадных,— по просторным коридорам.

В подвале надо было долго идти, согнувшись под толстыми трубами отопительной системы, но наконец впереди забрезжил утренний свет, и они очутились наверху, во внутреннем дворике, возле кирпичной стены, покрытой плащом плюща, в котором пряталась маленькая потайная дверь. Маркин открыл ее своим ключом. Она взвизгнула и застонала как живая.

— Уходи и больше не попадайся.

Маркин грубо вытолкнул его на улицу, наполовину покрытую еще ночной тенью Александровского парка, до сих пор не переименованного.

Дима пошел куда глаза глядят, в то время как его мать несло навстречу ему, но их пути не пересеклись из-за какой-то разницы во времени. И вот уже их уносило друг от друга в пространствах утреннего города, пережившего страшную ночь.

Она давно уже ничего не ела, но не чувствовала голода, только божественную невесомость. Если бы не тяжесть опухших ног, обутых в старые туфли, найденные в чулане, она бы могла лететь, как бабочка.

Половину пути до города она прошла пешком, а потом ее подвезла на подводе баба из Сухого Лимана, везшая сало в обмен на мебель.

Лариса Германовна слезла с подводы у вокзальной площади и дальше пошла опять пешком. Город показался ей враждебным. Три человека стояли возле афишной тумбы и читали газету, только что наклеенную возле старой афиши «Аиды», еще не высохли потеки клейстера.

Один из читавших газету показался ей знакомым. Но она не могла вспомнить, кто он. Ее испугала почтительность, с которой он посторонился. Она подошла к тумбе, стала читать список растрелянных и вдруг наткнулась на имя сына. Сначала она не поверила своим глазам и подумала, что это галлюцинация. Она еще раз стала медленно читать сверху вниз список и снова наткнулась на имя сына. Под списком было напечатано, что приговор приведен в исполнение.

Она хотела закричать, но успела только открыть рот. Она очнулась в аптеке. Собрав последние силы, она побежала к Серафиму Лосю. В ее помраченном сознании теплилась надежда, что все это еще как-то можно исправить, повернуть время в обратную сторону. Смерть сына не могло осилить ее воображение.

Серафим Лось, окруженный сизым махорочным дымом, колотил пальцами по клавишам.

«...вечером в соседнем флигеле он присутствовал на заседании дивизионного комитета. Председатель, солдат с усеченной головой и бельмами навыкате, задыхаясь и кашляя...»

Серафим Лось ясно видел солдата с усеченной головой. Но какое это имело значение теперь, когда уже прошло два года, а в России советская власть и он сам, бывший левый эсер-боевик, теперь разоружился и стал свободным художником, обывателем, хотя все еще продолжает сводить счеты с отвергшей его революцией.

— Его убили! — крикнула она с порога.— Список в газете.

Серафим Лось посмотрел на нее воспаленными, слезящимися глазами.

— Этого не может быть. Макс дал мне слово. Вам показалось.

Она ухватилась за эту мысль. Может быть, ей действительно показалось. Или не так прочитала. В ее состоянии это вполне возможно. Просто галлюцинация. Или вообще никакой газеты не было. И афишной тумбы тоже не было. Ничего не было.

Серафим Лось положил голову на клавиатуру машинки. Пересиливая сердечный приступ, он стал шарить по столу, отыскивая дигиталис. Дать слово товарищу по каторге и обмануть? Чудовищно! Невероятно! Если это правда, он убьет Маркина, задушит собственными руками.

...Она бежала по улице, желая как можно скорее убедиться, что Лось прав и все это ей показалось. Она обошла вокруг ближайшей афишной тумбы и не нашла на ней ни «Аиды», ни газеты. Лось был прав: и газета и список были не более чем плодом ее расстроенного воображения.

О, если бы это было так!

Она побежала к следующей афишной тумбе. Но тумбы на обычном месте совсем не было. Пустое пространство. Как сон во сне, когда предмет вдруг исчезает бесследно и непонятно, существовал ли он вообще.

Надежда вспыхнула в ней с новой силой. Она даже засмеялась от радости и побежала дальше, желая убедиться в своей ошибке.

Сновидение несло ее по невидимым рельсам мимо афишных тумб, на которых не было и следа газеты. Но все же надо было окончательно удостовериться. Иначе невозможно жить.

Она стала разыскивать ту самую тумбу, на которой увидела проклятую газету со списком. Она была уверена, что этой афишной тумбы вообще не существовало.

Она выздоровела. Никакой тумбы больше нет и не будет. Она пойдет к сыну и убедится, что он жив и уже на свободе. Когда же она еще издали увидела ту самую афишную тумбу на углу против аптеки, где ее приводили в чувство, то она подумала, что это сон и она сейчас проснется. Сон во сне. Приблизившись, она увидела «Аиду» и наклеенную рядом газету, уже успевшую пожелтеть на солнце, с засохшими потеками клейстера. Она заставила себя вплотную подойти к тумбе. Газетный лист оказался как раз на уровне ее глаз. Стараясь читать как можно внимательней, она повела близорукими глазами сверху вниз по столбцу, набранному четким цицеро, и сразу же наткнулась на имя сына.

Она обернулась к людям, окружавшим тумбу, желая каким-то образом удостовериться, что все это ей лишь ка-

жется, но увидев почтительно опущенные серые лица, поняла, что это не во сне, а на самом деле, хотя все-таки и во сне.

На этот раз она не закричала, не потеряла сознание, а только аккуратно поправила пыльную шляпку и не оборачиваясь пошла ровной, механической походкой по тротуару, мощенному синеватыми плитками итальянской вулканической лавы столетней давности.

Равномерным шагом она возвращалась на дачу рядом с заржавленными рельсами, мимо трамвайных столбов, иные из которых были согнуты, а иные пробиты пулями.

Почти все дачи были заколочены и покинуты. Однако кое-кто из дачевладельцев остался, надеясь на скорую перемену. Сидя на скамейках перед калитками, они прислушивались к отдаленной пушечной пальбе, похожей на выбивание ковров. Весть о вчерашних расстрелах уже дошла до них.

С молчаливым почтением они кланялись Ларисе Германовне, и она тоже молчаливо, с раздирающим сердце достоинством отвечала на их слишком глубокие поклоны.

Она казалась спокойной.

Только один раз, когда она проходила мимо маяка, ее лицо исказилось.

Солнце уже висело совсем низко над степью, красное, как взрезанный арбуз, когда она дошла до своей дачи, так красиво стоящей над обрывом. Это был последний час ее жизни.

Но задолго до этого часа список успел уже прочесть весь город, кроме Димы. Рассудок долго еще не возвращался к нему, а когда наконец вернулся, он, потеряв всякое представление о времени, вспомнил, что надо пообедать, и пошел в столовую.

Все головы повернулись к нему, словно в дверь вошло привидение. Он не придал этому никакого значения и, как всегда, помахал рукой товарищам — художникам Изогита. Они молчали. Он все еще не понимал их молчания и неподвижности.

Надо было бы не молчать, а радоваться, что его оправдали и выпустили. Но они молчали, и трудно было постигнуть смысл их молчания. Что это? Испуг или недоумение? Может быть, ужас?

Его жена Инга уже кончала свою ячную кашу с каплей зеленого машинного масла и теперь аккуратно завертывала остаток пайкового хлеба в газету.

Увидев его, она негромко вскрикнула. Он подошел и сказал со слабой улыбкой:

— Ты знаешь, меня выпустили.

Ей показалось, что с ней разговаривает призрак.

— Тебя же расстреляли,— сказала она.

— Не знаю,— сказал он,— меня выпустили.

— Читай! — сказала она, развернула хлеб и протянула ему газету.

Он увидел список расстрелянных и себя на восьмом месте.

Его все еще слабый после сыпного тифа ум не мог понять странности: он расстрелян и вместе с тем он стоит в столовой и разговаривает со своей женой. Может быть, он действительно уже мертв и все, что теперь происходит, есть всего лишь посмертное отражение прошлой жизни.

— Не знаю,— повторил он с недоумением.

Она посмотрела на него пристально, и вдруг как бы молния подозрения скользнула по ее лицу.

— Кто тебя выпустил?

— Не знаю. Какой-то человек. По-моему, это был Маркин.

Тени ночи лежали на его бугристом лице.

— Ага! — почти с торжеством крикнула она, не стесняясь, что вокруг много обедающих.— Я так и думала. Он бывший левый эсер. Значит, контра пролезла даже в наши органы! Ну, мы еще посмотрим.

Под ее голландкой он заметил пояс с потертой кобурой нагана. На его глазах она как бы вдруг превратилась в какую-то совсем другую женщину, ему незнакомую, злую, враждебную. И он понял, кто она была на самом деле и что она с ним сделала.

— Так это сделала ты? — с трудом выговорил он.— Моя собственная жена?

Тайное стало явным.

— А ты что думал, дурак? Подожди, мы еще разберемся!

Ему казалось, что все это уже когда-то было: полуциркульный зал с библейскими персонажами, с тремя крестами над лиловатой горой, неподвижная молния, неподвижно надвигающаяся из Аравии буря, неподвижно развевающийся плащ удаляющегося Иуды.

Потом он долго стучал в дверь квартиры, где он занимал по ордеру комнату. Наконец дверь открылась, и, увидев его, квартирная хозяйка, жгучая еврейка с преждевременной сединой в иссиня-черных волосах, в бумазейном капоте, застегнутом на горле английской булавкой, вдруг затряслась как безумная, замахала маленькими толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом:

— Нет, нет! Ради Бога нет. Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас не имею понятия! Вас расстреляны, и теперь вас здесь больше не живет! Я вас не помню! Я не хочу из-за вас пострадать! Убирайтесь!

Она захлопнула дверь и через некоторое время приоткрыла ее и выбросила его пожитки. Он кое-как связал их подтяжками и пошел прочь.

От подушки, которую он прижимал к себе, от ее наволочки еще пахло кольдкремом, которым Лазарева смазывала себе на ночь лицо. Он увидел вышитую гладью семейную метку и только тогда вспомнил, что у него есть мать, которая, наверное, беспокоится.

Он очень ее любил, но она выпала из его памяти. Все заслонила Лазарева. Теперь он ненавидел Лазареву, он понял, что мать — его единственное прибежище, единственное спасение.

То и дело подбирая вещи, падавшие из узла, он вышел на улицу, и сновидение понесло его к маме мимо маяка, как бы стоящего на страже морского штиля. Его несло по заржавленным рельсам, заросшим бурьяном, и от подушки слащаво пахло женщиной, которая его чуть не погубила.

Откуда она взялась?

...в ситцевой юбке клеш, с головой, повязанной женотдельским кумачовым платком, из-под которого выбивались кудряшки, она стояла в толпе, обступившей агитконку. Этот старый вагон конки отыскали в депо и пустили в дело. Художники Изогита расписали вагон всеми жанрами изобразительной пропаганды.

Две клячи, знавшие лучшие времена, потащили почти исторический экспонат дореволюционного городского транспорта по рельсам бездействующего электрического трамвая.

Один из самых древних работников Губтрамота, бывший кучер конки, мобилизованный профсоюзом для исполнения своего гражданского долга, в день первомайского праздника не без труда раскрутил повизгивающий чугунный тормоз ударом ноги по круглой бляхе звонка, вделанной в пол, хлестнул по клячам ссохшимися вожжами, щелкнул кнутом, и агитконка покатилась по праздничным улицам.

...Солнце, молодая зелень еще не успевших запылиться акаций и каштанов, сирень, цветущая за оградами особняков, гранитная мостовая, отливающая аметистом после вчерашнего ливня, тени домов, звуки военных и заводских оркестров, несущих солнце на своих медных геликонах, кучки горожан, рискнувших выползти на свет божий из своих наглухо запертых квартир, где они отсиживались в ожидании перемен, полотнища кумача, реквизированного на складах местных мануфактурщиков.

...Этот день не без удовольствия вспомнила Инга теперь, когда все уже было кончено и она получила в приказе благодарность за хорошо выполненную оперативную задачу...

И вдруг оказалось, что он жив. Нет, она этого так не оставит. Оказывается, измена проникла даже в органы!

...Расхаживая взад-вперед по большому ковру, еще покрывавшему номер люкс бывшей гостиницы «Лондонская», уполномоченный Троцкого, прибывший в город на бронепоезде, прорвавшемся через махновские банды, слушал взволнованную речь Лазаревой.

Лицо его было мрачно.

Как! Выпустить на свободу контрреволюционера, приговоренного к высшей мере? Они за это заплатят кровью! Измена с участием бывшего комиссара временного правительства, правого эсера, савинковца! Это надо выжечь каленым железом.

Наум Бесстрашный привык, как Наполеон, мгновенно схватывать самую суть событий.

До революции он был нищим подростком, служившим подручным в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам, при свете огарка, в подвале запоем читал исторические романы и бредил гильотиной и Робеспье-

ром. Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию.

Перманентная, вечная, постоянная, неутихающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось залить весь мир кровью. Ее надо утверждать огнем и мечом, нести на штыках! И никакого мирного сосуществования. У него, так же как и у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было еще юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами.

Для него не было никакого сомнения, что налицо измена, проникшая в органы, и что виновных четверо: бывший эсер, председатель губчека, комендант, не приведший в исполнение приговор, правый эсер Серафим Лось и женщина, жена выпущенного на свободу и скрывшегося юнкера.

— До него мы еще доберемся. Но сейчас не откладывая меч революции должен опуститься на эту четверку.

— Боже мой, что вы говорите,— прошептала она.

— Гражданка Лазарева, вы арестованы,— произнес он железным голосом Троцкого и сделал его легендарный жест: сжатым кулаком сверху вниз по диагонали.

И не успела Лазарева открыть рот, для того чтобы оправдаться, как в номер люкс вошли двое в кубанках, взяли ее за руки, и она, не успев прийти в себя от изумления и ужаса, очутилась в полуподвале того самого дома, где работала машинисткой.

Она сидела на полу одна, запертая в маленькой комнате, где до революции хранились национальные флаги, а также стеклянные иллюминационные фонарики, которые в царские дни вывешивали на проволоке вдоль фасада.

Она чувствовала, что Маркин и Ангел Смерти сидят в одиночках где-то рядом. Она понимала, что никакая сила в мире ее не спасет. Ей были слишком хорошо знакомы порядки этого семиэтажного дома. Она видела косой дощатый щит на окне и золотистые щели, куда проникал вечерний свет, грозивший скоро померкнуть.

Ее охватило то чувство обреченности и животной покорности, которые охватывали всех людей, попавших в этот полуподвал. Угасающее сознание стремительно несло ее против течения в манящую область невозвратного прошлого, где...

...Похожий на громадного навозного жука виолончелист втащил на крышу конки стул, а потом и свой инструмент, так же, как и он сам, напоминавший жука, и в то время, как вагон, подрагивая на несвойственных ему рельсах, тронулся дальше, из-под смычка стали вытекать густые, как сироп, звуки серенады Брага, а уличные мальчишки бежали за конкой, восхищаясь написанными на ее стенах пейзажами, восходящим солнцем, символической фигурой свободы, красными фабричными корпусами с кирпичными трубами и карикатурами на врагов советской власти.

Среди артистов, фокусников, клоунов, агитаторов и поэтов в вагоне тряслись также художники Изогита.

Тут же присутствовала и она, не без умысла вскочившая в вагон на одну из площадок. Она уже давно завела дружбу с художниками и поэтами и считалась, как тогда любили выражаться, своим парнем. О ней было известно, что она работает где-то машинисткой, посещает совпартшколу, готовится в Свердловский университет в Москве и является большой поклонницей поэзии и живописи.

Отчасти это была ее маска, но отчасти она и вправду любила людей искусства. В ней все еще теплилось мещанское преклонение перед ними, перед их славой.

До этого дня она не выказывала никакого интереса к Диме. Он считался слабым живописцем, дилетантом, чуть ли не бездарностью.

Но на этот раз она сделала вид, будто впервые заметила Диму, правильный овал его красивого, несколько удлиненного женственного лица, его греческий нос, нежную шею и мысик уже порядочно отросших волос на затылке, под ямочкой врушкой.

В те легендарные дни у молодежи было принято как бы немного играть во Французскую революцию, обращаясь ко всем на ты и называя гражданин или гражданка, как будто новорожденный мир русской революции состоял из Сен-Жюстов, Дантонов, Демуленов, Маратов и Робеспьеров.

— Здравствуй, гражданин,— сказала она, ударив Диму по плечу и садясь рядом с ним на решетчатую лавку конки.

— Привет и братство, гражданка,— ответил он.

Она ему втайне давно уже нравилась, и она это чувствовала. Она продолжала держать свою непородистую руку с короткими, но красивыми пальчиками на его плече и заглянула ему в глаза; от нее пахло свежевыстиранной и выглаженной голландкой, заправленной в юбку, подпоясанную ремнем с медной бляхой с выпуклым якорем.

— Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером? — спросила она.

Он молчал в смущении.

— Молчание — знак согласия,— сказала она, взяла его под руку и прижалась, пропев ему на ухо вполголоса фразу из романса: — «Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день».

Он заметил над ее глазом у самого нижнего века, или даже на самом веке, маленькую, как маковое зернышко, родинку. Даже не маковую родинку, а соринку. Эта соринка под красивым глазом решила его судьбу. Яд любви и похоти проник не только в его тело, но и в душу.

«Душа тобой уязвлена».

Его душа была уязвлена.

Она только еще слегка попробовала силу своей женской власти, а уж он был готов! Она удивилась столь быстрой победе: девичий румянец залил его лицо.

Она добросовестно выполняла задание. Однако такая быстрая победа не могла ей не польстить. Она принадлежала к числу тех женщин, которые сразу дают много, с тем, чтобы потом взять все: он потерял всякое представление о том, что с ним происходит.

После первой ночи она стала появляться в его маленькой комнате внезапно и так же внезапно исчезать — как предмет исчезает во сне — иногда на несколько дней, в течение которых он сходил с ума от ревности.

Вся его жизнь была у нее как на ладони.

Несмотря на близость, он для нее оставался всего лишь юнкером, белогвардейцем. И все же временами она испытывала к нему жгучую страсть.

В день ликвидации группы маяка ее отпустили с работы раньше времени, незадолго до заката, как бы щадя

ее чувства. Чаще всего она оставалась всю ночь на работе, где спала на раскладушке в секретно-оперативном отделе, хотя в «Пассаже» у нее был номер. Теперь она отправилась в этот номер и стала готовиться к завтрашнему уроку в совпартшколе, делая выписки из «Капитала» и стараясь не думать о том, что сейчас совершается. Она знала, что сейчас, судя по розовому цвету закатного неба, их начали фотографировать.

Она не испытывала ни душевной тяжести, ни угрызений совести, ни жалости.

Просто революция уничтожала своих врагов. Но, как это ни странно, в ней еще теплилось то сокровенное, женское, исконное, древнее, что отличает замужнюю от незамужней.

Она еще в Питере успела прочитать «Ключи счастья» Вербицкой и «Любовь пчел трудовых» Коллонтай. Она была трудовая пчела, он был трутень. Она его уничтожила. Но, несмотря на все соблазны свободной любви, сознание своей женской полноценности, тайной гордости было сильнее. Все-таки она была с ним если не обвенчана, то, по крайней мере, расписана. Какая-никакая, а жена. Он какой-никакой, а законный муж. И сегодня ночью его, голого, с родинкой между лопатками, поведут в гараж и выстрелят в шелковистую кисточку волос на его затылке.

Она хорошо знала, как это делается.

Она была не в силах заниматься. Хоть бы это все скорее кончилось! Ни о чем другом она уже не могла думать. Она выбежала на улицу. Ее понесло как по рельсам куда-то в обратную сторону. Она увидела утро Первого мая и лавочные весы с медными чашками, на которых бывший меньшевик, а ныне беспартийный, некто по фамилии Кейлис, завхоз, лысый пожилой еврей в старорежимном люстриновом пиджаке, педантично взвешивал первомайские пайки ржаного хлеба, нарезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался.

Стрелка весов колебалась, как жизнь, и маленькие клейменые гирьки мал мала меньше стояли как дети возле весов, наблюдая за действиями Кейлиса и восхи-

щаясь, как безошибочно точно он оперирует с продуктами, отпущенными революцией для своих граждан в день Первого мая.

На этот раз революция расщедрилась: кроме двойного пайка хлеба, сырого сахарного песка в фунтике, свернутом из листка арифметической тетрадки, восьмушки турецкого табака, каждому трудящемуся еще полагалась бутылка красного вина удельного ведомства, запечатанная сургучом.

Вечером он и она распили это лилово-красное вино в его комнатке. Они пили его из одной кружки. Они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой, посыпая его сахарным песком.

Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь.

Она отгоняла от себя и никак не могла отогнать навязчивые воспоминания. Она стала быстро ходить по городу из улицы в улицу, стараясь не приближаться к тому дому, где совершалось последнее.

К вечеру город сделался еще безлюднее. Изредка слышался треск мотоцикла, везущего куда-то пакет с пятью сургучными печатями цвета запекшейся крови. Улицы, акации и дома были погружены уже в ночную темь. Кое-где в окне с незапертыми деревянными ставнями колебался дымный огонек масляной коптилки: фитилек из ваты на краю блюдечка. Лишь в одном месте возле некогда людного перекрестка, рядом с витриной, где стояло хорошо известное пыльное чучело тигра, ярко светился шипящий электрический фонарь над входом в «Зал депеш», где по вечерам выступали политические ораторы, вывешивались последние сводки с фронтов гражданской войны, поэты читали стихи и потом показывали какую-нибудь старую, дореволюционную картину с Верой Холодной и Мозжухиным, чьи белые глаза с магнетическими зрачками отца Сергия встретили Ингу, пробиравшуюся на ощупь по набитому людьми залу.

Прямо на эстраде перед экраном, свесив босые ноги, сидели мальчики и девочки из рабочих предместий.

Черный язык оборванной ленты слизал с экрана глаза Мозжухина, и тотчас на ярко мелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперед по начисто выметенному кремлевскому двору, по его мостовой и плитам, между Царь-пушкой и Царь-колоколом. В стороне от него ходил Бонч-Бруевич в драповом пальто, черной шляпе, бородатый, с раздутым портфелем под мышкой. И все это документально доказывало, что слухи о смерти Ленина вздор, что он жив, что он поправляется и доктора позволили ему выйти на прогулку...

Прозрачно-темный язык лизнул по экрану. Зажегся свет. Свет был ей невыносим. Она снова как неприкаянная выбежала на улицу и увидела над крышами созвездия летнего ночного неба.

Наверное, ее Мити уже нет на свете.

Она пошла по мучительно длинной улице, где изредка ее останавливали патрули. Но у нее был ночной пропуск.

Где-то с шумом проехал грузовик, заставляя дрожать стекла окон. Она представила, что это везут за город мертвые тела, покрытые брезентом, из-под которого торчит белое колено, может быть даже его колено.

Она прислонилась к черствому стволу акации и укусила потрескавшуюся кору.

Она оплакивала свою погибшую любовь, оплакивала своего Митю, еще не зная, что он жив, и ее сознание мутилось, угасало и, угасая, уносило ее в темные области пересеченной местности, где почти бесшумно и почти невидимо двигался бронепоезд, рассыпая из поддувала раскаленные угольки, а Митю уносило в обратную сторону все по тем же заржавленным рельсам трамвая, и уже не слабый отпечаток пальца на мокром акварельном небе сопровождал его, а полная луна над призраком маяка.

Но что же это, Боже мой? Как назвать? Гараж? Не годится. Рельсы? Не годится. Роман сновидений? Нет, нет, что-то другое. Спящий? Но ведь есть же какое-то название. Оно где-то рядом, как слово, выпавшее из разрушающейся памяти. Чем ближе к нему подходишь, тем неотвратимей оно удаляется...

«...Уже написан Вертер...»

...он прошел через террасу — в коридоре при свете коптилки, которую он зажег и нес перед собой в руке, как римский христианин в катакомбах, попался на глаза пожелтевший от времени отцовский пикейный жилет с перламутровыми пуговицами,— прошел через террасу в гостиную, где при все усиливающемся лунном свете, проникавшем в венецианские окна, блестел рояль с черным крылом до сих пор еще поднятой крышки, а на стенах скорее угадывались, чем виднелись, знакомые картины в золоченых рамах — пейзажи южнорусских художников, друзей отца, и отдельно, особенно ясно выделялось розоватое облако на итальянском пейзаже кисти Лагорио.

Само по себе это облако было уже Лагорио.

...М. б. — пытка памятью?.. Вариант воздушных путей?

Лавируя среди знакомой мебели, обходя решетчатый трельяж с вьющимися растениями, как бы повторявшими сплетением своих стеблей звуки шопеновских вальсов, некогда звучавших в этой гостиной, он заглянул в спальню, где неясно золотились оклады венчальных образов и белели кружевные покрывала на двух супружеских кроватях его родителей с никелированными шарами, отражавшими лунный полусвет.

Матери в спальне не было.

Он обошел все комнаты первого этажа и поднялся по лестнице в свою студию, где в окне стояла луна. При ее свете он увидел фигуру матери, лежащей на тахте за мольбертом.

— Мама,— произнес он.

Она не пошевелилась. Она лежала лицом вверх, с открытыми глазами, отражавшими лунный свет. Он подумал, что она спит с открытыми глазами. Он осторожно тронул ее за плечо. Она не пошевелилась. Он коснулся губами ее ледяного лба. Ужасная догадка остановила его дыхание.

— Мама,— умоляюще сказал он, тряся ее за плечо.

Ее голова повернулась и осталась неподвижной на

ковровой подушке. Он приложил ладонь к ее почерневшему рту, желая почувствовать ее дыхание.

Она не дышала.

Он уже понимал, что в ней нет жизни, но не мог этому поверить.

— Мамочка,— всхлипнув, как в детстве, заговорил он,— мамочка, ну мамочка же, ну мамочка...

Всеми силами души он упрашивал ее воскреснуть.

На полу рядом с графином и стаканом лежал хорошо видный лист ватманской бумаги, остаток его дореволюционных запасов. На бумаге обломком сиреневого пастельного карандаша было написано толстыми буквами:

«Будьте вы все прокляты».

Все, что она успела написать, прежде чем заснула.

Синие тени вечного покоя лежали на ее лице, с остекленевшими глазами и на ее босых мраморных ногах, покрытых степной пылью.

Туфли валялись на полу врозь каблуками. Видно, они причиняли ей адскую боль и она их сбросила.

Он смотрел на мертвую мать, не зная и не понимая, что теперь нужно делать. Он окаменел. Но вдруг потребность деятельности охватила его. Скорее за доктором. Может быть, еще можно вернуть ее к жизни. Ведь возвращают же к жизни утопленников.

Через пустырь, заросший бурьяном, через колючую проволоку незастроенного участка он выбрался на дорогу, куда выходила дача их соседа-доктора, военного врача, который служил в добровольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребе, ожидая каждую ночь ареста.

Каждый список в газете, в котором часто попадались знакомые имена, сводил его с ума. Когда он увидел перед собой при лунном свете расстрелянного сына Ларисы Германовны, у него помутилось в глазах. Путаясь в словах, Дима стал рассказывать, что случилось. Хотя доктор боялся выходить из дома, но для него все еще была священна клятва Гиппократа, которую он произнес в день окончания Военно-медицинской академии.

По даче уже ходил старик садовник с головой Ницше, и в комнатах мелькали огни зажженных и расставленных огарков.

Доктору достаточно было опытными пальцами опустить веко Ларисы Германовны на глаз с закатившимся зрачком, достаточно было взглянуть на пол с остатками рассыпанных таблеток, на графин, на стакан, чтобы покачать головой и сказать Диме, что смерть его матери наступила по крайней мере три часа назад.

Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мраморно твердые холодные материнские руки и плакал, а доктор — в военном кителе со срезанными погонами, в фуражке с синим пятном от кокарды, с докторским саквояжем в руке — гладил его по еще колючей голове и говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним за Днестр, в Румынию, до которой совсем недалеко, рукой подать, и все так делают, и у него, у доктора, уже все приготовлено и так далее.

Пол был покрыт растертыми ногами остатками таблеток веронала и кусочками пастельных карандашей — бледно-лиловых, бледно-розовых, бледно-голубых, бледно-зеленых, напоминавших детство, «Пир в садах Гамилькара», и неподвижно надвигающуюся бурю, и неподвижные молнии над Голгофой с тремя крестами, и неподвижно развевающиеся одежды удаляющегося Иуды, и полуоткрытые двери гаража, где уже заводили мотор грузовика. И туда по очереди вводили четырех голых людей — троих мужчин и одну женщину с несколько коротковатыми ногами и хорошо развитым тазом. В одном из мужчин было действительно нечто лосиное. Двое других были уже безлики.

Под голой электрической лампочкой слабого накала, на клумбе петуний и ночной красавицы, недалеко от кучи снятой одежды стоял Наум Бесстрашный, отставив ногу в шевровом сапоге, и ему представлялось, что он огнем и мечом утверждает всемирную революцию, в то время как неодолимая сила сновидения насильственно уносила его в обратную сторону по пересеченной местности все дальше и дальше от жизни, неудержимо и беспощадно — сначала мимо пыльного намека на крыши буддийского храма, мимо пыльного намека на верблюдов, мимо вращающихся громадных колес двуколок, а потом он вдруг пронесся мимо черной скульптуры и чаши итальянского фонтана посередине Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мире его не спасет, и он бросился на колени перед незнакомыми людьми в черных,

красных, известково-белых масках, которые уже держали в руках оружие.

Он хватал их за руки, пахнущие ружейным маслом, он целовал слюнявым разинутым ртом сапоги, до глянца начищенные обувным кремом.

Но все было бесполезно, потому что его взяли с поличным на границе, с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радеку.

Его втолкнули в подвал лицом к кирпичной стене, посыпалась красная пыль, и он перестал существовать, хотя сновидение продолжало нести спящего в обратную сторону непознаваемого пространства вселенной, населенного сотнями миллионов человеческих тел, насильственно лишенных жизни за одно лишь последнее столетие в результате войн, революций, политических убийств и казней, контрреволюций, диктатур, освенцимов, хиросим, нагасак, фосфорических человеческих тел, смешавшихся с водоворотами галактик, и если бы не внезапная боль, как раскаленная игла пронзившая коленный сустав, то оно бы занесло меня в эти траурные звездные вихри. Но боль вернула мне жизнь, и я, как бы всплыв из самых потаенных глубин сна на поверхность сознания, увидел нормальное, солнечное переделкинское утро, вертикально проникающее в комнату сквозь синие полосы занавесок.

Изголовье кровати было придвинуто к самому подоконнику. Я протянул руку, отвел занавеску и увидел жаркое солнце и хвою.

Рейсовый самолет с грохотом проехал как бы по самой крыше.

Я встал и, все еще ощущая боль в коленном суставе, открыл окно.

«Открыть окно, что жилы отворить».

Или, еще лучше, того же автора:

«Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже — жертвы века».

1979 г. Переделкино

СОДЕРЖАНИЕ

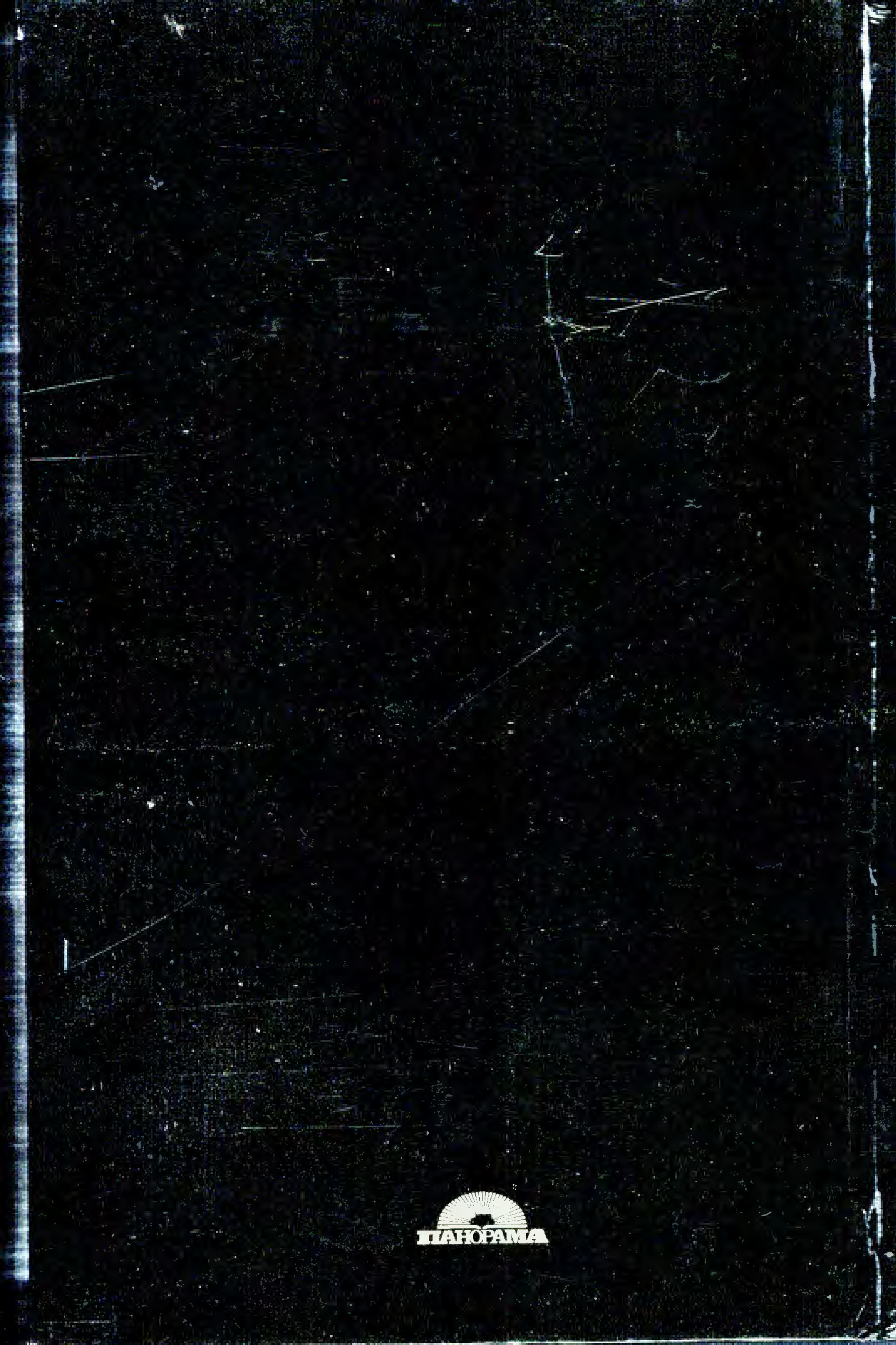
Владимир Петрович КАТАЕВ

УЖЕ НАПИСАН ВЕРТЕР

Редактор **С. П. Кудрявцева**
Художественный редактор **Т. Н. Миловидова**
Технический редактор **Л. В. Никитина**
Корректор **Г. А. Евстафьева**

Подп. в печать 18.08.92. Формат 84×108 1/32. Гарнитура литературная. П. л. 12. Усл. п. л. 20,16. Уч.-изд. л. 18,06. Усл. кр.-отт. 20,58. Изд. № 044500016. Тираж 60 000 экз. С-059. Печать высокая. Заказ № 2334.

Типография АО «Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.


ПАНОРАМА